

Осмотр на месте



КНИГА  
НА ВСЕ  
ВРЕМЕНА

Станислав  
ЛЕМ

Осмотр  
на месте



Станислав ЛЕМ





Станислав  
ЛЕМ



# Станислав ЛЕМ

## Осмотр на месте



УДК 821.162.1–312.9

ББК 84 (4Пол)

Л44

Серия «Книга на все времена»

Stanisław Lem  
WIZJA LOKALNA

*Перевод с польского К. В. Душенко*

*Серийное оформление А. А. Кудрявцева*

*Компьютерный дизайн Э. Э. Кунтыш*

Печатается с разрешения наследников Станислава Лема  
и Агентства Александра Корженевского (Россия).

Подписано в печать 04.10.10. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Усл. печ. л. 16,8. Тираж 3000 экз. Заказ № 2357

**Лем, С.**

Л44 Осмотр на месте : [роман] / Станислав Лем; пер. с пол. К. В. Душенко. — М.: АСТ: Астрель, 2010. — 316, [4] с. — (Книга на все времена).

ISBN 978-5-17-069298-9 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-271-31391-2 (ООО «Изд-во Астрель»)

«Осмотр на месте» — одно из самых блестящих и беспощадных произведений Лема, относящихся к циклу Ийона Тихого.

На сей раз, великий звездоплаватель вынужден отправиться на планету Энцию, спутник которой он в своем четырнадцатом путешествии наивно посчитал независимой планетой, — а теперь это чревато галактическим скандалом.

Его ждет планета противостояния двух «великих цивилизаций» — патристичной Курдландии, где все население обитает внутри ЖИВЫХ курдлей, и высокотехнологичной Люзании, где гражданам прививают принципы порядочности и ненасилия при помощи искусственных «вирусов добра»...

УДК 821.162.1–312.9

ББК 84 (4Пол)

© S. Lem, 1982

© Перевод. К. В. Душенко, 2010

© Издание на русском языке AST Publishers, 2010

## I. В Швейцарии

Приземлившись на мысе Канаверал, я отдал корабль в ремонт и начал думать о даче. После столь долгого путешествия мне полагался отдых. Земля кажется точкой только из космоса, после посадки оказывается, что она довольно обширна. А для хорошего отдыха мало красивых видов — необходима еще надлежащая осторожность. Поэтому я поехал к кузену профессора Тарантоги, который имеет разумную привычку читать газеты не сразу, а несколько недель погодя, когда они отлежатся. Я предпочел выбирать курорт у знакомого, чем в какой-нибудь публичной библиотеке. Пересекать магнитные поля Галактики — это не фунт изюму. Кости ноют уже порядочно. К тому же дает о себе знать колено, которое я вывихнул в Гималаях, в альпинистском лагере, когда алюминиевый табурет подо мной подломился. Лучшее средство от ревматизма — это чтобы было посуше и погорячее, разумеется, в климатическом, а не в военном смысле. Ближний Восток, как обычно, не входил в расчет. Арабы по-прежнему демонстрируют миру слоеный пирог, в котором их государства сливаются, делятся, мирятся и дерутся между собой по тысяче разных причин, которых я даже не пробую уразуметь. Южные, солнечные склоны Альп были бы в самый раз, но туда уже не

ступит моя нога с тех пор, как меня похитили в Турине в качестве дочери герцога ди Кавалли, а может, ди Пьедимонте. Это так до конца и не выяснилось. Я приехал на астронавтический конгресс, сессия закончилась после полуночи, назавтра надо было лететь в Сантьяго, я заблудился в городе, не смог отыскать гостиницу и въехал в какую-то подземную автостоянку, чтобы вздремнуть хотя бы в машине. Единственное свободное место было, правда, огорожено разноцветными лентами, кажется, в честь того, что дочка герцога была с кем-то обвенчана, но я ничего об этом не знал, а впрочем, какое это имело значение в час ночи. Сперва мне засунули в рот кляп и связали, потом упаковали в кофр, машину вывели на улицу, погрузили на большой прицеп для перевозки автомобилей и повезли в свое убежище. Я, правда, мужчина, но теперь пол с ходу не определишь, бороды я не ношу, отличаюсь незаурядной красотой — словом, они вытащили меня из багажника у подножия великолепной горной гряды и провели в одиноко стоявший домик. Стерегли меня двое верзил, на смену; за окном — альпийские снега, но, разумеется, позагорать не пришлось, куда там. Со смуглым усачом я играл в шашки — для шахмат он был туповат, а второй, без усов, зато с бородой, имел несносную привычку называть меня антрекотом. Это был намек на мою судьбу в случае, если герцог с супругой не заплатят выкупа. Они уже знали, что я ничего общего не имею с семейством ди Кавалли — или ди Пьедимонте, — но это вовсе не сбilo их с толку, ведь суррогатное похищение стало делом обычным. Перед тем уже было несколько случаев увоза не тех детишек, что намечались, и родители надлежащих детей помогли неимущим. Потом это распространилось и на совершеннолетних. Немцы называют это *Erzatzentführung*, а они в таких делах доки. На беду, когда очередь дошла до меня, эрзац-похищений стало слишком уж много, сердца богачей очерствели, и никто не давал за меня даже ломаного гроша. Пробовали что-нибудь выторговать в Ватикане, церковь, как известно, милосердствует профессионально, но дело тянулось ужасно долго. Целый месяц я вынужден был играть в шашки и выслушивать гост-

рономические угрозы субъекта, который к тому же невыносимо потел и только гоготал, когда я просил его принять душ: ведь в доме есть ванная, а спину я ему сам намылю. В конце концов и церковь не оправдала надежд. Я присутствовал при их ссоре, они чуть не передрались, одни кричали «резать», вторые — за заговор, мол, герцогинину дочку, и вон со двора.

Герцогининой дочкой уперся называть меня тот, смуглый. У него на темени был жировик, и мне все время приходилось его разглядывать. Ел я, понятно, то же, что и они, с той лишь разницей, что они облизывали пальчики после макарон на оливковом масле, а меня от этого мутило. Шея еще болела с тех пор, как они пытались заставить меня признаться, что я по крайней мере какой-нибудь свойственник герцога, раз въехал на герцогский паркинг, и порядочно навалили мне за обманутые ожидания. С тех пор Италия перестала существовать для меня.

Австрия довольно мила, но я знаю ее как свои пять пальцев, а хотелось чего-нибудь новенького. Оставалась Швейцария. Я решил спросить кузена Тарантоги, какого он о ней мнения, но оказалось, что сделал глупость, затеяв с ним разговор; он, правда, заядлый путешественник, но вместе с тем антрополог-любитель, собирающий так называемые граффити по всем уборным на свете. Весь свой дом он превратил в их хранилище. Когда он заводит речь о том, что люди изображают на стенах клозетов, глаза у него загораются огнем вдохновения. Он утверждает, что только там человечество абсолютно искренне и на этих кафельных стенах виднеется наше «мане, текел, упарсин», а также *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*\*. Он фотографирует эти надписи, увеличивает их, заливает плексигласом и развешивает у себя на стенах; издали это напоминает мозаику, а вблизи у зрителя просто спирает дыхание. Под экзотическими надписями, вроде китайских или малайских, он помещает переводы. Я знал, что он пополнял свою коллекцию в Швейцарии,

---

\* не умножай сущности сверх необходимости (*лат.*).

но мне это ничего не дало: он не заметил там никаких гор, зато обнаружил, что туалеты там моют с утра до вечера, уничтожая капитальные надписи; он даже подал памятную записку в Kulturdezernat\* в Цюрихе, чтобы мыли раз в три дня, но с ним просто не стали разговаривать, а о том, чтобы пустить его в дамские туалеты, и речи не было, хотя у него имелась бумага из ЮНЕСКО — уж не знаю, как он ее раздобыл, — подтверждавшая научный характер его занятий. Кузен Тарантоги не верит ни во Фрейда, ни во фрейдистов, потому что у Фрейда можно узнать, что думает тот, кому наяву или во сне чудятся башня, дубина, телеграфный столб, полено, передок телеги с дышлом, кол и так далее; но вся эта мудрость оказывается бесполезной, если кто-нибудь видит сны напрямую, без обиняков. Кузен Тарантоги питает личную антипатию к психоаналитикам, считает их идиотами и пожелал непременно объяснить мне почему. Он показывал жемчужины своего собрания, стишки на восьмидесяти, кажется, языках (он готовит богато иллюстрированную антологию, настоящий компендиум, с цветными вклейками); разумеется, он сделал и статистические расчеты, сколько чего появляется на квадратный километр или, может, на тысячу жителей, не помню уже. Он полиглот, хотя в довольно-таки узкой области; но и это чего-нибудь стоит, если учесть, какое здесь накоплено лексическое богатство. Он, впрочем, утверждает, что условия его труда ему претят; нужны хирургические перчатки, дезодорант с распылителем — а как же? — но ученый обязан преодолевать в себе произвольное отвращение, в противном случае энтомологи изучали бы одних только бабочек и божьих коровок, а о тараканах и вшах никто ничего бы не знал. Опасаясь, что я убегу, он держал меня за рукав и даже подталкивал в спину к наиболее красочным участкам стены; я не жалуюсь, говорил он, но жизнь я себе выбрал нелегкую. Человек, который ходит в публичные писсуары, обвешанный фотоаппаратами и сменными объективами, волочит за собой штатив и заглядывает во все кабины по очереди, словно не мо-

---

\* Управление по делам культуры (нем.).

жет решиться, — такой человек вызывает подозрение у туалетных служительниц, особенно если отказывается оставить свой груз у них, а тащит его с собой в кабину; и даже щедрые чаевые не всегда оберегают от неприятностей. Особенно сильно — как красный платок на быка — действует на этих блюстительниц клозетной морали (он выражался о них довольно резко) сверкание фотовспышки из-за закрытых дверей. А при открытых дверях работать нельзя: это раздражает их еще больше. И странное дело: клиенты, что заходят туда, тоже глядят на него исподлобья, а порою взглядами дело не ограничивается, хотя среди них наверняка имеются авторы, от которых следовало бы ожидать хоть чуть-чуть благодарности за внимание. В автоматизированных отхожих местах этих проблем нет, но он обязан бывать везде, иначе собранный материал не будет статистически репрезентативным. К сожалению, он вынужден ограничиваться выборкой: изучение мировой совокупности отхожих мест превосходит человеческие силы, — не помню уж, сколько на свете клозетов, но он и это высчитал. Известно, чем и как там пишат, когда под рукой ничего нет, и каким образом некоторые особо изобретательные авторы помешают афоризмы, а то и рисунки под самым потолком, хотя по фарфору даже шимпанзе не заберется так высоко. Желая из вежливости поддержать разговор, я высказал предположение, что они носят с собой складные лестницы; такое невежество его возмутило. В конце концов я все же вырвался от него и ушел от погони (он что-то кричал мне вслед даже на лестнице); крайне рассерженный неудачей — ведь о Швейцарии я не узнал ничего, — я вернулся в гостиницу, и оказалось, что несколько особенно забористых примеров, которые он мне декламировал, плотно застряли в моем мозгу; чем больше я силился их забыть, тем упорнее они лезли мне в голову. Впрочем, по-своему этот кузен был, возможно, и прав, указывая мне на большую надпись над своим рабочим столом: *Homo sum et nihil humani a me alienum puto\**.

---

\* Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*).

В конце концов я выбрал Швейцарию. Я давно лелеял в душе ее образ. Встаешь рано, в шлепанцах подходишь к окну, а там — альпийские луга, лиловые коровы с большими буквами «MILKA» на боках; под перезвон их буколических бубенцов идешь в столовую, где в тонком фарфоре дымится швейцарский шоколад, а швейцарский сыр услужливо сверкает росинками, потому что настоящий эмментальский всегда чуть-чуть потеет, особенно в дырочках; садишься, гренки хрустят, мед пахнет альпийскими травами, а блаженную тишину подчеркивает торжественное тиканье настенных швейцарских часов. Ты разворачиваешь свежую «Нойе Цурхер цайтунг» и видишь, правда, на первой полосе войны, бомбы, число убитых, но все это где-то там, далеко, словно в перевернутом бинокле, а вокруг тишина и спокойствие. Может, где-то и есть несчастья, но не здесь, в области минимального террористического давления; вот, пожалуйста, на всех страницах кантоны беседуют между собой приглушенным банковским диалектом, и ты откладываешь непрочитанную газету: ведь если все идет, как швейцарские часы, зачем читать? Неторопливо встаешь, одеваешься, напевая старую песенку, и отправляешься на прогулку в горы. Что за блаженство!

Примерно так я себе это представлял. В Цюрихе я остановился в гостинице рядом с аэропортом и принялся искать тихий уголок в Альпах на все лето. Я листал рекламные буклеты со все возрастающим нетерпением; меня отпугивали то обещания многочисленных дискотек, то фуникулеры, которые порциями затаскивают толпы туристов на ледник, а я не люблю толпы; что и говорить, задача была не из легких, ведь ни горы без комфорта, ни комфорт без гор меня не устраивали. С первого этажа на последний меня прогнал электрифицированный гостиничный оркестр, а также кухонная вентиляция, создающая впечатление (ложное, однако непреодолимое), будто жир на сковородах не меняли многие годы. Навверху было не лучше. Через каждые несколько минут на меня обрушивался грохот стартующих неподалеку джетов. Впрочем, в Европе говорят не «джеты», а «авиалайнеры», но

«джет» лучше передает ощущение ударов по голове. Заглушки в ушах не помогали — вибрация моторов вворачивается прямо в кости, как бормашина. Поэтому на третий день я перебрался в новый «Шератон», в центре города, не сообразив, что это полностью компьютеризированная гостиница. Я получил номер, именуемый на американский лад «suite», рекламную авторучку и пластиковый жетон вместо ключей. Им можно открывать также бар-холодильник, подключенный к центральному компьютеру. Телевизор по первому требованию показывал сумму счета на данный момент. Было довольно забавно следить за неустанным мельканием цифр, словно при показе спортивных гонок, с той только разницей, что мелькали не доли секунд, а швейцарские франки. «Шератон» славился возрождением старых традиций; например, на каждом столе поблескивало серебро столовых приборов; раньше на ножах и вилках гравировалось «Украдено в «Бристоле», но в «Шератоне» подобных резкостей избегали: просто в серебро добавлено что-то такое, из-за чего двери поднимают тревогу при попытке выйти на улицу с вилкой в кармане. Увы, я сам убедился в этом, и пришлось потом долго оправдываться. Авторучку я оставил рядом со стаканом, а чайную ложку засунул в нагрудный карман; но это объяснение не успокоило надушенного лакея, потому что ложечка сияла, как вымытая, хотя я ел яйцо всмятку. Ну что ж, я ее облизал, такая у меня привычка, но я не хотел исповедоваться в своих интимных склонностях перед швейцарцем, убежденным, будто он говорит по-английски. Я счел инцидент исчерпанным, но когда — для развлечения — попросил у телевизора счет, он показал его с ценой одной серебряной ложечки: ошибиться было нельзя. Раз уж я за нее заплатил, она была моя, и за обедом я засунул в карман точно такую же, что вызвало новый скандал. «Шератон», объяснили мне, не магазин самообслуживания. Ложечка, хотя и включенная в счет, остается собственностью отеля. Это не наказание, а жест вежливости по отношению к гостю, так как судебные издержки стали бы мне дороже. Моя сутяжническая жилка была задета, я даже подумал о процессе с «Шератоном», но решил не портить себе на-

строение, ибо надеялся все же увидеть Швейцарию своей мечты.

У дверей ванной помещались четыре выключателя, их назначения я так и не выяснил и вечером залез в постель в темноте. К подушке была пришпилена карточка с сердечными поздравлениями дирекции, а также маленькой плиткой «Мильки», но я об этом не знал. Сперва я вонзил себе в палец булавку, а потом пришлось еще искать шоколадку под одеялом, куда она завалилась. Когда шоколадка была уже съедена, я спохватился, что теперь надо опять чистить зубы, и после непродолжительной внутренней борьбы так и сделал. Потом, пытаясь нащупать выключатель у кровати, нажал на что-то такое, из-за чего матрас начал трястись. Об абажур билась ночная бабочка. Терпеть не могу ночных бабочек, особенно когда они садятся на лицо. Я решил ее прихлопнуть, однако в пределах досягаемости был только здоровенный том гостиничной Библии в твердом переплете, а швыряться Библией как-то неловко. Я гонялся за нею довольно долго и в конце концов поскользнулся на альпийских буклетах, которые перед тем побросал на ковер. Казалось бы, пустяки. Глупости, о которых стыдно писать. Но если посмотреть глубже, не так уж это и просто. Чем больше комфорта, тем больше мучений и даже духовных унижений: ты чувствуешь, что не дорос до такого богатства возможностей, словно стоишь с чайной ложечкой перед океаном; впрочем, довольно о ложечках.

На следующее утро я позвонил агенту по продаже недвижимости и попросил его навести справки о небольшой комфортабельной вилле в горах; возможно, я приобрел бы что-нибудь в этом роде в качестве летней резиденции. Временами я совершаю поступки, которые удивляют меня самого; ведь я, собственно, не собирался покупать здесь никаких вилл. А впрочем, и сам не знаю. Город был мало сказать что подметен, но отполирован до зеркального блеска, парки нарядные, как подарки; и эта царящая повсюду праздничная прибранность казалась предвестием блаженной жизни, которая почему-то никак не давалась мне в руки. Потратив впустую день,

все еще не решив, где провести лето, я решил как можно быстрее выехать из «Шератона» и при одной мысли об этом почувствовал немалое облегчение. Подходящую меблированную квартиру на тихой улочке я нашел на другой день, и даже с приходящей прислугой, унаследованной от прежнего жильца.

Этот день должен был стать последним днем моего гостиничного житья. Когда я закончил завтрак, к моему столу подошел крупный, седовласый, представительный мужчина, назвавшийся адвокатом Трюрли. Положив рядом с собой внушительных размеров портфель, он попросил у меня минуту внимания. Он сообщил мне, что известный швейцарский миллионер, доктор Вильгельм Кюссмих, будучи давним энтузиастом моей астронавтической деятельности и заядлым читателем моих сочинений, в знак уважения и признательности желает подарить мне замок в полную собственность. Да-да, замок, второй половины XVI века, над озером, не в Цюрихе, а в Женеве, сожженный во время религиозных войн, отреставрированный и обновленный господином Кюссмихом, — адвокат декламировал историю замка как по нотам. Должно быть, выучил наизусть. Я слушал его, приятно удивленный тем, что мое первоначальное представление о Швейцарии, совсем уже было поблекшее, оказалось все-таки верным. Адвокат вывалил передо мной на стол огромную книжищу в кожаном переплете, вернее, альбом, изображавший замок со всех сторон, а также с воздуха. Затем он протянул мне второй том, потоньше, — список предметов, то есть движимого имущества, находящегося в замке, поскольку господин Кюссмих не хотел оскорбить меня видом голых стен и мне предстояло получить старинное здание со всем его содержимым; только первый этаж был без мебели, зато на всех остальных — сплошной антиквариат, бесценные произведения искусства, оружейная палата — а как же иначе! — и даже каретный двор; впрочем, он не дал мне времени насладиться всем этим и официальным, почти строгим тоном спросил меня, готов ли я принять дар. Я был готов. Адвокат Трюрли на мгновение замер — уж не молился ли он, прежде чем приступить к столь

торжественному акту? Он был из числа мужчин, которым я всегда немножко завидовал. Их рубашки сияют ангельской белизной даже в три часа ночи, брюки на них никогда не мнутся, а от ширинки никогда не отлетают пуговицы. Этой своей безупречностью он меня несколько замораживал или, скорее, сковывал: но можно ли было требовать, чтобы незнакомый благодетель направил ко мне посланника, больше соответствующего моим вкусам? К тому же не следовало забывать, что мы находимся в Швейцарии.

После исполненного достоинства молчания адвокат Трюрли сказал, что окончательные формальности мы уладим позднее, пока же достаточно будет подписать дарственную. Он достал из портфеля прозрачную папку, в которой, словно между стеклами, покоился этот старательно напечатанный документ, и развернул его передо мною на скатерти, одновременно протянув мне свою авторучку — разумеется, швейцарскую и золотую, как и его очки. Затем легким движением отодвинулся от стола, словно бы отменяя свое присутствие здесь, пока я не ознакомлюсь с содержанием столь важного документа. Я прочитал все пункты дарственной. Между прочим, я обязывался на протяжении шести месяцев не дотрагиваться до двадцати восьми сундуков, стоявших в рыцарском зале; я поднял глаза на адвоката, но не успел открыть рот, как он, словно бы читая мои мысли, заверил меня, что в этих сундуках — разумеется, не запертых — находятся уникальные предметы, в частности полотна старых мастеров; передача их в собственность иностранцу, даже столь знаменитому, как я, требует времени. Кроме того, в течение двух лет я не имел права продавать замок ни целиком, ни частично, а также переуступить его третьим лицам каким-либо иным образом. Ничего подозрительного в этих пунктах я не заметил. Впрочем, не была ли моя подозрительность проявлением беспомощности перед непостижимым великодушием, которое по цепи тяжелых юридических немецко-швейцарских оборотов, как по висячему мосту, вело меня прямо в замковые покои? Я даже немного вспотел, выводя свою подпись, а затем адвокат Трюрли легким, но властным движением при-

поднял руку, и двое гостиничных лакеев, которых я раньше не замечал — они незаметно поджидали за пальмами, — подошли, чтобы заверить мою подпись. Должно быть, он заранее поставил их там, в углу. Ничего не скажешь, он постарался оправить эту сцену в достойную раму.

Когда лакеи ушли, Трюрли попросил меня подписать еще одно условие на обратной стороне дарственной. Согласно этому условию, я разрешал лицам, которых назначит даритель, периодически проверять соблюдение мною пунктов 8 и 11 — то есть не роюсь ли я в сундуках с драгоценным содержимым. При мысли о том, что какие-то посторонние люди будут шнырять по замку и совать нос куда пожелают, мне стало не по себе. Адвокат разъяснил чисто формальный характер этого пункта. Документ, добавил он, приобрел юридическую силу, и я в любую минуту могу вступить во владение всем объектом вместе с прилегающим парком. Он уже встал, и тут я, к счастью, догадался спросить, когда я лично мог бы выразить признательность своему благодетелю. Однако господин Кюссмих был очень занят: он возглавлял концерн по производству пищевых концентратов, в том числе знаменитого «Мильмиля» — препарата, укрепляющего здоровье детей на всех континентах; о времени нашей встречи, сказал адвокат, придется условиться позже. Он пожал мне руку, старинные стенные часы за нашей спиной начали бить одиннадцать; при этих торжественных звуках я, уже в качестве владельца швейцарского замка, смотрел, как Трюрли ступает по коврам, как услужливо распахиваются перед ним стеклянные двери, ведущие на улицу, а шофер с фуражкой под мышкой открывает дверцу черного «мерседеса», — и постепенно я пришел к выводу, что нечто подобное мне, в сущности, давно уже полагалось.

Увы, замок оказался нежилым. Зимой там лопнули трубы центрального отопления. Но дареному коню... Отказавшись от мысли уехать в Альпы, я принялся за ремонт. Специалист по интерьеру уговаривал меня превратить нижние залы в дворцовую феерию, а встретив мое сопротивление, уступил, но весьма зловредно: он просто свалил на меня все решения,

включая облицовку ванной (потрескавшуюся) и стиль дверных ручек (кто-то поотворачивал их). Я успел уже выложить немалую сумму, как вдруг на первых полосах газет появились сенсационные новости о «Мильмиле». Выяснилось, из чего на самом деле изготавливается этот продукт. Международный комитет пострадавших матерей предъявил Кюссмиху иск. Сумма иска составляла девяносто восемь миллионов швейцарских франков. Загубленное здоровье детей, физические и моральные страдания родителей, добавочная компенсация за боль — обо всем этом газеты сообщали подробно, — а я, приезжая посмотреть, как идет ремонт, должен был пробираться сквозь пикеты с транспарантами, клеймившими прохвоста, который не только приобрел дворец, отравляя детей, но вдобавок еще имеет наглость отделять свою резиденцию как раз теперь, когда над ним висит дамоклов меч судебного разбирательства. Дважды мне удалось разъяснить, что я не Кюссмих, с грудными младенцами ничего общего не имею, но на третий раз какая-то пожилая дама из Армии Спасения (она, видать, просто меня не расслышала, распевая и колотя в бубен) взяла у другой дамы транспарант с требованием восстановить справедливость и огрела меня по голове. Тут я наконец понял, в какое дурацкое положение поставил меня Кюссмих своим замком. Я позвонил адвокату, желая услышать его мнение, а тот посоветовал мне избегать журналистов. Лучше всего, сказал он, уехать на время в Альпы. Я послушался: в конце концов, для этого я и приехал в Швейцарию. В глубине души — признаюсь в этом искренне, так как привык говорить одну только правду, — я надеялся, что все успокоится, когда Кюссмиха укутут наконец за решетку. Я, осел, все еще думал, будто он мучился угрызениями совести и в дарении видел акт искупления. Если бы я вовремя унес ноги из «Шератона», то провел бы безмятежное лето в тихом горном уголке, хотя, с другой стороны, тогда я не познакомился бы ни с профессором Гнуссом, ни с Институтом Исторических Машин, а значит, не отправился бы на Энцию с ее поразительной этикосферой. Такова жизнь: из глупостей вырастают большие дела, хотя чаще бывает наоборот. В то

лето я не меньше времени провел в Женеве, чем в Альпах, — за ремонтом все же приходилось приглядывать, да и Трюрли все время обсуждал со мною то да се. В городе я жил в мебелированных комнатах, в замок не ходил, на процессе Кюссмиха тоже предпочитал не показываться, а тем временем мамыши, прокуроры и репортеры заботились о том, чтобы пресса то и дело взрывалась сенсациями о злодеяниях концерна. Впрочем, борение злата с правом давало неожиданные результаты. Эксперты обвинения доказывали, сколь пагубным было воздействие «Мильмиля» на организм ребенка, а эксперты, нанятые концерном, с не меньшей научной точностью демонстрировали всеисцеляющую силу порошка. Общественное мнение, однако, было на стороне младенцев и матерей. В очередной раз вернувшись из Женевы в свой альпийский замок, я едва лишь успел позавтракать, как Трюрли лаконичной телеграммой вызвал меня обратно.

В Женеву я возвращался на поезде. Швейцарцы источили свою страну туннелями, и можно исколесить ее всю, не увидев ни разу гор. В купе я застал пожилого мужчину в позолоченном старомодном пенсне на черной тесемке. Он читал мои «Звездные дневники» и при этом, к моему удивлению, то и дело открывал какой-то толстенный том, лежавший у него на коленях, и, заглянув туда, что-то старательно вписывал на поля моей книги. Когда он ушел в вагон-ресторан, оставив «Дневники» на сиденье, я внимательно присмотрелся к ним. Поля сверху донизу были испещрены номерами каких-то параграфов. Меня разобрало любопытство; когда он вернулся, я представился и спросил о значении этих пометок. Мой попутчик оказался человеком весьма любезным и сердечно поздравил меня с выдающимися открытиями и свершениями. Он был профессором космического права, притом в политическом аспекте. Роже Гнусс — именно так его звали — не только заведовал университетской кафедрой, но и курировал по поручению секретариата ООН Институт Исторических Машин, филиал МИДа. Министерства не иностранных, а инопланетных дел. Я даже не знал, что оно уже существует. Благодушно улыбаясь голубыми, как альпийские ледники, гла-

зами, которые за стеклами пенсне казались совсем маленькими, профессор объяснил мне, что новый МИД пока существует частично, как учреждение в стадии формирования. По инициативе влиятельных государств создана административная протоячейка, которая в нормальное министерство разовьется какое-то время спустя, когда контакты с инопланетными цивилизациями перестанут носить случайный характер и дело дойдет до установления дипломатических отношений, включая аккредитацию полномочных послов. До сих пор освоением населенных планет ведала ООН, но космические масштабы требуют от дипломатии абсолютно новых методов и решений. Все это было для меня совершенной новостью. Больше всего меня удивляло молчание швейцарской прессы о предмете столь важном. Не так уж оно удивительно, объяснил мне профессор; ведь пока мы занимаемся главным образом фантомно-тренировочной дипломатией, к тому же финансирует нас ООН (кантональные власти, давая согласие на размещение нового МИДа в Женеве, оговорили, что финансовая сторона их не касается), а прессу не интересуют дела, не влияющие на швейцарскую экономику. Впрочем, добавил он, хотя наша деятельность не передается огласке, она не является тайной в понимании международного, а также швейцарского (уголовного и гражданского) права: речь идет не о государственной безопасности, но о здравом рассудке. Валютный рынок лихорадит и без сообщений об инопланетянах; швейцарский франк еще не катится под гору, однако уже прихрамывает, и нужно оберегать его от потрясений. Обычный период планирования в банковском деле — несколько лет, не больше, ведь основная единица измерения здесь бюджетный год; а мы, то есть ИИМ вместе с МИДом, работаем с минимальным упреждением порядка ста лет! Именно этими единицами (так называемыми секулярами) оперирует министерский планетарно-исторический механизм. Я ничего не понял, но имел смелость признаться в этом. От вас, господин Тиши (так он выговаривал мое имя), мне скрывать нечего, заверил профессор. Сперва он объяснил мне значение пометок в «Дневниках». Обычная профессиональная привычка: все совершенные мною по незнанию наруше-

ния межпланетного космического права, а также правил движения по Млечным Путям он подводил под соответствующие параграфы. Увидев мое вытянувшееся лицо, профессор добавил, что такие *faux-pas*\* — обычный удел первооткрывателей. Разве Колумб не принял Америку за Индию? А отношение испанцев к ацтекам? Но звездные государства, с которыми мы имеем дело, — отнюдь не объекты колониальной экспансии; они, вообще говоря, куда развитее нас. До самой Женевы профессор излагал мне азы своей дисциплины, а я внимал ему, как школяр. Юридические законы, поучал Гнусс, в космосе важнее физических. Конечно, в последней инстанции явления бытия определяются физикой, но на практике все по-другому. Взять хотя бы загадку «космического молчания», *Silentium Universi*. Почему столько десятилетий впустую ушло на поиски внеземных цивилизаций? Да потому, что первыми, неведомо по какому праву, к ним приступили естественники — астрономы, физики, математики, биологи — и рассчитали как дважды два, что тех, *других*, не может не быть, энергетические средства у них имеются, технические возможности тоже; а раз не видно ничего и не слышно, ergo, Нигде Никого Нет. Как же так нет, если доказано, что не может не быть? Вместо того чтобы проконсультироваться у знатоков политического, экономического и прочих прав, они решили: чем выше взберется цивилизация, тем гибель ее вернее. Период личиночный, стадия куколки, длится долго, но тогда нет средств для сигнализации, а когда они уже есть, цивилизация либо исчезла, либо вот-вот исчезнет. Этой несокрушимой логикой они напугали не только самих себя, но и широкую публику. Получилось, что в космосе мы одиноки как перст. Мало того: и нас-то скоро не будет. Конечно, был Ийон Тихий и путешествовал, но *pec Hercules contra plures*, один в поле не воин. Он не получил официального признания. Почему? А разве мало маньяков и жуликов, плетущих небылицы о тарелках и об Ужасно Добрых Праастронавтах, прибывших на Землю, чтобы воздвигнуть египтянам пира-

---

\* Здесь: промахи (франц.).

миды под предлогом захоронения фараонов? Наука должна была выработать в себе невосприимчивость к подобным бредням — и стала уж слишком невосприимчивой. «Известно ли вам, господин Тиши, — профессор успокоительным жестом положил на мое колено швейцарскую, вымытую до розовой кожи ладонь, — где, то есть в каком разделе, хранятся ваши труды, ну хотя бы в городской библиотеке Женевы? В разделе научной фантастики, так-то вот, дорогой коллега! Ради бога, не принимайте это близко к сердцу. А вы и не знали?»

Я ответил, что не читаю собственных книг и потому не ищу их в библиотеках.

— Быть непризнанным — прямой долг любого великого новатора и первопроходца, — изрек Гнусс. — Впрочем, имелись крайне серьезные соображения, вследствие которых мы — то есть МИД — не реагировали на подобные недоразумения. Мы некоторым образом оберегали тем самым и вас...

— Как прикажете вас понимать? — спросил я удивленно.

— Вы поймете, но в свое время. Раз уж судьба свела меня с вами, пусть будет, чему суждено быть. — И он дал мне визитную карточку, перед тем записав на обратной стороне не подлежащий разглашению номер домашнего телефона. — *Silentium Universi* объясняется финансовыми лимитами, — сказал он, понизив голос. — Наше богатое государство отдаст бедным странам 0,3 процента своего дохода. Почему вне Земли должно быть иначе? Полагать, будто космос был ничейным пространством, не знавшим правовых норм, сфер влияния, проектов бюджетов, охранительных пошлин, пропаганды и дипломатии, пока там не появилось человечество, — значит уподобляться младенцу, которому кажется, что, пока он не сделал первой кучки, никто этого не умел. Проблема исчезла только тогда, когда от естественников она перешла к нам. Ведь они, господин Тиши, и вправду что малые дети. Им кажется, будто тот, кто имеет на текущем счету десятка два солнц, уравновешенный энергобаланс, а в астрофинансовом резерве что-нибудь около  $10^{49}$  эргов, швыряет этим добром направо и налево, без счета: сообщает и извещает, шлет в пустоту промышленные лицензии, совершенно

бесплатно — да что там, с чистым убытком, делится технологической, социологической и бог весть какой еще информацией, просто так, от чистого сердца — или органа, который ему заменяет сердце. Все это сказки, дорогой господин Тиши. Как часто, разрешите спросить, вас осыпали богатствами на открытых вами планетах?

Я на минуту задумался — подобный подход был для меня совершенно новым.

— Ни разу, — ответил я наконец, — но ведь я никогда ни о чем не просил, профессор...

— Вот видите! Чтобы получить, нужно сперва попросить, и то ничего не известно. Ведь межзвездные отношения определяются политическими, а не физическими постоянными. Физика действительна всюду, но разве случалось вам видеть политика, который жаловался бы на гравитационную постоянную Земли? Какие такие физические законы возбраняют имущим делиться с бедствующими? Просто диву даешься, как господа астрофизики могли не учесть в своих рассуждениях столь очевидных вещей! Но мы уже подъезжаем. Приглашаю вас посетить Институт Исторических Машин. Телефон я вам дал — позвоните, и мы условимся.

Действительно, поезд уже стучал на развилках пути, показавшись вокзал. Профессор спрятал «Звездные дневники» в портфель, взял накидку и сказал, улыбаясь:

— Политические отношения развиваются в космосе не один миллиард лет, но наблюдать их нельзя даже в самый большой телескоп. Поразмышляйте на досуге об этом, а пока — до свидания, дорогой господин Тиши! Знакомство с вами было для меня честью...

Я, все еще под сильным впечатлением от этой встречи, разыскал у здания вокзала черный «мерседес», в котором ожидал меня Трюрли. Садясь в машину, я протянул ему руку. Он взглянул на меня, словно не мог взять в толк, что это такое высовывается из моего рукава, а затем прикоснулся к моей ладони кончиками пальцев. Хотя шофер не мог нас услышать — он сидел за прозрачной перегородкой, — адвокат произнес очень тихо:

— Господин Кюссмих дал показания...

— Сознался? Это хорошо, — машинально ответил я и тут же сообразил, что сказал не то: ведь я разговаривал с его адвокатом.

— Для вас — нет, — бросил он холодно.

— Извините, что?

— Он сознался, что дарственная была трюком...

— Как это — трюком?.. Не понимаю.

— Будет лучше, если мы продолжим разговор у меня.

Мы замолчали. Его ледяной вид удивлял меня все больше; но когда мы очутились в его кабинете, шило вылезло из мешка.

— Господин Тихий, — сказал Трюрли, усевшись за письменный стол, — показания доктора Кюссмиха совершенно изменили ситуацию.

— Вы полагаете? Потому что они были ложными? Он оклеветал меня?

Адвокат сморщился, словно услышал что-то непристойное.

— Вы находитесь у адвоката, а не в зале суда. Клевета — нет, вы только подумайте! Уж не хотите ли вы сказать, господин Тихий, что доктор Кюссмих ни с того ни с сего, ради ваших прекрасных глаз подарил вам объект стоимостью восемьдесят три миллиона швейцарских франков?

— О стоимости речи не было... — пробормотал я, — и... и с этим вот вы пришли ко мне...

— Я сделал то, что поручил мне мой клиент, — сказал Трюрли. Глаза у него были голубые, как у профессора, но далеко не столь симпатичные.

— Как же так... Вы хотите сказать, что вручили мне эту дарственную с задней мыслью?

— Мои мысли тут ни при чем; это область моей психики, которая правосудию безразлична. Итак, вы пытаетесь утверждать, что приняли в дар от совершенно незнакомого человека восемьдесят три миллиона без всяких скрытых соображений?

— Да что вы мне такое рассказываете, — начал было я, распекаясь гневом, но он уставил на меня палец, как револьвер.

— Извините, но теперь я говорю. Если бы судей набрали со школьной скамьи, возможно, они приняли бы ваши показания за чистую монету; но на это рассчитывать не приходится. Подумать только! Человек, о котором вы даже не слышали, дарит вам восемьдесят три миллиона, потому что, видите ли, когда-то с удовольствием прочел книжку, которую вам заблагорассудилось сочинить? И суд должен в это поверить?

Адвокат достал из роскошной шкатулки сигарету и закурил ее от стоявшей возле чернильницы золотой зажигалки.

— Может быть, вы объясните мне, в чем дело? — сказал я, стараясь сохранять хотя бы наружное спокойствие. — Что угодно господину Кюссмиху? Чтобы я разделил с ним тюремную камеру?

— Доктор Кюссмих будет очищен от всех предъявленных ему ложных обвинений, — произнес адвокат Трюрли и выдохнул дым в мою сторону, словно отгоняя назойливое насекомое. — Боюсь, в камере вам придется сидеть одному.

— Погодите. — Я все еще ничего не понимал. — Он подарил мне замок... Зачем? Он хочет взять его обратно?

Адвокат важно кивнул.

— Так какого черта было дарить? Ведь я не просил, я не знал — а-а-а... он боялся, что на замок наложат арест, конфискуют, да?

Лицо адвоката не дрогнуло, но у меня словно шоры упали с глаз.

— Ладно, — сказал я воинственно, — однако замок все еще мой, мой по закону...

— Не думаю, что вам это что-нибудь даст, — ответил он равнодушно. — Дарственная настолько невероятна, что признать ее недействительной — пустячное дело.

— Понимаю, поэтому он дал ложные показания... Но если судьбы в это поверят, загремит он на пару лет...

— Не знаю, что вы понимаете под словом «загремит», — сказал Трюрли. — Истцы давно уже добивались суда. Об этом знает каждый, кто читает газеты. Доктор Кюссмих находился в нелегком положении, поскольку первое заключение эк-

спертов оказалось не в пользу «Мильмиля». Вы использовали его минутную слабость, душевный кризис, вызванный тревогой за благосостояние семьи. Он поступил вопреки моему совету — я убеждал его, что правда восторжествует и мы выиграем процесс. Так оно и будет. Поэтому дело не дойдет до ареста имущества для взыскания суммы иска. Суду придется выяснить только одно: как вы, иностранец, пытались нажить-ся на чужой беде.

— Так ему ничего не грозит? Хотя он сам признаёт, что при помощи дарственной хотел отвертеться от описи имущества? Что он хотел...

— Никто не может быть наказан за то, что чего-то хотел.

— Значит, я тоже!

— Вы не только хотели, но и подписали известный вам документ.

— Но без задней мысли! Моя репутация безупречна! Я могу доказать это, — тут я осекся, потому что адвокат изменился в лице, словно вершины Альп при закате солнца.

— А серебряные ложечки?! — пророкотал он, глядя на меня с нескрываемым презрением.

На этом я закончу отчет о нашей беседе. Адвоката, рекомендованного мне профессором Гнуссом, к которому я обратился за советом, звали Спутник Финкельштейн. Он был маленький, чернявый и веселый. Выслушав мою историю до серебряных ложечек включительно, он потер нос и сказал:

— Вы не удивляйтесь, что я все время провожу пальцем по носу: если ты двадцать лет носил очки, трудно отделаться от этой привычки сразу же после перехода на контактные линзы. Вы сообщили мне сюжет представления, а я сообщу вам, кто авторы либретто. Кюссмих выиграет, потому что поладил с «Нестле». Речь шла о золотом кофе. Слышали? Кофе в порошке — если его растворить, выглядит в чашке в точности, как золото.

— А на вкус?

— Так себе. Но это незанятая пока рыночная ниша — никто еще до этого не додумался! Новинка! Пить чистое золото!

Понимаете? Он выхватил патент у них из-под носа, вот они и подстроили ему пакость.

— А «Мильмилль»? Вреден он или нет?

— Все вредно, — категорическим тоном ответил мой защитник. — Там есть эндорфины, ну, знаете, соединения, которые организм сам вырабатывает в мозгу, болеутоляющие, морфин из той же оперы. Этих эндорфинов в «Мильмиле» — кот заплакал. Ровно столько, чтобы можно было писать об этом в рекламах. Одни врачи говорят, что это вредно, другие, что полезно. Или, во всяком случае, безвредно. Впрочем, какое это имеет значение? В гражданских делах все решает банковский счет — если уж нельзя выиграть, можно засутяжничать противника насмерть. Сейчас я как раз веду такое дело — о патенте на машину времени. Чтобы путешествовать в будущее. Называется хронорх. Туда и обратно — заметили? Два доктора из очень приличного университета — назовем их, во избежание огласки, доктор Трефе и доктор Кошер — изобрели его на пару. А патента им не выдают, потому что действует он не так, как гласит их описание.

— Хронорх? — спросил я с любопытством, уже забыв о «Мильмиле» и ложечках. — Вы не могли бы рассказать об этом подробнее?

— Почему бы и нет? Это взялось из теории Эйнштейна, впрочем, как и остальные несчастья. На быстро перемещающихся телах время течет медленнее. Вам это известно? Ну, конечно, известно... Вот им и пришлось в голову, что лететь никуда не надо, достаточно, чтобы тело очень быстро вертелось на месте. Раз в одну сторону, раз в другую. При достаточно большой скорости такого волчка время начинает идти медленнее. Таков принцип. К сожалению, ничто не выдерживает этой тряски, все разлетается. На атомы. Можно, конечно, посылать в будущее эти атомы, но больше ничего. Пошлете яйцо — придет фосфор, углеводы и из чего там еще состоит яйцо. И человека можно забросить в будущее только в порошке. Поэтому патентное бюро отказывает им в патенте, а они боятся, что кто-нибудь украдет идею, прежде чем они выдумают средство против этой трясучки. Такое вот дело.

Трудное, но я как раз такие люблю. Однако вернемся к нашим баранам. «Нестле» столкнулась с Кюссмихом, и они поделят золотой кофе. Мамочек и деточек финансировать перестанут. Эксперты усомнятся в своих заключениях. Кюссмих подарил вам замок, чтобы, допустим, продемонстрировать свою силу. Мол, ничего ему не сделают. Подарить семье, изменить номинального владельца собственности — это было бы шито белыми нитками. Нужен был иностранец, заслуженный, но — скажем так — с оттенком двусмысленности. Вы не обидитесь? Чтобы в случае чего можно было сказать: пожалуйста, было кому дарить, все по заслугам, а если дело повернется иначе, сменить пластинку: мол, меня ввела в заблуждение видимость, были серебряные ложечки и еще кое-что. Так повернули бы игру против вас. Вы интересовались покупкой дома! Вы подходили им как нельзя лучше, ведь вы не какой-нибудь шалопай; но, разрешите спросить, почему вы согласились принять замок вместе с этими сундуками? Сундуки добились вас окончательно...

— Как же я мог отказаться? Я не видел причин. Да и неучтиво как-то — брать подаренное, но с разбором... Ведь это обида для дарителя...

— Я так и думал. Но сундуков ни один суд не проглотит. Знаете, что в них?

— Мне сказали, произведения искусства...

— Разве что сверху. Это же курам на смех. У меня тут дарственная, ксерокс. О содержимом сундуков ни слова.

— Адвокат Трюрли сказал, что там какие-то картины и что их передача мне в собственность требует особого оформления...

— Еще бы, ведь там главные части аппаратуры для производства золотого кофе. Даренному коню в зубы не смотрят, но этот конь был троянский! Вам пришлось хранить то, из-за чего шел настоящий спор, закулисный!

— Да что вы! Я и не заглядывал в сундуки...

— Ну да, вы порядочный человек. Вы подписали, вы дали слово, это о вас хорошо свидетельствует, может, где-нибудь еще вам и поверили бы, только не здесь. Их версия такова:

вы пытались воспользоваться безвыходным положением Кюссмиха, чтобы сколотить состояние.

— Трюрли говорил что-то в этом роде.

— Вот видите!

— Но объясните мне, почему Кюссмих, подаривший мне то, чего вовсе не хотел дарить, выйдет сухим из воды, а я нет?

— Видите ли, тут дело вот в чем. Допустим, кто-то приходит к вам с большим сундуком и говорит, что убил тетку, в сундуке — ее тело вместе с бриллиантами, и, если вы спрячете их у себя, он поделится с вами добычей, — только помогите закопать тетку. Потом оказывается, что он обманул вас. В сундуке одни кирпичи. Он не будет нести ответственность — да и за что? За то, что он вас обманул? Но он ничего не получил от вас при помощи этой лжи. Он скажет, что пошутил, — а вам расхлебывать кашу. Вы согласились стать соучастником убийства *post factum*, пообещав спрятать награбленное, а также помочь в захоронении трупа. Это наказуемо. Попытка соучастия *post homicidium\**, а также посредничество в сбыте награбленного.

— Вы видите тут что-то общее с моей ситуацией?

— Да. Они это очень хитро придумали. И вы еще согласились, чтобы неведомо сколько уполномоченных Кюссмиха следили, как вы соблюдаете условия дарственной! Сказать вам, что вы увидите в замке, если выберетесь туда? Толпу, господин Тихий! Если вам кое-куда приспичит, они вправе сопровождать вас до самого туалета, а также быть *praesentes apud actum urationis* или *defecationes\*\**, поскольку документ, который вы подписали и позволили заверить подписями двух свидетелей, каких бы то ни было исключений не предусматривает. Ничего не скажешь, отлично сработано!

— Лучше бы вы умерили свое восхищение.

— Хи-хи, вы, ей-богу, веселый клиент, господин Тихий! Так вот: они, видите ли, хотят, чтобы вы добровольно отказались от дара. Если вы не согласитесь, начнется процесс.

---

\* после убийства (*лат.*).

\*\* присутствующим при мочеиспускании (или) дефекации (*лат.*).

Замок — ну, тут я вас как-нибудь защитил бы, а вот что касается сундуков — вряд ли. In dubio pro geo\*, но ни один швейцарец не усомнится, что первым делом вы заглянули в сундуки.

— А если бы и заглянул, что с того?

— Вам непременно хочется знать? Хорошо, я скажу вам. Там еще ценные бумаги, учредительные акции Кюссмиха, патенты, техническая документация, и, будь вы человеком менее порядочным, но более предусмотрительным, вы бы это обнаружили и дали знать Кюссмиху, чтобы он забрал свое добро. А вы сидели тихо. Нет, молчите — я вам верю! Однако коллега Трюрли намерен состряпать из этого весьма красочную историю. Бездействие как *dolus\*\**, а то и как *corpus delicti\*\*\**. На вашем месте я сразу бы принялся за эти сундуки.

— Вы говорите странные вещи.

— Потому что я знаю, кто такой Кюссмих, а вы только начинаете узнавать. Это еще не все. Они будут помалкивать, но если вы решите уехать, то будете задержаны на границе или в аэропорту. Намерение бежать в страну, не подписавшую со Швейцарией соглашение о выдаче уголовных преступников.

— Что же вы посоветуете?

— Есть дубина и на Кюссмиха, но у нее два конца. Откажись вы от дара теперь, Кюссмих не был бы в восторге. Тут есть юридическая тонкость. Пока не будет вынесен благоприятный для него приговор, иск будет висеть над ним, как дамоклов меч. Мы знаем, что меч этот снимут, вложат в ножны и закопают, но, если еще до вынесения приговора печать раструбит о вашем отказе от щедрого дара, одно потянет за собой другое, и вонь будет изрядная. Пресса обожает такие скандалы! Зато после приговора никого уже не будет интересовать ни замок, ни вы, ни сундуки, и никто не заме-

---

\* Сомнение (толкуется) в пользу обвиняемого (*лат.*).

\*\* уловка (*лат.*).

\*\*\* состав преступления (*лат.*).

тит, что он подарил, а вы вернули ему подарок, потому что так вам заблагорассудилось, и точка. Понимаете?

— Понимаю. И хочу отказаться сразу же. Чтобы вони было побольше!

Адвокат Финкельштейн рассмеялся и погрозил мне пальцем.

— Вендетта? Жаждем крови? «О, подлый Яго, пусть...» и так далее, «вот и пришла, злодей, пора расплаты»? Прошу вас не делать этого, господин Тихий! У дубины есть и второй конец. Пресса набросится на вас обоих. Он нечист на руку, а вы — его пособник. Конечно, не мешает пригрозить, что мы немедленно все вернем, но угрозы будут не слишком убедительными, ведь, хотя мы можем потащить их за собой, тонуть будем вместе, и вы погрузитесь глубже, чем он. Трюрли перекует ваши ложечки в меч Гавриила-архангела.

— Так что же вы мне советуете?

— Сохранять терпение. Суд отложил сессию на три месяца. Будем торговаться. Тянуть, согласиться на четверть, чуть уступить, направиться к выходу, закрыть за собой дверь, снова чуть приоткрыть, вернуться — и в конце концов соглашение на ничью.

— То есть?

— Кюссмих заберет замок и сундуки, но возместит вам расходы и откажется от процесса. Ну еще, может быть, возмещение за моральный ущерб. Картина ясна? Если нет, могу объяснить еще раз. Я очень терпелив с клиентами. Иначе нельзя. Швейцарцы в общем-то тугодумы. Я натурализовался здесь, но родом я из Чорткова, если вам интересно. Знаете, где это?

— Нет.

— Не важно. Галиция и Лодомерия. Премиленькая местность. Отец — вечная ему память, вместе с его идеей назвать первородного сына Спутником — имел там антикварный магазин. Достоинейший был человек. Я не поменял имени. Ну так как же, господин Тихий? Будем упираться или на мировую?

— Мне хотелось бы, чтобы господин Кюссмих запомнил меня надолго, — ответил я по некотором размышлении.

Адвокат посмотрел на меня с неодобрением:

— Вы думаете сначала о нем, а потом о себе? Благородно, но непрактично. Лучше оставьте мне страховочную веревку. Адвокат Финкельштейн упрется и будет тянуть, пока еще можно. А вы тем временем отправляйтесь на отдых. Три месяца нужно переждать все равно.

— Знаете что, — сказал я, захваченный новой мыслью, — этот хронорх — он уже готов? Действует? А то хорошо бы послать приличную дозу разных атомов туда, где Кюссмих будет изготавливать свой золотой кофе. Например, сажу, кремний, серу...

Адвокат громко рассмеялся:

— О, выходит, профессор был прав, когда говорил, что вам пальца в рот не клади. Верно, это оружие может оказаться очень грозным. Но, видите ли, месть, как и любой бизнес, должна иметь какой-то предел расходов. Чтобы послать горсточку атомов на полгода вперед, понадобилось бы электричества на миллион франков.

— В таком случае я перепоручаю вам свой замок и свою честь, господин адвокат, — сказал я, вставая. Он еще смеялся, когда я закрыл за собой дверь.

## II. Институт Исторических Машин

Адвокат Финкельштейн убедил меня. Месть была невозможна, хотя, конечно, это одно из высших наслаждений жизни, причем, по утверждению знатоков, холодная месть всего приятней на вкус. У кого из нас нет личных врагов, ради которых мы усмиряли в себе вредные страсти, чтобы в наилучшем здравии дожидаться нужного часа? Об этом я мог бы поведать немало, ведь космонавтика, понятное дело, оставляет массу времени для размышлений. Один человек, имени которого я не назову, дабы не увековечить его, всего себя посвятил поношению моего творчества. Возвращаясь из созвездия Кассиопеи, я знал, что встречу его на официальном банкете, и обдумывал различные варианты встречи. Разумеется, он подойдет и подаст мне руку, а я, к примеру, попрошу его разъяснить, подлец он или кретин, потому что кретинам я подаю руку, а подлецам — никогда. Но это было как-то уж очень убого, по-опереточному. Я браковал один вариант за другим, а приземлившись, к своему ужасу, услышал, что все пошло впустую. Он переменял мнение и теперь превозносил меня до небес.

Кюссмиху я тоже не мог ничего сделать. Поэтому я решил, что отныне он для меня не существует. И он действительно исчез, но только из моей яви. В сонных кошмарах он дарил мне яхты, дворцы, танкеры, полные «Мильмиля», и груды бриллиантов. Мне приходилось на коленях уползать от орды адвокатов, а те, настигнув меня в темном переулке, набивали

мои карманы серебряными ложечками. Приговоренный к трем месяцам тяжелых забот в Швейцарии, я опасался, что просто зачахну. По ночам — Кюссмих, а днем — парки, как подарки, сияющие золотом таблички с названиями банков, биржевые бюллетени и курсы акций в «Нойе цюрхер цайтунг». На прогулках я избегал одной улицы: мне сказали, что под асфальтом, между трубами, там хранятся сейфы с золотом; они, мол, не умещались в подвале, и банк врылся под мостовую. К счастью, я вспомнил о приглашении профессора Гнусса. Это меня спасло.

Институт располагался за городом, среди обширного парка, в его высоких стеклянных стенах отражались небо и облака. За оградой в форме копий с позолоченными остриями грелись на солнце подстриженные ряды кустарника. Из приемной я позвонил в главное здание; потом проехал дальше и припарковался под большими каштанами у бассейна, в котором плавали сонные лебеди. Не выношу я этих тупых тварей и не понимаю, почему столько даровитых людей (особенно причастных к искусству) попались на удочку их выгнутых шей.

Холл института был необъятен. Чем-то он напоминал собор — должно быть, из-за тишины и мраморных плит; отраженные в них перекрытия наводили на мысль о церковных сводах. Издалека я увидел профессора — он выходил из лифта, улыбаясь в ответ на мое приветствие. Так началась увертюра к одному из важнейших моих путешествий; но я, следуя за своим провожатым коридорами какого-то из верхних этажей мимо техников в белых халатах, восседавших на седлах бесшумно катившихся электрокаров, знать об этом не мог. Несмотря на дневное время, сияли люминесцентные лампы то холодным, то теплым светом, как бы давая понять, что здешнее время земному не подчиняется. В огромном кабинете профессор представил мне около дюжины своих сотрудников — начальников отделов ИИМ. Дабы не подвергать испытаниям мою скромность, они поздоровались со мной уважительно, но без подобострастия. То был кружок блестящих, первостепенных умов. К сожалению, не всех я запомнил.

Знаю, что Отделом Финансовой Космологии *не* заведовал доктор де Волей, заведующего звали иначе, но как — вылетело из головы. Во всяком случае, как-то в этом роде. Финансы, впрочем, не моя специальность. Другое дело физика. Этот отдел возглавлял романоязычный швейцарец, доцент Бурр де Каланс; едва ли не 49 процентов его подчиненных были психами. Завистники — ибо идея оказалась гениальной — утверждали, что и сам де Каланс с приветом. Как будто на таких интеллектуальных высотах это имело какое-нибудь значение. Взять хотя бы несколько последних идей его сотрудников. Раз нельзя перемещаться во времени, надо перемещать время. Если энергия не желает течь между изотермическими точками, нужно ее заставить, делая дырки. Отсюда взялись энтроны, инверсоры и реверсоры, а также выкопалистика, или углубление ямок в структуре пространства-времени, пока где-нибудь не треснет, — и эта, вне всякого сомнения, сумасшедшая идея положила начало новой эре в физике. Правда, никто пока не знал, как это делать, но практическое внедрение мало кого в Институте заботило, поскольку весь он был устремлен в далекое будущее. Де Каланс, во всяком случае, был преисполнен энтузиазма. Разумеется, первый попавшийся псих не мог рассчитывать на должность в его отделе. Свихнуться надо было не на банальной почве личных проблем, но на самых твердых орехах физики. Впрочем, эта мысль принадлежала еще Нильсу Бору: тот как-то заметил, что в современной физике обычных идей уже недостаточно — необходимы безумные. Правой рукой де Каланса был доктор Доуберман, левой — маленький Сен-Беернарес. Или наоборот. Именно он (но опять-таки не помню, который) математически доказал возможность превращения кварков в акварки, а тех, в свою очередь, — в аквариумы. В нашей Вселенной это невозможно, но в других, безусловно, возможно; тем самым теория вышла за пределы нашего Универсума. Зато я почти уверен, что это голландец Доуберман сказал мне ни с того ни с сего, что церковь прибегает к неподходящей символике, пользуясь пасторальными, то есть пастушескими, образами ягнят и овец, потому что ягням место на вертеле,

да и овечки идут на шашлык. У де Каланса, конечно, случались иногда нелады с коллективом. Еще он мечтал заполучить хоть парочку свихнувшихся нобелевских лауреатов; на беду, все живущие были пока нормальны. Его ученые вели себя чрезвычайно логично для своего состояния, пожалуй, даже слишком логично, и ни во что не ставили общепринятые условности, если речь заходила о самой сути. У меня на голени и теперь еще виден след от зубов доктора Друсса; укусил он меня отнюдь не в припадке бешенства, а для того, чтобы мне лучше врезалась в память его теория спинов (иначе, закрутов) — не левых и не правых, но *третьих*. И точно, он своего добился: я запомнил все досконально.

Нужно, однако, внести хоть какой-то порядок в эти буйные воспоминания. Сердцем Института были огромные исторические машины, именуемые также электрохронографами; остальные отделы имели с ними постоянную связь. Отделом Онтологических Ошибок и Искривлений заведовал Йондер Кнак, долговязый американец, сын исландки и эскимоса; до создания этого отдела никто и понятия не имел о подлинной роли ошибочных представлений, которые, в сущности, определяют поведение разумных существ. Заглянув в первый раз в лабораторию промышленной сексуалистики, я решил, что попал в музей старых паровых машин или помп Джеймса Уатта: все здесь, пыхтя, сновало туда и сюда; но это была всего лишь мастерская блудных машин, примитивных копулятриц; их привозили из разных стран в целях стандартизации и сравнительных исследований. Лаковые станины японских моделей были разрисованы белыми цветами вишни. Немецкие — абсолютно функциональные, без каких-либо украшений, их поршни беззвучно сновали в отливающих маслом цилиндрах, а специалисты Кнака уже эстраполировали следующие поколения копулятриц. На стенах висели цветные графики эрекции и дезэрекции, а также кривые оргиастического и экстастического насыщения. Все это было весьма любопытно, но атмосфера царила довольно понурая — там уже знали, что гипотезу об универсальном характере земной эротике оп-

ровергают данные межзвездных экспедиций. Доктор Фабельгафт, создатель теории постоянно возрастающего зазора между актами любви и деторождения (так называемая теория копуляционно-прокреационной\* дивергенции), по словам коллег, пил до беспамятства, ибо уже подсчитал параметры этого расхождения для всех биологических популяций Галактики вместе с Магеллановым Облаком, как вдруг директор велел передать всю документацию в Отдел Ошибок и Искривлений. Поэтому мне не удалось с ним познакомиться — он избегал людей.

Зато Отдел Внеземных Теологий процветал. Несмотря на микроминиатюризацию (в блоках ртутной памяти емкостью  $10^7$  санкторов на кубический миллиметр хранились лишь самые основные данные о теологиях), поговаривали о переводе Отдела в особое здание, а ведь электронная картотека вероисповеданий весила чуть ли не полтора тонны. Странное ощущение — стоять перед огромным блоком закованной в сталь памяти, где, словно в сверкающем саркофаге, покоятся тысячи религий космоса.

Почтенный ассистент профессора, магистр Денкдох, сначала провел меня по отделам (но я не перечислю и малой их части), чтобы я уяснил себе, какими реками информации питаются центральные электрохронографы. Их назначения я все еще не понимал, но, по совету Денкдоха, воздерживался от вопросов.

Обед, полученный мною в столовой, для такого института был скудноват. Денкдох объяснил, что недавно дотации снова урезали. Зато за мое просвещение взялись всерьез. Осмотр быстро утратил ознакомительно-экскурсионный характер, хотя я не догадывался еще, какие планы строил профессор, давая мне свой телефон. После обеда Денкдох предложил мне партию в шахматы. Я спустился к машине за своим мини-компьютером и усадил его за доску против одной из институтских ЭВМ — не слишком большой; сами же мы, не

---

\* Прокреация — размножение.

теряя времени, прошли в директорский кабинет, где началось посвящение меня в секреты ИИМ.

Теперь все это поблекшие воспоминания, но тогда у меня чуть голова не распухла. Сперва меня ознакомили с порядками в МИДе, которому они подчинялись. Что-то мне, вероятно, уже доводилось слышать, однако по мере возможности я обходил эту сферу космической бюрократии стороной, пока и меня жареный петух не клюнул. Что творится сейчас в соседних созвездиях, никому не известно; в лучшем случае известно, что творилось в них икс лет назад, в бытность там наших посланцев. Исследователи, как лица политически некомпетентные, путешествовать одни, понятно, не могут; поэтому с ними летят эмиссары надлежащих ведомств. По возвращении из командировки чиновники представляют отчеты, и из этих отчетов составляются выжимки для программирования электрохронографов, то есть компьютеров, моделирующих историю данной планеты. Каким образом, однако, можно строить политику на выводах из давнишних событий? Одной радиосвязи для этого мало; впрочем, радиограмма даже от ближайшей звезды идет многие годы. Электрохронограф, попросту говоря, должен угадать продолжение инопланетной истории, на которую он нацелен. Не буду останавливаться на перебранках между исследователями-очевидцами, хотя, между прочим, ни разу еще не случилось, чтобы им удалось согласовать свои отчеты об экспедиции. Достаточно вспомнить, что американцы ухлопали миллиарды, пытаясь выяснить, есть ли жизнь на Марсе; они посылали туда орбитальные и спускающиеся аппараты, многие месяцы изучали полученный материал, после чего оказалось, что все, правда, известно, но вот *что именно* — об этом ученые договориться не могут. А всего-то и надо было узнать, есть там в песке какие-нибудь бактерии или нет. Ведь микроорганизмы, которые либо есть, либо их нету, которые лишены языка, а значит, не способны рассказывать байки, — просто подарок по сравнению с существами разумными, которые не только обладают такой способностью, но и с немалым умом ею пользуются. К тому же космопроходец прибывает на Зем-

лю с безнадежно устаревшим материалом: пока МИД получит его отчет, пройдет век, и с этой дипломатической стороны теории относительности ничего поделать нельзя. Так что дипломатия, а с ней и политика в космосе могут быть только релятивистскими. В электрохронограф вводятся данные планетологии, физики, химии, а также истории населенных планет; он поглощает сотни информационных потоков, а потом очередная контрольная экспедиция констатирует фиаско всех этих трудов. Пока что электрохронографы не попали в точку ни разу. Чаше они попадают пальцем в небо, да и чему удивляться? Помните, насколько удачными оказались домыслы футурологов? А ведь они занимались тем, что было у них под носом и за окном. С другой стороны, нельзя опускать руки: политика существует не потому, что так кому-то понравилось, но потому, что так надо. Политическая информированность МИДа целиком зависит от работы электрохронографов, так что Институт монтирует их один за другим. Действуют они с разбросом, то есть создают противоречивые версии инопланетной истории. Перспективы не самые радужные. На каждую галактику приходится до девяти сот цивилизаций, с которыми нужно поддерживать дипломатические отношения — такова оценка на нынешний день; сколько на свете галактик, точно не знает никто, но не меньше ста миллиардов. Это дает кое-какое понятие об объективных трудностях, с которыми сталкивается Министерство Инопланетных Дел; утешать себя тем, что обычный обмен нотами с отдаленными цивилизациями занял бы около двух миллиардов лет, не приходится: есть ведь и более близкие, и не мешало бы знать, чего от них ожидать. Магистр Вютерлих из Группы автопрогнозирования ИИМ (она моделирует будущее развитие МИДа) установил, что если космополитика будет развиваться согласно прогнозам, то не позднее чем через полтора ста лет каждый землянин станет как минимум почетным консулом, если не полномочным послом, а все типографии нашей планеты будут печатать одни лишь верительные грамоты. Это, конечно, в корне устранило бы угрозу перенаселения, но создало бы ряд новых проблем. Города опустели

бы, да и у самого МИДа появились бы трудности с комплектованием кадров.

В течение первого месяца я ежедневно приходил в институтский Центр хронографического слежения и слушал лекции, словно студент. Я узнал, что не мы выдумали этот порок, задолго до нас нашлись такие умы в небесах. Политика же замечательна тем, что включает в свою орбиту все, что поначалу ею, может, и не было. Там, под чужими солнцами, есть свои МИДы со своими электрохронографами, и космическая гонка в области оптимизации предсказаний идет вовсю. Чем точнее вы угадали продолжение инопланетной истории, тем ваше положение выгоднее. Поэтому хрономоделирование — не только метод познания, но и политическое оружие; ведь некоторые версии своей истории те, Другие, производят только на экспорт; в интересах космополитики так скорее всего придется делать и нам. Как заметил при мне ехидный профессор Маверикс из Отдела Земной Истории, для этого не потребуется ни особых затрат, ни усилий — достаточно будет передать содержание школьных учебников истории, издающихся в столь многочисленных под нашим солнцем странах. Впрочем, поскольку фантазии эти в общем-то скромные, их называют не ложью, а местным патриотизмом.

Я усердно внимал ему, принимал таблетки от головной боли и убеждался, что все потеряно. Никогда уже не буду я знать космос, как в прежние годы. Тогда я был сущим ребенком; но детской простодушной наивности рано или поздно приходит конец.

Элементы хрономоделирования мне излагал доцент Цвингли. Это называется еще проективной имитацией будущего; причем, на интересующей нас планете оно уже не будущее, а настоящее, но мы не знаем его и не можем сию минуту узнать, поскольку нельзя мгновенно преодолеть разделяющее нас расстояние. В машины закладывают всевозможные сведения о населенном небесном теле. Сначала — версии первопроходцев, ложные как минимум на 100 процентов (при этих словах сердце у меня замерло). Как минимум, ибо даже

на Земле первопроходец обычно понятия не имеет о том, что он открыл. Взять хотя бы Колумба с его Америкой. Он получил не нулевую даже, но отрицательную информацию. Нулевой она была бы, если б он честно признался, что ведать не ведает, куда его занесло.

Дальнейшие версии поставляют туземцы, движимые скорее собственной выгодой, нежели стремлением к истине. Эти версии понять легче всего: предназначенные на экспорт, они просты, ясны и последовательны. Если же они приближаются к истинному положению дел, то можно понять либо очень мало, либо все наоборот. И возмущаться тут не из-за чего: вспомним, что христианская любовь к ближнему служила обоснованием иноверческой розни, разрывания лошадыми богобоязненных толкователей Евангелия, грабежа соседей, угона туземцев в рабство — короче, нет преступления столь изощренного, которое не было бы совершено из страха Божьего. Причем на словах эти заповеди соблюдались свято, откуда следует, что все может вытекать из всего, а разум на практике служит согласованию прекрасного с постыдным. Оптимисты могут утешать себя тем, что речь идет об атрибуте разума универсальном, а не локальном.

В рабочем жаргоне Института укоренилась артиллерийская терминология, поскольку задача состоит в построении событийной траектории, бьющей точно в цель. В идеальном случае земной исследователь прибывает на планету — объект моделирования — с последним номером местной газеты в руках (так называемый фантомный выпуск) и, сверив его с аналогичным местным изданием, констатирует их полнейшее сходство. Идеал, как обычно, недостижим, но надо к нему стремиться. Отдельно взятая хроногаубица дает отклонение, именуемое абсолютным; другими словами, совпадений нет никаких. Поэтому хроногаубицы сводят в батареи, что влечет за собой громадный разброс хронограмм. Попытки усреднения результатов кончились полной сумятицей, и в настоящее время крайние результаты отсеиваются. По этому принципу действуют три хронобатареи: Батарея Апробирующих Модулей (БАМ), Оппонирующих Модулей (БОМ) и

Уточняющих Модулей (БУМ). Согласовать их вердикты пробует МОСГ (Модуль Согласования Гипотез), который, однако, то и дело впадает либо в эпилептический резонанс, либо в кататонию. Ведется работа по созданию сводных хронодизвионов (БАМ, БОМ, БУМ) для выхода на более высокие уровни моделирования, но пуск первого корпуса крупнокалиберных хронометров не оправдал ожиданий: оказалось, историографическая меткость корпусных агрегатов будет удовлетворительной лишь в том случае, если их общая масса сравняется с массой Галактики. Так что пока пришлось ограничиться системой из трех самостоятельных батарей, а МОСГ лишь комментирует ее диагнозы.

Все это показалось мне совершенно неправдоподобным. Разве можно, спросил я, предвидеть какие-либо происшествия на планете, удаленной от нас на тысячи световых лет, если я головой поручусь, что все ваши хроногаубицы не угадают, что я завтра съем на обед?

— Ха! — отозвался Цвингли. — Не думайте, будто вы сразили нас наповал. Принцип надежных прогнозов прост. Действительно, неизвестно, что вы завтра будете есть, но известно, что через четыре миллиарда лет здесь никто ничего есть не будет, потому что Солнце, превратившись в «красный гигант», испепелит внутренние планеты, а с ними и Землю. Верно?

Я согласился.

— Поэтому недостоверные события нужно сопрягать с достоверными. Таков общий принцип, а остальное — уже вычисления. С ними не справилось бы все человечество, усаженное за счеты. Но сто граммов псин-массы (психоаналитической массы) превосходят человечество наголову. В Природе имеются некоторые постоянные. Например, постоянная расширения нагреваемых тел или распространения планетных цивилизаций. Не важно, что они там себе думают, важно, что они делают. Стилль серебряной ложечки как ювелирного изделия не имеет никакого значения, если положить ее в печь. Главное — температура плавления серебра. Следовательно, кроме постоянных, имеются критические

точки — в истории тоже. Выбросьте из головы всю архаическую историографию! Короли, династии, государственные интересы, захваты и прочее. Не счесть капель воды в Ниагаре, но ее мощность и водосброс вычислить можно. Молодая цивилизация, как принято у нас говорить, неплотно прилегает к Природе. Когда недосыгаемы не только звезды, но и дно морей собственной планеты, ее недра и полюсы, когда орды кочевников кормятся чем бог послал, — они могут думать о звездах, морях, климате, почве все, что взбретет им в голову, ведь эти бредни не связаны с эффективной практической деятельностью. Дождь они могут вызывать заклинаниями, обращать к океану молитвы, просить солнце о помощи — условий их жизни это никак не затрагивает. Но чем старше цивилизация, тем обширнее сфера ее соприкосновения с Природой. Вы не можете ограничиться сведениями о трезубце Нептуна, если хотите добыть нефть с морского дна! Отсюда что следует? То, что молодая цивилизация ведет себя не как капуста на грядке летом, но, скорее, как калужница на болоте весной. Она уже почки пустила, а тут вдруг заморозки, и почки ко всем чертям. Мороз рисует на окнах узоры. Какие узоры он нарисует, никому не известно; известно, однако, что скоро они исчезнут, потому что идет потепление. Раннее развитие заикается. Иначе говоря, осциллирует. Местные гуманитарии называют это историческими циклами, культурными эпохами и так далее. Разумеется, никаких прогнозов отсюда делать нельзя. Подходящей моделью будет таз с водой, в которую добавляют мыло. Пока мыла мало, пузыри лопаются. Добавьте воды — их вовсе не будет. Добавляя мыло, вы сгущаете пену. Подставьте вместо мыла сравнительно развитые технологии, и пузыри перестанут лопаться. Вот вам модель цивилизационной экспансии в космосе! Каждый пузырь — цивилизация. Сперва вычисляем постоянные пузыря. Каково поверхностное натяжение? То есть стабильность системы. Каков наш пузырь внутри — совершенно пуст или разделен пленками, а значит, состоит из нескольких пузырей поменьше? То есть государств. Сколько мыла прибы-

вает в столетие? То есть каков темп техноэволюции? И так далее.

— Но все это чересчур отвлеченно, — не сдавался я. — Какое-то статистическое усреднение, может, и выйдет, но чтобы содержание инопланетной газеты за такой-то день такого-то года — это уж извините! Ни за что не поверю!

— Но мы об истории не рассуждаем, господин Тихий, мы ее моделируем, и в качестве доказательства эффективности моделирования получаем хронограммы, — возразил флегматично доцент. — Сегодня мы в вашем присутствии загрузим порцию шихты, и притом по материалам планеты, на которой вы побывали и которую подробно описали в своих «Дневниках».

— Что это — шихта?

— Спрессованная информация о планете — о ее цивилизации. Ваши записи тоже туда включены, а как же, — но в числе десятка тысяч других. Чтобы наглядно продемонстрировать вам возможности хроногаубицы, мы нацелим ее на ваш дневник и посмотрим, что из этого выйдет!

— Не понимаю. Что и как вы нацелите?

— Попросту говоря, ваш отчет о путешествии на Энтеропию будет сопоставлен со всей совокупностью фактов, которые собрал, изучая планету, целый хронодивизион, непрерывно снабжаемый информацией с нашего мидовского спутника, а тот получает ее из Маунт-Вилсоновской обсерватории — там у них самые свежие данные космического радиоперехвата. И никто из нас, господин Тихий, не знает, что содержится в шихте — такова особенность нашей работы. На чтение одной только порции шихты у вас ушло бы три тысячи лет, не меньше. А хронодивизион усваивает ее за тридцать шесть часов, при упреждении в пять секуляров. Может быть, это даст вам некоторое представление о различии между историческим воображением машины и человека. Из всех заваык, с которыми приходится иметь дело, я расскажу вам лишь об одной, дабы вы уяснили себе, что именно мы вам покажем как результат моделирования. Хроногаубица действует так, как если бы разыгрывала тысячи шахматных

партий одновременно, причем результат одной служит началом следующей. Чтобы сделать правильный ход, она конструирует критерии оценки, теории, гипотезы и так далее. Так вот: мы вовсе не желаем их знать. Это нам ни к чему — ведь и артиллеристу совершенно незачем знать, как протекает сгорание каждого зернышка пороха. Снаряд должен попасть в цель, вот и все. Поэтому хроногаубица отвечает на конкретные вопросы конкретно, без балласта промежуточных предположений и домыслов. Программа сегодняшнего эксперимента предусматривает анализ вашего четырнадцатого путешествия под углом его отдаленных последствий. При этом не так уж важно, сообщили ли вы, как в суде, правду и только правду. Мы ведь стоим на почве политики, а не физики. Не в правде дело, но в *Realpolitik*\*. То есть в том, какое влияние ваша первопроходческая деятельность на Энтеропии окажет на отношения между цивилизациями — нашей и тамошней.

— Так чего же мы ждем? — спросил я. — Загружайте скорее вашу шихту, куда положено...

Загрузка началась в пятницу вечером, так что, придя в Институт в понедельник, я успел как раз вовремя, чтобы увидеть последний этап операции. В Центр хронослежения набилось множество любопытных из разных отделов; результат должен был появиться на круглом и толстом, как иллюминатор, экране, над которым лихорадочно мигали белые и зеленые контрольные лампочки, совсем как в заурядном фантастическом фильме; часы показывали одиннадцать, время шло, а мутная глубь за толстым стеклом оставалась темной. Потом в самом его центре вспыхнула красная точка, и это свечение распространилось на всю окружность экрана, кишашую черными, крохотными, извивающимися гусеницами. Выглядело это крайне неаппетитно — как насекомые на раскаленной сковороде. Шеф лингвистов доктор Гаерштейн торжествующе вскрикнул:

— Родофильное письмо, наречия верхней и нижней Тетраптиды, язык официальных бумаг!

---

\* Реальная политика (нем.).

Он приблизил лицо к экрану; черные гусеницы — иероглифы или буквы? — выстроились в два ровных прямоугольника, один над другим.

— Это вам, господин Тихий, — добавил уже спокойнее Гаерштейн.

— Что это?

— Точно не знаю. Я изучал оба эти наречия, но язык со временем изменяется, а перед нами проекция с упреждением в два секуляра... если не большим. Коллега Дюнгли, переключите, пожалуйста, на главный транслятор...

Дюнгли уже стоял за пультом, с непроницаемым лицом нажимая на клавиши. На алом экране возникла острая иголочка света и принялась перебегать туда и обратно по рядам застывших значков. И тут же частой дробью отозвалась машина, похожая на большой телетайп. Все повернулись к ней, оставив место и для меня. По мере того как телетайп перемалывал буквы, из-под широкого валика мелкими, судорожными скачками высовывался лист бумаги. Увидев знакомые знаки латиницы, я затаил дыхание и начал читать.

Кецхьюрр Вецхьюр  
Керделленпадраг

Земское Посольство  
Сверхмощносильного  
Политохода Курдлиандии

### *БАРГМАРГСКВАРОШ!*

Г. Ийону Тихому  
115 Ллимнер, Опрель

в Земле

Ваше Высокоблагостное Рождество!

Мы: Необычайный и Полно-Мощный Министр, Земно Аккредитованный, Сверхмощносильного Политохода Курдлиандского, совращаемся к В.В. Рождеству с нижеследственным.

Ведомо нам учинилось нашет Писульки, В.В. Рождеством тиснутой, ей же титул «ЗВЕЗДНЫЕ ДНЕВНИКИ», особенно имея в предмете «Путешествие Четырнадцатое», и в

оной Писульке В.В. Рождество плавит о летании на Нашенский Глобус.

В.В. Рождество подтыкает Земскому Плебсу сведомости о Нашем Политоходе, зело от правды отстрепенутые.

**Синглорей, сиречь Примо:** В.В. Рождество бает в поименованном борзописании о КУРДЕЛЬ обратно фактичности, черес што выкаблучивает Политоход в издеванский Высмех и Выглуп к изрядной для Обеих Небесных Сторон ушербности.

**Гвисдукляст, сиречь Секондо:** В.В. Рождество в помянутой Книжне отнюдь не запнулось обалдусить ОХОТУ НА КУРДЕЛЬ, который Феномен в Вашевысокоблагодном Тиснении имеет быть пасквильаторной Злопыханцией, а равно омерзненным Смехачеством над Политоходом Курдландским вопче, особливо же над Его Светлейшим Превозносительством Председателем.

**Крессимей, сиречь Терцио:** В.В. Рождество в своем Плотоядстве не издосужилось ни единым Дыхом не продыхнуть о заправдышном Чюдище, Напасти Великодержавной, ЛЮЗАНИИ, каковая храбрится подрывательно-подстрекательно супротивничать с Курдландской Политоходственностью. Також напрудило В.В. Рождество сбухтыбарахтственно навыворот от фактичности о СЕПУЛЬКАХ.

В обличии оного Политохода Мы, Необычайный и Полно-Мощный Министр, Земно Аккредитованный, возносим Мультимотивную Протестацию нащет Диффамации и заступаем поперечно В.В. Злопыханию на Дух, Суть, Плоть, Песнь и Власть вышепоименованного. Такжеде, яко Репрезентантный и Резидентный По-сольник, с мягкосердым твердомыслием нашим возбуждаем В.В. Рождество извернуться ко правдоложеству и загвоздить скурдельную ВРАНЬ. Чего ради Мы, Межпланетского Мира Любовники и Дружинники, совращаемся к В.В. Рождеству с дружелюбистой Пропозицией отделегатить В.В. Рождество Ийон Тихий на полукошт Посольства (БАМ), Земства (БОМ), на собственный кошт (БУМ), дело темное (МОСГ) к инкриминированному Планетарию и там же вприглядку ушучить Фактолептичность.

До 117 Ллимнер (Опрельско-Маиский стык) подстерегаем на В.В. Рождественское появление; буде же В.В. Рождество злопыхански заерепенится, имеет разбрыкнуть Межпланетский Конфликтум.

В ожиданистом нетерпенстве  
QRDL, Полно-Мощный Министр СПК

## II

Земное Посольство  
Несокращенных Штатов Люзании

СУНН СЕНСЕЛЕНН БРАМГОРР  
Кирмрегцудас

### *БРИБАРНОТРОПС!*

Идеатор: Браннаколякс  
Программатор: АС/01-94ба  
Оператор: Линкомпьютер IX Тип Сол-У-3  
Оперон: Ийон Тихий, Члэк. Тун Танн 115 Вехна

Милостивый Государь,  
Посольство НШЛ шлет Вам тепловатую дружественную фразу, адекватную между телами различных систем.

Тем не менее до сведения указанного Посольства дошло, что Вам заблагорассудилось скомпоновать книжонцию книжинуку книгиню п/загл. «Звездные дневники» и пр., в которой Ваше внимание сфокусировалось на отношениях нашего милостивого тела.

### ПРОЯСНЕНИЕ

Посольство НШЛ с легким прискорбием констатирует, что Вы, М.Г., допустили всесторонние аберрации, деформации и дегенерации, как-то:

- 1) С ошибочным совершенством умалчивается в Вашей книжиночке о нашей державе, т.е. о НШЛ;
- 2) КУРДЛИ описаны Вами как заповедное звероголовье, тогда как в действительности это слеплянские сборища,

враждебно настроенные по отн. к НШЛ старнаками соседней Курдландии;

3) Вы позволили себе множество фривольных аллюзий в отн. СЕПУЛЕК, создав тем самым призрачность их Порносферичности.

### КОНКЛЮЗИЯ

Вы, М.Г., пребывали отнюдь не на нашем теле, в частности, не на территории НШЛ, но на поверхности Синтеллита Скан Сен, который представляет собой фрагмент НШЛ, орбитально подвешенный в целях ознакомительно-оздоровительного туризма. Тамошные бутафорки, синталии, эротомластиконы, телехранители и пустaki (пустеоры) Вам случилось головотяпно принять за репрезентацию нашей цивилизации, а увеселительные аксессуары — за живые существа, самобусы и пр. Тем самым Вы, М.Г., захотели фактическое положение дел к ущербу для развивающихся вширь, вдоль и вглубь сношений между Энцией и Землей.

Имея в виду указанную сносительность, снисходительно увещеваем Вас, досточтимый тихоня, аккуратно взвешенным словом опровергнуть фальсификат.

Полагая причиной промашки не зломыслие, но художество Ваше, Посольство НШЛ готово удостоить Вас проезда по маршруту Земля — Энция — Земля, гарантировав мудринный иммунитет с шустринным обеспечением, кормовые и суточные в границах НШЛ.

За Посла НШЛ:

Привязанец п/вопр. Культуры  
Землеязычный Дипломатор Сол-У-3,  
апостольствующий на подсистемах,  
аккредитованных In Partibus  
Barbarorum\*

Подпись Неразборчива

---

\* В варварских землях (лат.).

Код: А-Пц(6)ск-Ца-Пек Пы(7)Цек Пра(5)цек Пур-9-Цик-Цик-цик Мее.

Post Scripturam Terminatam\*. На вышеозначенный код просим сослаться в ответной реплике. В инциденте непооявления таковой приступаем к обычной гастрокластической процедуре Б-93.

За ответственность: Тайноканальный Диплутор II  
ранга  
Цып Цыпцыквип Титиквак

Телетайп замолчал; воцарилась полная тишина. Я обвел взглядом присутствующих — они обступили меня полукругом — и, увидев все тех же Цвингли, Дюнгли, Ньюкли и прочих господ с похожими именами, осознал, что нахожусь среди швейцарцев.

— Что это значит? — грозно спросил я. — Кто из вас, господа, позволял себе этот, с позволения сказать, розыгрыш? Кто надо мной потешается? Уж не вы ли, господин Цвингли? Пожалуйста, не думайте, будто я не заметил ваших вчерашних намеков на серебряные ложечки, хотя, по природной тактичности, и пропустил это мимо ушей. Но всему есть предел, милостивый государь! Это уже не какие-то там ложечки...

Я осекся, заметив всеобщую растерянность, но также и радостную усмешку доктора де Каланса, который, похоже, в моих словах усмотрел симптомы умственного расстройства и уже рассчитывал пополнить свой коллектив столь выдающимся психом.

— Успокойтесь, господин Тихий! Это не так, вы ошибаетесь, даю вам слово. Клянусь своими детьми!

— Если они так же реальны, как эти инсинуации, — я вырвал листок бумаги из телетайпа и помахал им над головой, — ваша клятва немногого стоит! Объяснитесь, я слушаю...

— Это не подделка! — воскликнул Цвингли. — Ни я, ни мои коллеги не могли заранее знать содержание хронограмм...

---

\* В дополнение к завершённому (лат.).

— И я в это должен поверить?! — загремел я, окончательно выведенный из равновесия. — Я готов признать, что допустил кое-какие э... промахи в стиле Колумба. Этого нельзя исключить. Но всякое вероятие имеет свои границы. Неужели вы всерьез хотите меня убедить, что машина не только обнаружила мои оплошности, не только предусмотрела открытие всех этих посольств на Земле через двести или сколько там лет, не только установила, какие они направят мне ноты, когда никого из нас не будет на свете, но и сумела составить их на языке, на котором будут тогда изъясняться, и догадалась вдобавок, что подпишут их дипломаты, которых в целом космосе нет, ибо они и родиться еще не успели?!!

Я положил хронограмму на пульт, строго посмотрел на них и сказал:

— На оправдание даю вам десять минут.

Они заговорили наперебой; наконец Цвингли — его вытолкнули вперед, — с красным лицом и капельками пота на лбу, умоляюще сложив руки, начал с признания, что он, возможно, недостаточно подготовил меня к этому специфическому эксперименту, то есть к телесемантической фокусировке электрохронографов; ведь те были нацелены на сопоставление моих «Дневников» с полной порцией шихты вовсе не для того, чтобы надо мной посмеяться, но в знак особого ко мне уважения. Программа запрещает использовать общие фразы, а также оставлять в прогнозе незаполненные места, и возможные пробелы машины заполняют предположениями, то есть строят гипотезы об особенностях отдельных фраз, их фонетике и даже орфографии; иначе не удалось бы определить точность прогноза в процентах. Машина в любой момент может указать верковирт (вероятностный коэффициент виртуализации) любого слова хронограммы с точностью до четвертого знака после запятой. Верковирт может быть невысоким, но никогда не бывает отрицательной величиной. Там, где он близок к нулю, электрохронограф приводит противоречащие друг другу версии Батарей Апробирующих Модулей (БАМ) и Оппонирующих Модулей (БОМ), что мне, быть может, угодно было заметить в первом послании, там,

где речь идет о готовности финансировать мою командировку на Энцию. Ибо финансовые дела, ввиду особой их деликатности, нельзя предсказывать так, как другие события. Давайте-ка выясним сперва, сказал Цвингли, увлекаясь все больше и размахивая руками вовсе не по-швейцарски, что содержалось в шихте. Там содержался весь массив данных об Энции, полученных нами на месте и принятых по радио- и лазерной связи, а документация эта учитывает даже энцианские школьные песенки, не говоря уже об учебниках местной истории. Разница между названиями планеты в версии хроногаубицы и моей примерно та же, что между названием «Индия» и «Америка». Ведь автохтонов Нового Света, всех этих апачей, команчей, ацтеков и прочих сиу мы потому лишь поныне называем индейцами, что Колумб принял их за обитателей Индии. Уступая в цивилизованности своему открывателю, эти туземцы не могли помешать ему ошибочно себя окрестить. Энция — дело другое. Это название — латинский эквивалент их самоназвания («суший» или «разумно существующий»), и отсюда пошло the Entians, die Entianer, les Entiens и так далее. Никто этого специально не выдумывал — так сложатся в дальнейшем события, на которые мы нацелили исторические машины. Их отдельные блоки экстраполировали различные аспекты развития Энции, в частности, какие из тамошних государств, будучи сверхдержавами, первыми откроют земные посольства; как будет вестись делопроизводство в их дипломатических ведомствах (что отразится и в формах дипломатической переписки); ноты, которые будут когда-нибудь посланы мне либо моим наследникам, физическим или юридическим, не совпадут, разумеется, с нашими хронограммами до последней запятой, но их содержание и стиль будут аналогичны; даже машинный код, приведенный в люзанском послании, предсказан на базе общей теории эволюции компьютеров энного поколения при заданных технических предпосылках; конечно, это не будет в точности *тот же* код, но *тот же тип* кода, а именно употребляемый в дипломатии. Нельзя моделировать уникамы — моделируются классы, к которым они относятся, то есть

*типы*. И люзанская нота будет подписана не *тем же* в точности именем, которое фигурирует в фантограмме, но именем *этого* типа, похожим на фантоматическое так, как Цвингли на Дюнгли, а Иванов на Смирнова. Родословно-происходенческий блок хроногаубицы вывел типичные свойства энцианского дипломатического молодняка не путем анализа его биологических характеристик, но характеристик, которые требуются там при приеме в высшие дипломатические заведения. Ведь хронографы открывают не какую-то там «объективную истину в последней инстанции», но последние директивы *руководящих инстанций*. Господа естественники вообразили себе и внушили всем остальным, что межзвездные контакты начнутся с обмена мнениями об Евклидовой геометрии и строении атома, — как будто бы на Земле, при встрече с неизвестными доселе жителями Амазонии или Огненной земли посланцы цивилизованного мира первым делом поспешили бы проинформировать их о гипотенузах и атомах, а не о том, какие дела можно с ними повернуть. Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал о геометрии или другой какой математике в политических отношениях? А ведь космические контакты неполитического характера иметь не могут! Сначала определяются делопроизводственные, или канцелярские, постоянные, ибо там, где существует политика, существуют и канцелярии; этот закон имеет абсолютный характер и релятивизму теории относительности *не* подлежит. Первые беседы ведутся не о скорости света, но о скорости продвижения по службе, не об объеме атомных ядер, но об объеме служебных полномочий. А из чего состоят Неземляне, из силикатов, йодидов, хлоридов или аминокислот, и чем они дышат, кислородом, а может, фтором, и как они движутся, передом или задом, — все это ничуть не влияет на параметры их бюрократии; взаимопонимание же зависит исключительно от дипломатического обмена, а не химического! Наконец, то, что особенно задело меня, а именно: превратная картина жизни на Энци, принятая мною за чистую монету, представляет собой, как мне уже не раз объясняли на всех этажах Института, обыкновеннейший СУПП, т.е. Сумму

Первопроходческих Промаров, которая вычисляется согласно Теории Ошибок и Искривлений и в данном случае равна возведенной в третью степень разности расстояния между Испанией и Америкой, с одной стороны, и между Землей и созвездием Тельца — с другой. Что, нотабене, открыл магистр всеобщего моделирования Прюнгли. Колумб Америку принял за Индию, а Ийон Тихий — искусственный спутник за планету. В этом нет ничего зазорного, и обижаться тут не на что.

Я слушал уже спокойнее, а ученый швейцарец, со взъерошенной бородой и запотевшими очками, потрясал фантограммами нот, восклицая:

— Клянусь вам, здесь нет Ничего Случайного! Прошу обратить внимание на различия в языке обоих посланий. Они указывают на различие ставок зарплаты, а тем самым и национальных доходов Курдландии и Люзании... Этими различиями занимался финансово-планетологический блок нашего машинного отделения. Курдландская нота свидетельствует о скромных средствах, выделяемых на дипломатию, коль скоро их посольство возьмет на службу скверно оплачиваемого, а значит, скверного переводчика... скорее всего человека, это им станет дешевле, чем тащить за тридевять земель собственного полиглота вместе с дипломатическими чемоданами.

— Что вы тут мне доказываете, — перебил я, — ведь оригиналы посланий там, — я показал на все еще светящуюся красную окружность экрана, покрытую скрюченными иероглифами, — а перевод сделала ваша аппаратура здесь и теперь, а не какой-то там человек, переводчик, чиновник, родители которого, да, пожалуй, и дед с бабкой, не успели еще познакомиться...

— Все нет! Вы заблуждаетесь! Это было бы непростительной для нашего ремесла ошибкой. Ведь гипотетический конфликт, межпланетные трения легче всего могут начаться из-за недоразумений при обмене нотами, так что предвидеть необходимо даже грамматические и орфографические источники подобных недоразумений! Перевод выполнен происхожденческим блоком, при участии блока экспортной про-

паганды, а контролировал их работу лимитно-финансовый блок; то есть, образно выражаясь, машина создала фантом посольства, а в нем — фантом должностной лестницы, и на ней уже, где положено, разместила фантом мелкого служащего, который будет переводить инкриминируемый документ, ничего в нем не смысля, ибо ему не будут платить за понимание чего бы то ни было. Я полагаю, — добавил он тише, как бы про себя, — что это какой-нибудь гастарбайтер, не знающий толком ни одного языка, кроме турецкого... А более зажиточная Люзания пользуется в дипломатии автоматами, ведь чем выше развито государство, тем дешевле в нем автоматика и тем дороже рабочая сила.

Не скажу, чтобы он полностью меня убедил, но время уже было позднее, так что мы отложили анализ обеих нот и их возможных последствий на завтра, а я вернулся домой. Я чувствовал себя настолько потерянно — ведь под ударом оказалась моя честь звездопроходца, — что взял телефонную трубку и набрал нью-йоркский номер профессора Тарантоги; мне надо было выговориться перед родственной душой. Профессор терпеливо слушал, потом, не выдержав, холерически фыркнул в трубку:

— И чего ты, Ийон, убиваешься? Можно подумать, что это швейцарцы выдумали компьютеры! Батареи, дивизионы, корпуса, хроногаубицы, а ведь стоит чуть-чуть пораскинуть мозгами, чтобы прийти к тем же выводам. Контакты установлены, не так ли? Когда-нибудь надо обмениваться посольствами, так или нет? Любой атташе по вопросам культуры должен что-нибудь делать, так или нет? Ничего путного он не выдумает, так или нет? Значит, он будет собирать материалы для обзора печати и для отчетов, которые он посылает начальству, давая понять, что чем-то он занят. Рано или поздно он услышит о твоих «Дневниках», и что им останется делать, как не направить тебе опровержения?..

— Так-то оно так... — поддакнул я удивленно и в то же время сконфуженно, — но там, профессор, были такие подробности... даже секретный дипломатический код люзанцев... предложение финансировать мою экспедицию...

— В подобном случае подобное предложение делает любое посольство, а прочее — вата. Ты когда-нибудь видел, как из ложки сахара получается клубок сахарной ваты величиной с перину? То-то и оно! Хорошо, однако, что ты объявился, а то я все забываю сказать, что вся эта «Космическая энциклопедия», которую я тебе тогда одолжил, — помнишь, там еще говорилось об Энтеропии и сепульках? — так вот, это была подделка. Жульничество. Турусы, понимаешь ли, на колесах. Какой-то мерзавец решил подзаработать...

— И вы не могли мне сказать об этом немного раньше? — возмутился я; похоже было, что весь свет против меня сговорился.

— Хотел, но ведь ты меня знаешь — забыл. Я записал это на визитной карточке, карточку положил в жилет, костюм сдал в химчистку, квитанцию потерял, потом пришлось вылететь на Проксиму; и так уж оно осталось...

— Неплохую вы мне оказали услугу, — заметил я и поспешил закончить беседу, потому что боялся наговорить профессору невесть что — я ведь холерик...

То был день неприятных сюрпризов и приступов ярости. Из вежливости, чтобы не разбудить Тарантогу, я разговаривал с ним после полуночи, когда в Америке уже день. В Институте я съел все равно что ничего; теперь я был голоден и полез в холодильник за холодным жарким из телятины. Приходящая прислуга, которую я наделил правом завтракать у меня, пользовалась им без стеснения. Что-то там все же лежало — как оказалось, почти совершенно голая кость, обернутая для приличия кожей. Голодный и злой, я съел кусок хлеба с маслом — и в постель.

В Институте тем временем составили машинный толковый словарь обоих посланий. «Отстрепенуться» — отклониться, «в обличии» — от имени, «загвоздить» — заклеить и так далее. Но я даже не взял его в руки. Я потребовал доступа к *источникам*. Это привело их в некоторое замешательство. Из начальников отделов ни один не имел соответствующих полномочий, так что мы пошли в дирекцию. Там выяснилось, что имеет место такого рода служебная тонкость: Институт

может предоставить мне *шихту*, но не источники, то есть оригиналы рапортов, документов, отчетов и т.п., из которых, посредством выдержек и резюме, изготавливается шихта, поскольку все они хранятся в тайном архиве МИДа, а сотрудники Института доступа туда не имеют. И это уже не предмет для дискуссий и споров; ни обсуждать, ни даже понимать тут нечего — просто именно так проходит линия разграничения между компетенцией Института и соответствующих управлений МИДа. В таком случае, сказал я, дайте мне шихту, а тем временем обратитесь к кому следует в министерстве, чтобы мне как можно быстрее оформили допуск к оригиналам, чего я, как первопроходец и пионер, наверно, заслуживаю. Касательно первого затруднений не будет, ответили мне, что же насчет второго, то они постараются. Джунгли — возможно, впрочем, что это был Врэнгли, — провел меня в небольшой кабинет, где размещались один из машинных терминалов, кресло, письменный стол, экран, считывающее устройство, термос с кофе, печенье и флоксы в хрустальном кубке, и оставил меня наедине с аппаратурой: будучи проинструктирован, я сразу же принялся прогонять через матовый стеклянный экран пресловутую *шихту*.

Пусть благосклонный читатель не ожидает из того, что я в точности здесь переписываю, понять больше, чем мне тогда удалось. Напомню лишь, что БАМ — это Батарейя Апробирующих Модулей, или мнение батарейного большинства; БОМ — Батарейя Оппонирующих Модулей, т.е. мнение меньшинства; МОСГ — это Модуль Согласования Гипотез, который обычно ничего согласовать не мог, и наконец, БУМ — Батарейя Уточняющих Модулей, которая вставляла словечко в случае полной неразберихи.

«ЭНЦИЯ, люз. КИРМРЕГЦУДАС, курдл. КЁРДЕЛ-ЛЕНПАДРАНГ, 7-я планета Гаммы Тельца (Gamma Tauri). 4 континента (Дидлантида, Тарактида, Цетландия, Маумазия), 2 грязеана, образовав. из разложившихся микрометеоритных осадков (БАМ), в резуль-

тате промышленного загрязнения среды (БОМ), неизвестно как (МОСГ). Ок. 1000 подгрязевых гейзеров (гряззеров), ошибочно (БАМ), справедливо (БОМ) принимавшихся первооткрывателями за реликтовых погрязов (тип *Immersionales*, отряд *Marmaeladinae*, семейство *Massaronicaea* /клецковых/). Один оргаст — органические стоки (БАМ), органоидная стекловина (БОМ), оргиастическая стервотина (БУМ), давно уже высох (МОСГ). Один синтеллит (искусственный спутник) — КОКАИН, или Космический Камуфляж для Инопланетян (БАМ), ЛСД, или Лже-Скансен Древнепланетный (БУМ), представляющий собой орбитально подвешенную часть территории Люзании (см.), переменного диаметра, ибо в действительности это Надувак (БАМ), Фата-моргана (БОМ), сам черт не поймет (МОСГ). Климат умеренный, сильно подпорченный индустриализацией (БАМ), тайнодействующим оружием (БОМ), всегда такой был (БУМ).

Планету населяет разумная раса (БАМ), две разумные расы (БОМ), зависит от точки зрения (МОСГ). Энциане — человекообразный вид (БАМ), их человекообразность — личиночная стадия метаморфозы, поскольку туземцы являются превращенцами и проходят периоды линьки от ПОЛОВИНЦА, через ПОЛТОРАКА и ДВУСПОЛОВИННИКА, до СЛЕПНИКА-ОГРОМЦА (БОМ), они лишь по-разному одеваются (БУМ), все это легенды и мифы, смотри: «Политография рас Тельца», изд. для служеб. польз., МИД 345/2аб/99 (БИМ). Данные БАМ получены от люзанцев, а БУМ, БОМ и БИМ — от курдландцев, и потому несогласуемы (МОСГ).

Пол выражен отчетливо (БАМ). Нет полов (БУМ). Они есть, но противоположны земным (БОМ).

Государства Э.: 1. Уникальную в нашей Галактике форму государственного устройства представляет Курдландский Политоход (также: Нациомобильное Курдлевство, Ходилище) — рустикальное самоуп-

равляемое объединение обитаемых курдлей — ГРАДОЗАВРОВ. Верховная власть принадлежит Председателю Старнаков (Старших над курдлем). Административная единица — стадо курдлей, или ТОПАРТАМЕНТ. Прежде старнаков называли курдлеводами. Нациомобиль складывался столетиями в процессе борьбы с Пирозаврами, по большей части угасающими и едва тлеющими промысловыми животными (напр., разбрасывающий огонь Полисерв, он же Великораб, а также Кукурдль — холоднокровные грязноводные твари весом до полутора тонн). Потухшего курдля называли Сгорынычем (*Draco Pyrophoricus Curd. L. Msimeteni* — от имени первооткрывателя, участника IX экспедиции Заврологическ. ин-та), а подмокшего — Мокрынычем. См. также: Кёрдль, Кйордль и QRDL. Разведение к. заменяет жилищное строительство, невозможное на загряззьях и подгряззьях, т.е. территориях, периодически затопляемых грязеаном (земным оледенениям соответствуют на Э. огрязнения, или Грязниковые Периоды) (БАМ).

Никаких огнедышащих гадов на Э. никогда не было. БАМ принимает на веру курдляндскую мифологию и пропаганду. Курдли суть великоробы (а не великорабы), возникшие эволюционным путем в борьбе за выживание в грязеане (БОМ). Используемые в качестве рабочей силы, образуют т.н. Коллектуши.

В люзанской версии курдли — это трупы (туши), выпотрошенные местными селянами по причине жилищного голода и движимые рабским трудом галерников; иначе говоря, это т.н. *Cadaveria Rusticana*\*. В курдляндской же версии курдли считаются продуктами генетической биоинженерии, изобретенной Председателем Старнаков. Несогласуемо (МОСГ). Борьба номадов с грязноводными завершилась симбио-

---

\* Сельская трупарня (*ит.*). По аналогии с *Cavalleria Rusticana* — «Сельская честь» (опера П. Масканьи).

зом местных Приматов с курдлями, благодаря наполнению последним воздухом и адаптации первых к гургитации и регургитации (а также Лаксации — БИМ). Ибо градозавры суть симбиотические кооперативные поселения (БАМ). Ничего подобного (БОМ). Это не более чем лживотные, pseudozoa, иначе говоря, синтофауна, которая производится на племзаводах Генженерного Треста (БЕМ) по образцу пракурдля, однако не идентична с ним, а лишь на него похожа.

Гос. структура Курдляндии изучена слабо. Председатель самолично не управляет, а только мыслит об управлении, мысли же эти интерпретируют, применительно к местным условиям, Старнаки. Их исторические названия: Патриарх Стада Курдлей, или ПАСТАК, Завкурдль, Курпан и др. (БУМ, БАМ, БОМ).

Гразозавры страдают от внутренних раздоров, вызыв. аллергией (БАМ), различием политических взглядов (БУМ), размножением паразитов — неробов, загробов и угробов (БИМ). Перечисл. формы — не паразиты, но деятели кооперации (БОМ).

Курдлянцы чрезвычайно чувствительны, если речь заходит об их оригинальной государственной доктрине. Употребление прозвищ Курдля, как-то: Великогроб, Доходяга, Паскурдль, Смердозавр, Курдлятина, Жрамонт, а также Толстодонт, Топтыга и Трупоход, карается переселением с понижением (ссылка в хвостовую часть, т.н. колонизация). В древности к. служили гробницами знаменитых мужей, наподобие земных пирамид (БАМ). Всё это легенды и мифы (БЕМ). Что-то такое там было (МОСГ). См. «Энцианская мифография», гл. «Археомобилистика», «Перипатетическая Полиархия», «Миф Председателя». Ср. также: «Грязнавец», изд. д/служ. польз. Доц. Ю. Бледдер: «Сколько у курдля ног?» (МИД 6/4e4). Его же: «История борьбы с грязноводными». Того же авт.: «Рвотная политика». Он же: «Курдли — жертвы хищнической экономики». Тот же: «Квартирное право и внутренностный метраж». В. Тутас: «Использовались

ли курдли когда-либо в прошлом в качестве метеоритных убежищ?» См.: «Отчет II несостоявшейся энцианской экспедиции», ИИМ, хронограммы серии В/9 и Т/9. Также: «Закурдельная жизнь в еретическом учении Топальщиков» («Анналы Института Посмертного Сыроделия», Т. Кваргл., ПИП 20111). И. Драгондер: «Химический состав солонины курдельного откорма» («Акта курделиана», т. XI, с. 345 и след.). «Структурный анализ курдляннской поэзии», коллектив, монография ИИМ, 239/с. Д-р Револьвендер: «Внутренностные туптазы и пирофоразы как средства огнедыхания» (Boston McGraw Hill. Доктор. дисс., прогнозируемая с 40-летним опережением Рюнгли и Киндерштейном. На правах рукописи)».

Опуская еще триста названий цитированной литературы, перехожу ко второй части шихты, посвященной Люзании.

«Люзания. Также: Несокращенные Штаты Верхней Люзании (БАМ), Вольная Федерация Внештатных Чиннов (БУМ), Сопряженные Штаты Тарактиды (БОМ). Первая держава Энции, высоко (БАМ), слишком высоко (БУМ) развитая, в натянутых отношениях с соседней Курдлянндией. Нарастающие внутр. проблемы привели к падению уровня интеллекта членов обеих главных полит. партий, из числа которых выбирается Президент (БАМ), Странодав (БУМ); перед лицом непреодолимых трудностей не нашлось в меру толковых кандидатов, добровольно претендующих на высший пост. Т.н. дебилитация сменявших друг друга администраций привела к кризису, закончившемуся введением Политереи (политической лотереи) для заполнения пустующих вакансий в госаппарате. Поскольку большинство населения уклонялось от участия в ней, в XXII в. было объявлено чрезвычайное положение и проведена Большая Облава на Индифферентных Кандидатов (БОБИК). Справиться с кризисом помогло развитие компьютерной техники. Автомати-

зация администрации, однако, потерпела крах в конце того же столетия, когда автоматы-цививаторы сложили свои полномочия вследствие т.н. логистронного синдрома. Эти чересчур уж интеллигентные устройства либо впадали в белибердизм, либо их разбивал прогрессирующий гениалич (поражение гениальностью). Выйти из нового кризиса НШЛ смогла благодаря синтуре (синтетической культуре), то есть экософизации (умудрению среды обитания) и гедопраксии (распределению счастья по разверстке). При помощи этих государственных институтов удалось спротезировать социальные связи, распадавшиеся под гнетом благосостояния (БАМ). Указанные институты — результат слияния государственной доктрины с господствующей религией (БУМ). Сомнительно (МОСГ). Этификация окружающей среды, а также наслажденческо-принужденческие, злопоглощающие и разъявляющие технологии, вместе взятые, составляют синтуру. В соответствии с принципом умудрения среды обитания дороги, машины, здания, одежду и пр. производят из шустров — логических микроэлементов, облагороженных в ходе предварительной обработки. В мегаполисах ошустрение достигает 60 единиц интеллекта на грамм в секунду. На городской территории вплоть до глубины 40 метров неразумные субстанции не встречаются вовсе (БАМ). Такова официальная версия (БОМ). Остальная территория ошустрена на 87% (БАМ). Сомнительно (БОМ). Синтура умудряет среду обитания, чтобы та неустанно пеклась о благе граждан и своем собственном, исправляя наносимые оппозицией повреждения, просвещая, помогая, советуя и поглощая преступные поползновения, а также подстрекая к потребительской вакханалии в рамках закона (БАМ). Последняя формулировка — следствие подхода к синтуре в земных категориях (БОМ).

Ошустренные объекты выполняют только заказы, не нарушающие чьих-либо интересов. Шустры пер-

вых поколений (мудроны, мудретто) деморализовывались мафиозными кликами, но нынешние их образцы, снабженные уморами (усилителями морали), злонепроницаемы на 99,998 % (БАМ). Так утверждает правительство (БОМ).

Промышленная продукция делится на услаждающую и превентивную.

1. Услаждающее производство подразделяется на: разъявливание (раздробление яви), фелицитацию (конвейерную, а также по индивидуальной мерке), форсирование комфорта, заласкивание, заслащивание и синтетическое препарирование карьер (синьеризм), дополняемое целевым выборательством. Все это индустриализированные отрасли гедотелической, или благопроводной, информатики. В соответствии с девизом Люзании «*Fac quod vis*»\*, каждый гражданин делает, что душа пожелает, а государство заботится о максимализации всеобщего счастья. Для этого применяется гедометрия — измерение количества благих ощущений, которые могут быть пропущены через нервную систему гражданина в течение его жизни. Поскольку, однако, предложение в  $10^8$  раз превышает индивидуальную пропускную способность, включая время сна, приходится выбирать между утехами. Этот труд берет на себя личный выборокибер (называемый также предлагатором); он ублажает с учетом индивидуальных склонностей, темперамента, а также выносливости.

Тем самым в Галактике не может быть никого счастливей люзанцев (согласно правительственному экспозе ЦЦЦ/7/Зюб) (БАМ). Этому противоречат курдландские источники, ссылаясь на рост показателя самоубийств (БОМ). Одной из наиболее трудных была проблема утраты близких из-за несчастных случаев, а также естественной смерти. Неэффективность душеуспокоительного лечения побудила МВД (Мини-

---

\* *Делай что хочешь (лат.).*

стерство Восхищенческих Дел) наладить производство небытчиков (они же псевиды, или псевдоиндивиды), как-то: Амороидов, Матоидов, Отцоидов, Дето-морган и пр. Небытчики изготавливаются по заказу заинтересованных лиц, а также дирекцией городских кладбищ — для погребальных торжеств с участием идеальных копий Дорогих Отошедших. Граждане, чья судьба наделила близкими с трудным характером, во избежание трений могут протезировать ближайших родственников даже при их жизни; последним же, в рамках законной компенсации, тоже доставляют требуемых двойников (что в обиходе именуется семейственной манекенизацией) (БАМ, согласно люзанским источникам). Чучельные псевдосемьи — арена кошмарных историй, от которых у курдля волосы встают на загривке (БОМ, согл. курдландским данным). См. также: «Блокнот курдельского агитатора», 391/Р, а кроме того, речь Председателя Совета Старнаков на X сгоне градозавров, в особен. разд. п/загл. «Люзанские вродебыродичи как тренажеры изоощренного душегубства» (БЕМ).

Разъявливание позволяет ощутить то, чего вообще-то ощущать одновременно нельзя, — путем подключения благопроводов к разным полушариям мозга через расщепитель сознания. Правительство запланировало рост всеобщего счастья на 4% за пятилетку, но началась стагнация (БАМ), явления, о которых ниже (БУМ, БОМ).

2. Сведения о превентивной промышленности не поддаются правдоуловительной селекции хроногаубиц из-за огромного разброса исходных данных. Согласно люзанским источникам, такой промышленности не существует вообще; поэтому нижеследующая часть шихты основана на курдландских данных с учетом люзанских опровержений, и вместо модульных маркировок (БАМ, БОМ, БУМ) даются указания на источники (КУР, ЛЮЗ).

Антишустринная оппозиция выступает за ренатуризацию среды обитания под лозунгом «благодетельного разрушения». Люзанские власти ее не преследуют (ЛЮЗ), преследуют вплоть до применения тайных пыток, а также постепенной замены нелояльных обывателей лояльными небывателями, или лоянами (тайный проект тотального протезирования общества, т.н. лоянизации) (КУР). Это злопахательские измышления, начисто лишённые оснований (ЛЮЗ). О действительном отношении народных масс к убожительной диктатуре свидетельствуют обиходные выражения: «заласкать до пены во рту», «так убожить, что расхочется жить», «блаженно протянуть ноги», а о подвергнутом лоянизации говорят: «отдал Благую душу» (КУР). Указанные цитаты почерпнуты из фантастической беллетристики (ЛЮЗ).

Потребительство и вещизм оглуляли общество, однако вызов, который бросает ему незаурядная разумность среды обитания, благоприятствовал развитию интеллекта и распространению просвещения в массах (ЛЮЗ). Преимущественно, однако, в области тайных убийств и наиболее подходящих для этого способов (КУР). Мнимая подрывная деятельность, а также маниакальная синтуромахия — всего лишь часть новой системы социального просвещения. Этифицированная среда не только поглощает антиобщественные поступки, но и действует с профилактическим упреждением, благодаря неусыпной заботе о гражданах наяву, а также всеобщей соноскопии (спектроскопия снов для устранения кошмаров и бредовых видений) (ЛЮЗ). Речь идет о неустанной слежке за гражданами и кастрации духа даже во сне (КУР). Вместо того чтобы лечить садистов, люзанское МВД (Министерство Восхищенческих Дел) расширяет сеть комбинатов битьевого обслуживания и факсифамильных мастерских (КУР). Мотивы убийств кардинально изменились. Личность жертвы не имеет значения, главное для убийцы — преодолеть сопротивление

уморов (шустринных усилителей морали). См.: «Любительский угробительский спорт в Люзании». Гос. Науч. Изд-во «Кукурдль», 56/б/9; кроме того: «Этикосфера как выращивание дегенератов». Собр. соч. Предс. Старн., т. V, с. 77 и след. Также: внутриклубная люзанская брошюра «Что можно сделать с БОБИ-Ком?» (БОБИК — Благодарный Объект для Измывательств и Кровопусканий). В преступном люзанском жаргоне полно синонимов БОБИКа: битюк, оплевайло, слезняк, пищаль, разорвань, мрун, помиранец и др. («Словарь идиом синтуры», Акад. Наук Курд., Пцим, 67/б) (КУР). Люзанское опровержение вышесказанного: «Кампания клеветы и инсинуации» («Acta Synturales Lusaniea», т. II, 67/43f).

Граждан пытаются отвлечь от преступных намерений миражами неслыханных наслаждений; этой цели служат зверелища — зрелища для озверевших зрителей (КУР). Речь идет о разрядке эмоций болельщиков телекинетического футбола (ЛЮЗ). Главные социальные недуги ВПЛ — разmozжизм, выпрыгунство, впиянство, семейственный погребизм и самоедский комплекс.

I) Разmozжизм — это паническое бегство из городов в поисках неосустренных территорий (КУР). Это хождение по грибы (ЛЮЗ). Убегающая толпа сокрушает все на своем пути, а так как осустренную недвижимость голыми руками не возьмешь, сплошь и рядом доходит до перелома затылочной кости, ибо стройматериалы, даже этифицированные, сохраняют энергию массы.

II) Индивидуальной реакцией на облагораживание среды является выпрыгунство. Под предлогом любования красивыми видами выпрыгунцы пытаются перехитрить высоко расположенные балконы, оконные проемы и т.п. (КУР). В Курдландии всемеро больше самоубийств (ЛЮЗ).

III) Другие симптомы все той же реакции характерны для ухватов, впияниц и охлофилов (толполюбов),

а также захребетников. Они пробуют укрыться от синтуры за чужими телами. Охлофилы ищут давки в толпе, а ухваты и впияницы впиваются в первого встречного (так называемое конвульсивное впиянство). Охлофилы отличаются от захребетников тем, что первые действуют в состоянии помрачения и кататонии, поэтому их причисляют к психически ненормальным, а вторые составляют религиозную секту и считают впиянство ритуальным актом подлинной, ненавязанной любви к ближнему.

IV) Семейственный погребизм состоит в выкапывании, чаще всего отцом, ямы достаточно глубокой, чтобы добраться до неосустренного культурного слоя, после чего все семейство поселяется в нем навсегда.

V) Свое крайнее выражение антисинтуральные убеждения находят в затаенном порционном самоубийстве. Обычно оно начинается с невинного на первый взгляд обгрызания ногтей.

Кроме того, на территории НШЛ действуют индисты (индифферентисты); тем все равно, что бы ни делать, лишь бы назло синтуре. Они охотятся за назначенными заранее жертвами, например, за матерями высших государственных служащих, отговаривают учащуюся молодежь от пользования благопроводом, усердно загрязняют среду обитания, портят личные выборокиберы калек и старцев и вообще очерняют, подрывают и подстрекают. МВД, будучи не в силах справиться с ними, поручило Министерству Легкой Промышленности вшивать в нательное белье подзреваемых особые датчики с электроукалывателями; восприняв подрывные намерения носителя белья, они индуцируют тяжелые приступы ишиаса (т.н. боллепрофилактика).

Ее неэффективность привела к чудовищному разрастанию люзанского законотворчества (КУР). Тот, кому удастся, перехитрив электроукалыватели, телехранители, уморы, душеумягчители и т.д., вторично

совершить преступление, по закону должен быть обезмозжен и превращен в пожизненно-посмертного истязанца посредством вечностного нейропрепарирования. Выставленный к позорному электростолбу истязанец, а точнее — нейропрепарат такового, издает кошмарные вопли; эти вопли транслируются через мегафоны, к которым подключены нервные окончания его экс-гортани. Люзанская наука прилагает немало усилий, чтобы максимально использовать пропускную способность болевых волокон (КУР). Указанные вопли доносятся из молодежных дискотек; все остальное — гнусные вымыслы враждебной курдल्याндской пропаганды, не стесняющейся в средствах (ЛЮЗ)».

Было уже далеко за полночь, когда я встал из-за стола, прервав чтение, — голова у меня шла кругом. Курдल्याндские прогнозы о безлюдной гражданской войне шустров с антишустровами, или синтуры с антисинтурой, перемешались в ней с мрачными люзанскими разоблачениями градозавров как *путешествующих застенков* (ПУЗАСТОВ). Пролоубки (протезы любви к ближнему), этификация среды и ее антимудростная мерзификация, фугадостные снаряды, сексоубежища, дезэротизаторы, детеррогентные, или противотеррорные, препараты, матоиды, противобратья, тещеловки, уокошники, замордоны — тысячи загадочных слов кружили в моем несчастном мозгу бездонным Мальстремом. Я стоял у окна и с шестнадцатого этажа смотрел на спящую безмятежно Женеву, угнетаемый неуверенностью: удастся ли мне доискаться правды о планете, с которой я так простодушно и так опрометчиво разделался когда-то в своих «Дневниках»? Едва лишь какой-нибудь БАМ, МОСГ или МНЯМ называл амуретки любовными таблетками, как КУР или БОМ заявляли, что это модель табуреток. Я не узнал даже, сколько у энциан полов — один, два или больше; на этот счет тоже имелось множество несогласуемых точек зрения. Вдобавок мне не давала покоя мысль, каким идиотом я себя выставил, приняв

орбитальный луна-парк за планету, а веселые забавы и развлечения — за грозные события, связанные со Sporadическим Метеоритным Градом. По крайней мере, теперь мне было понятно, почему лишь меня так перепугал смег, который туземцев нимало не беспокоил: я вел себя как дикарь в театральной ложе, который умоляет мавра остерегаться Яго и, бога ради, не душить Дездемону. При этой мысли кровь бросилась мне в лицо. Подобный позор должен быть смыт, чего бы это ни стоило. Я поклялся, что не успокоюсь, пока не доберусь до оригинальных источников, не замутированных бездумной и якобы беспристрастной работой компьютеров. Я уже знал, что это будет нелегко, потому что доступ в архивы Тельца мог дать мне только некий доктор Штрюмпfli, тайный советник МИДа, по слухам, человек неприступный, фанатик инструкций и бездушный формалист, словом, настоящий швейцарец. Профессор Гнусс сделал для меня все, что мог. Он добился моей встречи со Штрюмпfli назавтра, с глазу на глаз; все остальное, то есть преодоление бюрократических барьеров, было уже моим делом. Тяжко вздохнув, я попробовал вытряхнуть из термоса последние капли кофе, но обнаружил лишь немного гуши на самом дне. Не знаю почему, это показалось мне предвестием поражения, ожидающего меня в кабинете советника. Сумрачным взглядом окинул я комнату, принял ментоловую таблетку — меня тошнило, то ли от съеденного за обедом *cordon bleu*\*, то ли от шихты, — и отправился спать.

\* \* \*

Штрюмпfli принял меня холодно. Дипломат такого ранга — действительный тайный советник, — разумеется, в совершенстве владеет искусством спроваживать посетителей, и я ничего не добился бы, если бы не счастливая случайность. Чтобы сплавить меня, ему пришлось на меня посмотреть, а я посмотрел на него — и мы узнали друг друга, не мгновенно, ведь мы ни разу в жизни не виделись, но постепенно, все вни-

---

\* Котлета, фаршированная зеленью (фр.).

мательнее присматриваясь один к другому; я узнал его сначала по галстуку, вернее, по способу завязывать галстук, а он меня уж не знаю толком как; мы почти одновременно кашлянули, потом улыбнулись с некоторым смущением — сомневаться не приходилось. «Да это он!» — подумал я, и то же самое, должно быть, промелькнуло у него в голове. Он помедлил, подал мне руку через письменный стол, но в такой ситуации этого было недостаточно; какую-то долю секунды он вслушивался в себя — броситься мне на шею он не мог, это было бы чересчур, поэтому, ведомый чутьем дипломата, он поднялся из-за стола, дружески взял меня под руку и повел в угол кабинета, к большим кожаным креслам. Обедать мы пошли вместе, потом советник пригласил меня к себе, и распрощались мы около полуночи. Отчего бы все это? Да оттого, что у нас общая приходящая прислуга. Не какая-нибудь автостряпка, но настоящая, живая, хлопотливая, которая буквально не закрывает рта, и я без преувеличения могу сказать, что мы с советником знаем друг друга так, словно съели вместе целую бочку соли. Считая себя особой тактичной, она ни разу не назвала его по имени, всегда говорила просто «советник», а уж как ему обо мне — не знаю, не спрашивал, это было бы неудобно; и все же наше знакомство, во всяком случае поначалу, требовало обоюдной тактичности, причем особая ответственность лежала на мне, ведь мы встречались по большей части в его квартире, и мне приходилось следить за собой; малейший взгляд на комодик, на коврик у шезлонга, взгляд, совершенно невинный для постороннего, получал особенное значение, становился намеком; разве не знал я, что хранится в этом комодике, что вытряхивают каждый понедельник утром из этого коврика... Поэтому наша близость находилась все время под угрозой, и сперва я не знал, куда девать глаза, я даже подумывал, не приходить ли к нему в темных очках, но это был бы faux-pas, так что я пригласил его на чашку кофе к себе, но он не очень спешил нанести мне ответный визит. Поразмыслив, я пришел к выводу, что дело тут было не в материалах, имевшихся у него (хотя доступ к тайнам архива находился не в единоличной его компетенции,

улаживание формальностей он взял на себя), — нет, скорее он как бы устраивал мне испытание, ведь у меня уже ему пришлось бы все время быть начеку. Наша общая прислуга незримо присутствовала на этих встречах, я прекрасно знал, как она прокомментирует назавтра состояние мини-бара, пепельниц: мы оба жили как старые холостяки, а таким ни одна прислуга ничего не простит и заглазно спуску не даст; причем я знал, что он знает, что я знаю, что она скажет; вот почему даже на минном поле я не вел бы себя так осторожно, как в квартире советника; каждая пролитая на скатерть капля отзывалась в ушах у меня ее комментарием, а в выражениях она не стеснялась, и все же приходилось ей уступать: где взять другую? Она не раз критически излагала мне поведение советника в ванной, особенно что касалось мыльниц, ну и насчет засоренной раковины и этих маленьких полотенец, причем, если ее слушали не слишком внимательно, могла просто уйти и не вернуться; и не дай бог забыть о ее именинах, у меня-то она была для этого слишком недолго, но у советника — не первый год, с презентами колоссальные трудности, ведь она не пила, не курила, никаких сладостей, что вы, сахарная болезнь будто бы уже начинается, в сумочке — целая пачка анализов мочи, приходилось читать или хотя бы делать вид, что читаешь, и нельзя было отделаться общими фразами; следы белка — это вам не пустяк, — а потом опять о советнике; косметичку, а может, сумочку — не помню точно — она взяла скорее всего, чтобы покапризничать передо мной: такие цвета, это в ее-то годы, уж не думаю ли я, что она еще красится? Я чувствовал себя как на сцене. Перед каждым из нас она играла спектакль о другом, настоящий театр воображения; а как она торопилась закончить уборку у меня, чтобы застать его дома! Она не выносила пустых комнат, ей нужен был слушатель; нам приходилось нелегко, но мы оба старались, каждый у себя, а что делать? Прислугу в наше время просто рвут на части, а уж эта словно сошла с подмостков, должно быть, она родилась актрисой, да только не повезло ей: никто у нее этого призвания не заметил, а сама она, к счастью, не догадалась. «Homo sum et humani nihil a me alienum

puto». Доброжелательность доброжелательностью, но я голову даю на отсечение: советник принял во мне такое участие, поскольку уже тогда рассчитывал, что, когда я уеду (он прочитал это решение у меня на лице раньше, чем оно окончательно вызрело у меня в голове), он будет обладать ею один — понятное, хотя, пожалуй, обманчивое желание... Он жаждал исключительности, преобразования кочующей прислуги в оседлую и знал, что, если бы меня упекли за решетку (я побратски исповедался перед ним относительно Кюссмиха, замка, порошка для младенцев и даже ложечек), он окончательно потерял бы покой, потому что она, перестав у меня убирать, начала бы меня идеализировать, ставить ему в пример, чтобы он почувствовал свою неполноценность. Не подружиться мы не могли, иного выхода не было — уж лучше, если твои интимные дела знает кто-нибудь близкий, чем человек посторонний или даже неприязненно настроенный; поистине, у нас друг от друга не было тайн, ни один психоаналитик не проникает в такие глубины души, как прислуга (какие мягкие нынче простыни, и что вам такое приснилось?); словом, мы играли открытыми картами, хотя всячески давали понять, что, мол, ничего подобного. Несколько раз советник приглашал, кроме меня, начальника Управления Тельца, двух экспертов и архивиста, так что в его квартире, за кофе с печеньем, чуть ли не вся коллегия держала совет, как бы устроить мне доступ ко всему абсолютно, без изъятий; их разговор временами был еще загадочнее, чем шихта.

Труднее всего им было решить, в качестве кого, собственно, я могу проникнуть в архив. Первооткрыватель планеты, терпеливо втолковывал мне магистр Швигерли из отдела кадров, — титул, который звучит внушительно только в школьных пособиях, а для министерства это пустой звук. Ведь я не эксперт, с которым Управление наблюдения за Тельцом заключило контракт, не член совета при министре и даже не внештатный специалист. Я — частное лицо, и в качестве такового делать мне в МИДе нечего, с тем же успехом мог бы требовать допуска к секретной документации

ночной сторож. Секретность — это не только печать на документе, это еще знак того, какой ход — или противоход — будет дан делу, ибо нередко движение дела по инстанциям означает его погребение; поэтому они напрягали ум за чашкой черного кофе, чтобы найти если не *предписание*, то хотя бы *предлог*, который раскрыл бы предо мной двери пещеры Али-Бабы. Вскоре я понял, что все до единого служащие МИДа, как высшие, так и низшие, не имели ни об Энциии, ни об астронавтике никакого понятия: это просто не входило в их должностные обязанности, и мне приходилось слышать, как они говорили «говядина» вместо «Телец». В конце концов Штрюмпfli отказался от дальнейших консультаций, велел мне сидеть дома и ждать звонка, а через три дня торжественно возвестил, что победа за нами. Непременное условие — приходить в главное здание ночью и уходить до наступления утра — я, разумеется, принял без возражений; я уже настолько понимал всю деликатность этого дела, что мне оставалось только благодарить. Итак, обратив ночь в день, я мог наконец во внеслужбное время проникнуть в тайны другого мира.

Я купил самый большой, какой только удалось найти, термос для кофе, сумку с несколькими отделениями, запихнул туда печенье, баночку мармелада, булочки, плоскую фляжку «Мартеля», которым поят раненых на поле славы, толстую тетрадь и в самый последний момент — забытую было мною, прямо-таки символическую и все же, без всяких шуток, настоящему необходимую мне — ложечку.

## Источники

Итак, Штрюмпfli, получив неофициальное согласие начальника Управления Тельца, ночью, когда здание опустело, ввел меня в энцианский архив и в первом библиотечном зале самолично разъяснил мне порядок пользования собранным там материалом.

Данные о ненаселенных планетах, сказал мне советник, принимают на хранение довольно просто, разбрасывая их по трем разрядам. Сначала идут отчеты первооткрывателей, понятно, ошибочные, потом результаты исследовательских экспедиций — тут уже дерево ошибок начинает ветвиться, поскольку не случилось еще, чтобы специалисты были согласны друг с другом, и появляются особые мнения, возражения и опровержения, а напоследок — заключения земных экспертов, то есть людей, нога которых не ступала на космический корабль, не говоря уж об отдаленных планетах, поэтому поседевшие в боях космонавты-исследователи подают на их вердикты кассационные жалобы, апелляции и рекламации, что влечет за собой разработку планов новых экспедиций, которые на половине или в конце пути по инстанциям торпедируются бухгалтерией, поскольку, по ее мнению, гораздо дешевле примирительные комиссии и арбитраж на месте; на этом споры обычно кончаются, разве что какая-нибудь очень влиятельная и честолюбивая особа пожелает увековечить себя, связав свое имя с новым небесным телом, и пробьет чрезвычайную субсидию; впрочем, это уже не заботит МИД: все равно ведь никаких отношений установить нельзя, потому что не с кем, и документы отправляют в архив с пометкой начальника соответствующего отдела: «*Nolo Contendere*»\*.

Хуже с населенными планетами. Астронавтические матери очень скоро смешиваются здесь с политическими, потому что любая цивилизация создает по меньшей мере столько версий своей истории, сколько в ней государств; версии эти противоречивы и даже диаметрально противоположны, но МИД не может открыто отрицать ни одну из них, ведь отсюда недалеко и до конфликта *ante rem*\*\*; поэтому все версии принимаются без рассмотрения, и лишь потом начинают думать, что с этими фантами делать. В служебной практике звезды делятся на те, что удаляются от нашего Солнца, и те, что к нам приближаются; с первыми хлопот никаких — о каком

---

\* Здесь: «Не буду заниматься» (*лат.*).

\*\* прежде чем (что-либо успело произойти) (*лат.*).

дипломатическом сближении может идти речь при постоянно возрастающих астрономических расстояниях? Внимание мидовцев сосредоточено на вторых, и именно к этой категории относятся планетарные системы Тельца. В МИДе принято делить материалы на официальные и правдивые, или на открытые и секретные, ведь политический курс надлежит выбирать в соответствии с тем, как там *на самом деле*, а конкретные дипломатические шаги — в соответствии с тем, что *они* говорят об этом.

Если на планете восемнадцать государств (а это в космическом масштабе — семечки), только очень наивный человек решит, что существует лишь восемнадцать версий ее истории; кроме трудов официальных источников имеются ведь работы историков, которых едва терпят, а иногда — казнят и реабилитируют *post mortem*\*, а также дееписателей-критиканов и разоблачителей, которые, к сожалению, нередко поддаются духовному или физическому внушению и меняют свои взгляды в следующих изданиях, потому что у них, скажем, жена и дети (если это допускается тамошней биологией; впрочем, инстинкт самосохранения присущ любому разумному существу, так что не стоит вдаваться в такие тонкости галактической историографии). На эту грудю вариантов ложатся центеры хроник, живописующих судьбы интересующего нас государства глазами соседей и их историков (как известно, Первую мировую войну китайцы назвали гражданской войной европейцев), а деятельность МИДа превращается в блуждание по лабиринту, где на каждом шагу подстерегают засады и таятся загадки; и, словно этого мало, то и дело поступают отчеты очередных экспедиций, а когда *туда* вместе с дипломатическими отправляются торговые миссии, которых больше заботит товарооборот, чем историческая истина, опять начинаются согласования и уточнения. Когда же все наконец как-то удастся наладить, там, на месте, вдруг происходит исторический перелом, и опять начинай все сначала; монументы боготворимых правителей летят с пьедесталов.

---

\* посмертно (*лат.*).

преступные демоны и чудовища оказываются национальными героями и вождями, сочинения, запечатлевшие на вечные времена заслуги монархов и полиархов, устаревают в одну минуту — и премило выглядел бы земной дипломат, который при вручении верительных грамот перепутал этапы истории.

Ошарашенный этими объяснениями, я не мог удержаться от вопроса, в самом ли деле Земля уже установила отношения с такой уймой планет, что МИД сгибается под тяжестью выпавших на его долю задач, — ведь в Институте мне говорили, что их деятельность носит пока тренировочный характер. Штрюмпfli посмотрел на меня, как человек, которому показалось, что он ослышался, и, не торопясь, чтобы я лучше понял, растолковал мне неуместность такой постановки вопроса. Министерство Инопланетных Дел работает на основании имеющихся у него документов, и только. Лишь тот, кто не имеет никакого понятия о делопроизводстве, может увидеть в этом что-то необычайное, несообразное или даже несерьезное. Ведь вся политическая история Земли представляет собой цепь ошибок и их последствий; с давних времен государства ставили не на ту карту, делали то, что *не* соответствовало их истинным интересам; так что политика состояла прежде всего в ошибочной оценке противника, а еще чаще — в превращении потенциальных союзников во врагов из-за недоразумений и недоумия. Как победы, так и разгромы происходили из ложных прогнозов: недаром у побежденных дела обычно шли лучше, чем у победителей, — если не сразу, то чуть погодя. Политика имеет дело с будущими событиями, которые точно предвидеть нельзя, а опытный политик — это тот, кто прекрасно об этом знает, но гнет свое из патриотизма, чувства долга и осознания исторической необходимости. Поэтому Министерство Инопланетных Дел не открывает Америк, а действует как обычные МИДы, с той лишь разницей, что границы неизбежных при дипломатической деятельности ошибок раздвинулись астрономически. Неужели мне неизвестно, что при принятии решений, определивших исход мировых войн,

начисто игнорировались донесения разведки и иные совершенно достоверные данные, из которых вытекало как дважды два, что войну объявлять не следует? Поэтому так ли уж важно, настоящие документы у нас в руках или всего лишь фантомы? Каким, собственно, образом эта разница повлияла бы на течение министерских дел?

Прочитав добродушным, но категорическим тоном это наставление, Штрюмпfli посоветовал мне не касаться главного каталога — в его сорока тысячах карточек легко заблудиться.

Он вручил мне листок с перечнем важнейших трудов, который любезно составил магистр Брабандер, похлопал меня по плечу, улыбнулся и пошел спать, а я остался наедине с библиотечным лабиринтом.

Получив в качестве ариадниной нити этот перечень, я какое-то время колебался, не зная, что выбрать — термос или фляжку с коньяком, наконец глотнул коньяку, чтобы взбодриться, а потом приступил к работе, буквально засучив рукава: самые старые отчеты покрывал толстый слой пыли, а я не хотел без надобности пачкать рубашку; даже здесь надо мною, казалось, витал ворчливый дух приходящей прислуги. Перечень советовал мне начать со «Всеобщей истории» Мсимса Питтиликвастра, люзанского предысторика, но я из чистого любопытства взял самую старую, потемневшую папку. Папка была тонкая. На грязноватом листочке желтели криво приклеенные ленты телеграмм, а может быть, телексов; низко склонив голову над этим почтенным документом, я не без труда прочитал выцветший текст:

ТЕЛЕЦ ГАММА ПЛАНЕТ ДО ЧЕРТА НО СЛАВА БОГУ  
БЕЗЛЮДНЫХ В ПЕРИГЕЛИИ БОЛОТИСТЫЕ В АФЕЛИИ  
ОБЛЕДЕНЕЛЫЕ ВСЕ ЭТО ПАСКУДНАЯ ЭНТРОПИЯ И НИ  
ЧЕГО БОЛЬШЕ ТОЧКА ЭКИПАЖ СЫТ ПО ГОРЛО БЫСТ  
РЕНЬКО ОБЕЖИМ ЕЩЕ ОДИН ПАРСЕК И К МАМОЧКЕ  
ТОЧКА ЗА ПЕРВОГО ЯНКИ ПАС И ФИЛЕРГУС ТОЧКА ПО  
ВОЗВРАЩЕНИИ РАССЧИТАЕМСЯ С ВЕРФЬЮ ПРИВЕТ  
ТОЧКА КОНЕЦ

Текст был крест-накрест перечеркнут красным фломастером. Ниже виднелась сделанная от руки надпись: «Шестерка населена, предлагаю оставить без премии этих халтурщиков» — и неразборчивая подпись.

Я еще раз взглянул на архаический астротелекс, и словно пелена упала с моих глаз: я понял, что название ЭНТЕРОПИЯ возникло просто из «паскудной энтропии», перевернутой каким-то делопроизводителем. Там имелся еще один листок, вернее, бланк отчета о командировке вместе с припиленным к нему гостиничным счетом, на котором синел штамп «В ОПЛАТЕ ОТКАЗАТЬ». На обороте бланка кто-то небрежно набросал: «Через курьера с иммунитетом. Спутник шестерки — планетарный камуфляж, скорее всего Развлекатель-Перехватчик Чужеземцев, пустотелый, надуваемый в случае необходимости. Рекомендуется осторожность, так как часть туземцев считает его провокацией из-за макетов КУРДЛЕЙ. Подробности см. в моем меморандуме, шифр ТЗГ/56 Эпс. Делаю, что могу. Не протоколировать. Не публиковать. Не запрашивать. Сжечь. Пепел рассеять по акту». Далее, несомненно, следовала подпись, залепленная оранжевой наклейкой с надпечаткой: «СОХРАНИТЬ В ТАЙНЕ».

Я попрощался с этим старинным документом не без грусти, но и со вздохом облегчения: оказывается, я не сваял дурака, приняв обычный летающий луна-парк за планету, раз это был специальный развлекатель-перехватчик, и мне пришлось в голову, что здесь я узнаю наконец тайну сепулек, которая мучила меня долгие годы; однако, окинув взором ряды запертых книжных шкафов (советник, впрочем, оставил мне большую связку ключей), я понял, что сделать это будет не просто. Следующую папку тоже покрывал толстый слой пыли. Какие-то истории болезней из психиатрической лечебницы. Я тут же положил ее обратно на полку. Странно, как она здесь очутилась? Пораженный внезапной догадкой, я вытащил из папки связку пожелтевших бумаг и стоя начал их перелистывать. Я обнаружил медицинское заключение, удостоверявшее у экипажа «Рамфорникуса» коллективный галлюциногенный психоз, синдром прогрессирующего слабоумия и повышен-

ную агрессивность, которая выражалась в активном сопротивлении терапевтам и младшему медицинскому персоналу. Эта болезнь признавалась профессиональной, и пациентам предлагалось назначить пенсию по инвалидности. «Рамфорникус» при помощи двух спускаемых аппаратов должен был исследовать сейсмичное плоскогорье северного полушария Энции, а также обширные подмокшие территории зоны умеренного климата. Бредовые видения обеих исследовательских групп были равно навязчивы, но совершенно различны по содержанию. Члены болотной экспедиции утверждали, будто жители планеты целые дни проводят по шею в грязи, а вечерами выбираются на относительно сухие места и, тихонько напевая, залазят друг на дружку, как циркачи, занимающиеся партерной акробатикой: они образуют живые колонны, по которым карабкаются все новые туземцы; так возникает несколько толстых ног, и карабкание это продолжается до тех пор, пока, сплетая руки и ноги, они не слепят что-то вроде слона или мамонта с обвисшим брюхом. Объединившись таким манером, они с песнею на устах удаляются в неизвестном направлении. Попытки расспросить туземцев, отставших по дороге, не увенчались успехом, несмотря на применение самых мощных автопереводилок: спрошенные тут же ныряли в грязь, и из их фрагментарных восклицаний можно было понять лишь, что огромное существо, которое они создавали посредством повального взаимоцепляния, зовется Курдлищем или Курдельником, а может, Курдлятиной. Не исключено, однако, что они сами себя называют курдельниками или курдленцами. Психопатологические симптомы членов северной группы были гораздо разнообразнее. Одни разведчики будто бы попали в громадный комплекс строений без окон и дверей и обнаружили, что нужно с разбегу броситься на стену, чтобы та пропустила их внутрь. Не успели они разойтись в поисках туземцев, как были атакованы ватой — или ватином, — а также какими-то сметанными на скорую руку штуками одежды наподобие ватников, которые, пользуясь численным превосходством, вытеснили их на крышу, откуда они спаслись тактическим отступлением на спус-

каемом аппарате. Другие утверждали, что им повезло больше. В большом парке, полном лениво прогуливающихся деревьев, они наткнулись на группу маленьких туземцев; двое или трое туземцев побольше, увидев их, убежали. Зато малыши, которых разведчики сочли местной детворой, не обнаруживая ни малейшего страха или удивления, пытались завязать разговор с чужаками, но из этого ничего не вышло — вместо осмысленной речи автопереводилки издавали какое-то бляение. Тем не менее мнимые дети охотно согласились сфотографироваться вместе с людьми и на прощание одарили их разными загадочными предметами. Разведчикам пришлось возвратиться, когда болотная экспедиция передала сигналы тревоги. Снимки не получились: как выяснилось на борту «Рамфорникуса», фотоаппараты носили следы повреждений, типичных для высокотемпературных воздействий. Оптика объективов полопалась, а фотопленка расплавилась. На вопрос, что случилось с подарками, которые они будто бы получили, разведчики ответили, что в контейнерах, где находились подарки, не оказалось ничего, кроме крохотной горстки серой пыли. Ни один из обследованных не ощущал себя психически больным. Диагноз был поставлен не на авось. Было экспериментально доказано, что фотоаппараты подверглись сильному нагреванию, вероятно, в духовке корабельной кухни, хотя больные не желали в этом признаться. Спектроскопический и хроматографический анализ пыли, в которую будто бы обратились подарки, показал наличие элементов, встречающихся во всякого рода соре и мусоре. Хотя столь тщательные анализы доказывали лживость их утверждений, больные упорно настаивали на том, что столкнулись с жителями планеты, которые, будучи издали человекоподобны, вблизи напоминают скорее помесь страуса или эму с вылечившимся от ожирения пингвином. Существа эти могут ходить, как люди, но могут также передвигаться скачками, держа ноги вместе, как воробьи или дети, играющие в «классы». Они не способны усесться по-человечески, поскольку колени у них сгибаются назад, как у птиц, и отдыхают они, сев на колени. Одеваются очень пестро, а на лице у них ка-

кие-то маски, потому что они снимаются и тогда можно увидеть довольно-таки неприятную физиономию с широким лбом, широко расставленными, совершенно круглыми глазами, а там, где у нас рот и нос, у них имеется выпуклость с отверстиями, напоминающими ноздри. После изоляции в лечебнице агрессивность больных значительно возросла. Далее следовал список больничного инвентаря, приведенного в негодность в приступе бешенства.

Специально созданная комиссия рассмотрела сорок восемь различных гипотез и пришла к выводу, что внезапный массовый психоз мог быть намеренно индуцирован чужой цивилизацией как способ защиты от нежелательного вторжения. Поэтому на посещение планеты наложили запрет, и все остальные материалы получены по радиосвязи, с обычным запаздыванием во времени. Дойдя до этого места отчета, я даже обрадовался, что все дальнейшие сведения об Энци и энцианах исходят прямо от них, а значит, не искажены человеческими предрассудками. Тем не менее работа предстояла длительная и тяжелая: энциане, проявив незаурядный космический альтруизм, одарили нас сотнями своих сочинений, трактатов, учебников, газет и даже листовок.

Я счел за лучшее начать с учебников истории, и притом самых старых, как бы следуя естественным путем социального, а равно интеллектуального развития неизвестных существ. Местом моих борений с этими фолиантами был стол, ярко освещенный низко свисавшей лампой. Имея слева от себя термос, а справа печенье, я взялся за первый трактат, на всякий случай поставив в выдвинутый ящик стола фляжку с открученной пробкой так, чтобы можно было взять ее не глядя, не отрывая глаз от страниц с убористым текстом. В огромном зале было тихо, словно в пещере. Кроме шелеста перелистываемых страниц время от времени раздавались мои тихие вздохи, чем дальше, тем больше напоминавшие сдерживаемые стоны. За нелегкое взялся я дело! По привычке я просмотрел сначала библиографию, помещенную в конце сочинения; имена ученых, цитировавшихся энцианским историком, заставляли задуматься: Триррцварракакс, Тррлитрип-

лиррлипитт, Кьюкьюксикс, Кворрсттьёрркьёрр, Квидтдердудук и тому подобные. Не следует делать преждевременных выводов, сказал я себе и взглянул на титульный лист.

Это была «История Энци» пера знаменитого, как утверждалось, курдляндского историка Квакерли. Советник рекомендовал мне ее как неплохое введение в предмет, но при виде имени автора, явно перекликающегося со швейцарскими именами, у меня мелькнула безумная мысль, что Штрюмпfli именно поэтому и посоветовал мне ее (очевидный нонсенс, свидетельствующий лишь о моем угнетенном состоянии). По некотором размышлении я все же последовал этому совету, в сущности дельному. Хотя и непросто было решить, какая часть шихты непонятнее, курдляндская или люзанская, что-то подсказывало мне, что при всей своей необычности, прямо-таки уникальности, культура градозавров — обитаемых живых существ — ближе к Природе, не столь искусственна, как цивилизация, наделившая разумом даже камни и почву. Природа, в качестве универсальной космической постоянной, должна была стать связующим звеном и введением в чужую историю. Не подумайте, однако, будто я с жадностью набросился на этот толстенный том, глотая страницу за страницей, — нет, я стоял, как нерешительный купальщик над прорубью, пока наконец, набрав в легкие побольше воздуха, не погрузился в чтение.

Зарождение жизни на Энци Квакерли описывал на ученый манер, но, в общем, вполне понятно. Жизнь, по его словам, всюду зарождается одинаково. Сперва океан неслыханно медленно скисает у берегов, превращаясь в киселеобразную хлюпь, и тихие волны взбивают ее столетиями, а то и тысячелетиями, пока из этой жижи не вычленится чмокающий студень и после бесчисленных приключений не дочмокает туда, где его мякоть затвердеет в известковый каркас. Квакерли утверждал, что на разных планетах, в зависимости от местных условий, возникают различные высшие организмы, главные разновидности коих: кровососы, молокососы и клювоносы. Размножаются они тоже по-разному — потиранием, опылением, почкованием, а иногда, хотя и неслыхан-

но редко, так называемым шпунтованием, до которого на Энции, планете вполне нормальной, дело, слава богу, не дошло. Происходя от больших птиц-нелетов, энциане называют себя члаками; это слово некоторые энтропологи возводят к чавкающему звуку, обычному при передвижении по болотам, поскольку болота, бескрайние топи и трясины были здесь колыбелью жизни. Причиной тому местная география. Энция обращается вокруг своего солнца по сильно вытянутой орбите, и в афелии на ней воцаряется жуткий мороз. Своими обширными мелководьями океан подходит к кромке континента, у берегов болотистого, но в глубине, на сейсмически активном плоскогорье, усеянного вулканами. Исходящее от вулканов спасительное тепло периодически подсушивает болота. Однако кипящие гейзеры, непрестанные вулканические и серные извержения заставляли все живое держаться подальше от этого пекла. Поэтому жизнь приютилась как раз посерединке меж океанскими льдами и вулканами Тарактиды, в области Великого Грязеана. Именно там из протогадов вывелись гады, а из гадов — переползы и недоползы. Последние, как указывает их название, не доползли до более теплых участков суши и утонули, зато переползы положили начало чавкам. Чавки развились в чапель, у которых ноги были коротковаты; чапли часто увязали в трясине и гибли с голоду. Из них произошли чмоки, чмыки и чмухи. Существовали еще чмушканчики, так сказать, слепая улочка эволюции: они оказались подслеповаты и вскоре вымерли. Затем развитие приостановилось на миллион лет. Размножаться в склизкой холодной трясине радости мало, и самцы чаще делали вид, будто занимаются своим делом, нежели действительно им занимались, прижимаясь к самкам больше для согрева. Тамошняя грязь чрезвычайно липкая, так что пары совсем перестали разъединяться. Нетрудно понять, что из пары получалась четверка, из четверки — восьмерка и так далее, пока очередные поколения, разрастаясь, не превратились в мокрух, мокрушников, мокровиш и, наконец, *мокрынычей*. Именно от мокрынычей произошел впоследствии курдль. Мокрынычи, правда, имели вполне приличные ноги — от шести до девяти

метров в длину, но этого было мало, чтобы держать туловище над поверхностью трясины, поэтому от валяния и бултыхания в грязи хвост и брюхо у них вечно мокрые; чтобы помочь этой беде — ведь в болоте чертовски холодно, — мокрынычи начали повышать температуру своего тела, разумеется, не намеренно (эти твари необычайно тупы), а благодаря естественному отбору самых горячих особей. Но убыстрять обмен веществ до бесконечности они не могли, потому что просто сварились бы, как в кипятке, и очередные мутанты стали извергать из пасти газ, который от зубовного скрежета (или от щелканья зубами на холоде) загорался, как наши болотные газы на подмокших торфяниках. С этого момента мокрыныч, чтобы не простудиться, извергал огонь, который его изрядно подсушивал, а еще удобнее было сушиться двум мокрынычам, стоящим друг против друга; таковы были первые ростки альтруизма. Первые огнедышащие мокрынычи (то есть *горынычи*) не были и вполовину так велики, как их поздний потомок — курдль. Они-то и заменили праэнцианам Олимп, с которого Прометей украл огонь. В их легендах важную роль играет неустрашимый герой, именуемый Громадем, или Громатеусом, который будто бы совершил то же, что и Прометей. Горынычи, угодившие в западню, использовались для отопления резиденций племенных вождей. Потухший горыныч зовется *сгорынычем*.

Но все это случилось миллионы лет спустя, во времена мифического царя Каррквиния. Между тем в стаде горынычей пасся обычно один гигант-предводитель и несколько признающих его верховенство горынчиков; если он слишком на них наседали, они сбивались в кучу и сообща давали отпор великану. Диалектика эволюции была такова: если мокрынычи чересчур размножились, то утапывали досуха значительные участки болота, а затем, расхаживая по твердому грунту, утапывали его намертво и, не находя пищи, мерли с голоду. Тогда болота опять брали верх, каменистая почва превращалась в трясины, буйно разрастались болотные мхи, и весь цикл повторялся сначала. Если же корм совсем иссякал, мокрынычи с голодухи начинали пожирать друг друга, поражая жер-

тву извергаемым из пасти огнем; так они привыкли к жареному. Мокрушный каннибализм как раз и привел к возникновению курдлей, ибо пракурдль был просто мокрынычем, обожравшимся до неприличия. Но пракурдль, ввиду своего гигантизма, был мало пригоден к борьбе за существование. Особенно серьезные трудности он испытывал, пытаясь сообразить, где кончается он сам и начинается нечто иное, пригодное для еды, поэтому самоедство, начиная с хвоста, было обычным явлением, о чем свидетельствуют палеонтологические раскопки; по сохранившимся остаткам скелетов видно, что пракурдль погибал, если слишком обжирался собой.

Потом мокрынчики поменьше, опасаясь большого мокрыныча, уже начинавшего курдлеть, стали нарочно подсовывать ему особей, которые вследствие длительного барахтания в болотных лишайниках, таких как рвотник торопливый, незабудка подташнивающая или отрыжница сильнодействующая, действовали на желудок как рвотное. Их называли мокрушниками, а подсовывание сопернику рвотных мокрушек известно под названием «мокрого дела». Опасность подстергала курдлей с двух сторон. Слишком большой самец-одиночка нечувствительно сам себя надгрызал на отдаленной периферии, а курдль слишком мелкий из-за своей дальнорукости мог вообще себя не заметить; полагая, что его нет, он переставал есть и подыхал. Как раз в этой точке эволюционное развитие курдлей пересеклось с социальной эволюцией энциан, что привело к поразительным, не имеющим прецедента в целой Галактике последствиям.

В своём эолите, то есть в каменном веке, праэнциане почитали курдлей как существ божественных, хотя и гнусных. Поэтому курдельная символика прочно вошла в их мифологический арсенал, в архаические легенды и сказания; отсюда же позднейшее наименование их государства — Курдлевство. Уже тогда курдлю случалось проглотить праэнцианина, и, чтобы избежать такой смерти, обитатели болот намазывали себя пастой, изготовленной из растений, которые они крали у малышей-мокрушников, подсмотрев, в каких травах валяются эти твари, перед тем как предложат себя курдлю, дабы

склонить его к каннибализму. Энцианина, проглоченного чудовищем и извергнутого наружу без какого-либо ущерба (так называемого живоглота), окружало всеобщее поклонение; приносимых в жертву стали намазывать пастой, так что курдль, приняв жертву, вскоре с неудовольствием ее возвращал. Но всегда ли было именно так, не вполне ясно. Некоторые авторы утверждают, что приносимые в жертву сами натирались отваром из тошнотворных трав, нелегально раздобытым у племенных шаманов, и это-де привело ко всеобщей деморализации, так как у некоторых племен возвращение курдлем жертвы считалось недобрый знаком. Но в других местностях живоглот сам был шаманом, а то и вождем, и отсюда пошел обычай требовать от кандидата в вожди отдать себя на съедение курдлю. Прохождение через курдля считалось актом ритуальной инициации. Тот, кто по малодушию не решался предложить себя курдлю, не мог рассчитывать на сколько-нибудь значительную должность в общине. Празнцiane, жившие на загрязнях, уже тогда называли себя члаками. Их верования были довольно странными с нашей точки зрения. Наибольшее почтение оказывали курдлю, который сам себя пожирал, — дескать, наполняя себя самим собою, курдль, существо божественное, становится божеством в квадрате. Олимп члацкой древности был заселен очень тесно, ввиду разнообразия видов курдля и его судеб. Так, например, голодающий курдль становится будто бы все меньше и все злее; такого зловредного курдля именуют «кардлюка». Из кардлюк получают курдлипуты, и это они, а не соседи по ночам справляют нужду на задворках. А кукурдль — это курдль, который сожрал кардлюку и разозлился, но не уменьшился. Он подстерегает странников и задает им загадки, которые нельзя разгадать, ибо говорит он так неотчетливо, что понять его невозможно. В раннем средневековье слово «курдль» у члаков считалось священным и произносить его запрещалось; чудовища получали имена-заменители, например Дёрдль, Брррдль, Мёрдль и т.п. В героических мифах повествуется о храбрецах, которым удалось вкурдлиться и выкурдлиться при помощи волшебства; отсюда даже возникла

ересь, поменявшая все знаки прежней веры на противоположные и провозгласившая курдья олицетворением всяческого зла и мерзости, словом, чудовищем из адской бездны (входом в которую якобы были кратеры вулканов). Средневековье продолжалось на Энциии в восемь раз дольше, чем на Земле, что имело серьезные последствия для развития члацкой культуры. Ее обмиршение началось во времена великого голода — и началось оно с облав на курдлей. Несколько воинов с дротиками и копьями (складными, чтобы не застряли у курдья в горле), спрятав за пазухой торбы и мешки с рвотным зельем, давали себя проглотить, а затем, намазавшись этим зельем, начинали покалывать внутренние органы зверя, пока наконец его не схватывали колики от тошноты. Иногда курдль извергал охотников раньше времени, иногда околевал вместе с ними, а временами им удавалось выбраться из мертвого курдья. Вид, существование которого оказалось под серьезной угрозой, проявил удивительные способности к мимикрии; например, были курдли, которые зарастали травой и чуть ли даже не кустарником, в точности уподобляясь курганам, то есть могилам члацких предков, и тем самым обеспечивали себе неприкосновенность. Наука так и не установила, есть ли в этих легендах хоть крупица истины.

Мне, конечно, не следовало прерывать чтение «Истории Энциии» в версии курдьяндского историографа; но он поминутно обрушивался на люзанских историков, этих лгунов, фальсификаторов, демонов и чудовищ, — и мне не терпелось узнать, чем вызваны такие взрывы негодования. Отыскав несколько люзанских работ, я отодвинул фолиант в сторону, заложив его ложечкой вместо закладки. Сначала я открыл «Мистифицированную историю» — просто потому, что эта книга была самая тонкая. Написал ее люзанский курдлевед Арг Кварг Тралаксарг. От него я узнал, что никаких мокрынчей, горынычей и горынчиков на Энциии никогда не было. Все это старинные байки, некритически усвоенные значительной частью курдьяндских ученых по причинам, не имеющим с наукой ничего общего. Не было также никаких ог-

недышащих животных. А были всего лишь блуждающие огни самовозгорающегося метана и отдельно от них — земноводные гады, а также подгрязевые вулканы, в обиходе называемые бульканами, которые, понятное дело, время от времени начинали извергаться и булькать, каковые явления в темных умах туземцев преобразились в ужасные схватки пирозавров. Впоследствии этот феномен пытались истолковать рационально (то есть в соответствии с теорией эволюции Цыпцырвина) ученые палетинской школы, субсидируемые курдландским Министерством Пропаганды, потому что Председатель заинтересован в поддержании репутации нациомобилизма также и за границами политохода.

Но этот автор полемизировал с другим, Квиксаком, поэтому я обратился к его палеонтологическому труду и нашел там полный цикл превращений пищевой массы в желудке курдля (точнее, в жёлудках, потому что их у него чуть ли не шесть) — цикл Греспубли, а также таблицу со спектрами, полученными в ходе лабораторных экспериментов по курдельному самовозгоранию. Из экспериментов следовало, что курдль с пониженной кислотностью вырабатывает испарения, горящие ярким оранжевым пламенем, курдль с повышенной кислотностью, страдающий от изжоги, извергает сине-фиолетовое пламя, а если его в избытке накормить одеревенелыми растениями — дымит. Здесь же имелись фотографии тех, кто собственными глазами видел в курдландском питомнике Фиффари живого пракурдля; он спал, по уши погрузившись в грязь, так что наружу высывались только его ороговевшие ноздри, и время от времени тяжело вздыхал; потом начал икать, высунул голову над водой и заскрежетал зубами так, что искры посыпались. Тут же из пасти пошел огонь и раздался громopodobный стук как бы от двухтактного дизеля. Это будто бы свидетельствовало о том, что он не пробудился полностью, а извергал пламя во сне. Я, правда, предпочел бы увидеть снимок огнедышащего курдля вместо фотографий свидетелей, которые так близко его наблюдали, однако точность описания была, что ни говори, поразительной. Но что поделаешь, если Икс Квассерикс Гетелент, едва

ли не главный на всей планете авторитет по части генетической и морфологической курдлистики, перечисляет убедительнейшие эксперименты, проведенные в его Институте и опровергающие тезис о существовании пирозавров. Хотя зубы курдлей нарочно шлифовали на шлифовальном станке, хотя в пищу им давали жженую пробку, а из растений — только стручковые, и даже пытались поить их горючими и летучими веществами, от эфира до бензина, ни одному из них не икнулось даже самым крошечным языком пламени, и Институт сгорел исключительно по недосмотру — в огне, разожженном озлобленными поборниками пирозаврической гипотезы. Гетелент, однако, не объясняет — скорее всего из лояльности к коллегам, — чего они хотели достичь этим поджогом: уничтожить отрицательные результаты эксперимента или же прямо объявить поджигателем подопытного курдля. Мало того, тот же Гетелент ставит под вопрос само существование градозавров, утверждая, что в желудке курдля можно утонуть или скончаться на месте от вони, а в его мехах для нагнетания воздуха никто не выдержал бы и пяти минут; то же, что посещают люзанские туристы во время экскурсий, организуемых курдляндскими туристическими агентствами, — всего лишь злонамеренно препарированный макет, потемкинская деревня, практически лишенная запаха, между тем каждый, кто стоял в десяти шагах хотя бы от тихонько мычащего курдля, знает, что на таком расстоянии его дыхание валит с ног и вызывает астматическую одышку. Так что, по мнению Гетелента, на планете не только никогда не было огнедышащих горынычей, но к тому же не было и нет никаких градозавров. На этом, заявляет он, заканчивается его миссия как преданного науке палеонтолога, а относительно всего остального, то есть почему курдляндцы так настаивают на существовании никогда не существовавших существ, должны высказаться внеаучные инстанции и органы. Похоже, выступление Гетелента вызвало политическую бурю как в Люзании, так и в Курдляндии, — в градозаврах началась кампания непарламентских интерpellаций и желудочных митингов протеста, в люзанском парламенте разгорелись дебаты, а за-

тем последовал обмен дипломатическими нотами, исчерпанный заявлением люзанского пресс-атташе. Люзанское правительство, говорилось в нем, не подвергает сомнению факт заселения курдлей в его жилищно-бытовом аспекте, а ученые, которые высказываются об этом предмете, выступают исключительно как частные лица, не уполномоченные делать заявления программного характера и формулировать критерии объективной истины, коими должно руководствоваться при выработке внешнеполитического курса.

Порядочно замороженный столь принципиальной дискуссией, я снова взялся за «Историю Энции», опасаясь утратить путеводную нить и увязнуть в трясине взаимоисключающих точек зрения. Вторую часть своей монументальной монографии Квакерли посвящает разумным обитателям Энции. Он излагает суть дела довольно ясно, а именно: на планете существовал не один вид Разумных, а два — двоньцы и члаки, или половинники. От двоньцев произошли люзанцы, от члаков — курдландцы. Те и другие восходят к крупным птицам-нелетам и потому весьма похожи в анатомическом отношении, зато совершенно различны в духовном. Двоньцы были известны своим любострастием, преступными склонностями и общей умственной недоразвитостью. Зато члаки развивались как по маслу. Предвидя, благодаря своей высокоразвитой астрономии, что через сотни лет естественный спутник Энции развалится, войдя в неустойчивую зону Роша, и планета окажется внутри метеоритного роя, прахлаки решили соорудить убежища. Однако же на загрязнях (которые члаки населяли вместе с тупоумными двоньцами, подкармливая их время от времени из врожденного милосердия) построить что-либо было невозможно; переселиться на север, на вулканическое плоскогорье, члаки, жившие охотой, не могли тоже, поскольку их промысловые звери, то есть курдли, жили в болотах, питаясь болотными водорослями, и на новом месте быстро вымерли бы. Поэтому члаки соорудили единственные в своем роде ноевы ковчеги — передвижные крепости (гуляй-башни) из огромных костей убитых на охоте курдлей, и только потому смогли уцелеть. Дело в том, что миллионы

лет назад в зоне Роша распался другой спутник, поменьше, и обрушился на Энцию в виде каменных дождей еще до того, как возникли разумные приматы; это повлекло за собой мутации у курдлей и привело к появлению у них на спине мощных панцирей из отвердевшего кремнезема. Его выделяют так называемые противометеоритные железы, которые описал другой курдландский ученый, Кукарикку, археолог по специальности, основываясь на наскальных изображениях в пещерах вулканического плоскогорья.

Когда отряды члаков предприняли смелые экспедиции на плоскогорье, последние бронированные курдли уже вымирали. Как утверждает Кукарикку и еще один археолог, Квакерлак, члаки научились доить этих курдлей; выдоенная жидкость загустевала, ее выливали в формы и получали прекрасные силикатные кирпичи. (Правда, люзанские специалисты в один голос называют это чистой фантазией, подчеркивая, что указанные кирпичи датируются восьмым тысячелетием древней эры и получены путем обжига, а не дойки.)

Итак, когда повалили смеги, то есть спорадические метеоритные грады, состоявшие из обломков второго спутника Энции, члаки имели уже крепости-самоходки; крепости эти, кстати сказать, вовсе не были живыми курдлями, это клеветнический вымысел тупоголовых люзанцев (или двоньцев). Милосердные по натуре, праполовинники (члаки) позволяли люзанцам укрываться под своими гуляй-городами, и действительно, под брюшным дном каждого из них кочевала ватага бездомных двоньцев. (Здесь я должен пояснить, что эта двойная терминология: половинники — двоньцы, члаки — люзанцы — есть следствие существования в Курдландии двух археологических школ, каждая из которых располагает десятками неопровержимых аргументов в пользу одной лишь пары терминов; к сожалению, они не могут прийти к единому мнению.) Сии побродяги кормились объедками, которые кидали им из укрепленного курдля благородные члаки. Живя подаванием и в противоположность члацким гарнизонам беспорядочно шляясь под спасительной сенью курдля во болотных во лузях, эти двоньцы получили имя лузанцев, или лю-

занцев. Но и курдьянцам жилось несладко: они трудились от зари до зари, как на галерах, и сотни рук что было мочи налегали на колоссальные кости, приводя в движение ноги своей крепости. Этому каторжному труду положил конец Председатель, который лично выдумал биоинженерию. Он указал своим меньшим братьям, как синтезировать под его чутким руководством маленьких курдлят и как их кормить гормонами роста, что и было выполнено с громадным успехом. Так возникли синтекурдли, а из них — современные градозавры, превосходно оборудованные, снабженные канализацией, удобные и опрятные — словом, ходячие города, которые сами заботятся о своих жителях. Каждый может выйти на прогулку или по иной нужде из родного курдля, а потом вернуться домой. Правда, смеги давно прекратились, но что может быть лучше роскошного башнемобиля, где зимой тепло, а летом не жарко? До чего ж хорошо путешествовать в знакомом сызмальства окружении, познавая родимый край из конца в конец! А что касается пропусков и паспортов, без которых нельзя покинуть курдля, то они введены лишь для удобства, во избежание сутолоки у входов и выходов. Паспортизация оказалась необходима еще и потому, что гнусные люзанцы, вместо того чтобы вечно благодарить курдьянцев за спасение от смега, переодевались в члаков и под видом возвращающихся с прогулки законных жителей градозавра проникали внутрь, дабы сеять раздоры и разложение, особенно в рядах политически незрелой молодежи, которой они нашептывали, что вне курдля условия жизни лучше. Несколько столетий спустя, вдоволь накрав и награвив, люзанцы покинули грязь и обосновались на северном плоскогорье, где и создали после прекращения сейсмической активности собственное государство, которое во всех отношениях было хуже Курдлевства. Тем временем грязеан отступал; на болотистых низинах окреп Курдлистан, а на граничащем с ним плоскогорье — Люзанская империя, впоследствии ставшая республикой. Определение границ произошло около 900 года до новой эры. Интересно, что войны на земной манер, с отчетливыми фронтами и передвижениями крупных военных от-

рядов, продолжались на Энциии всего триста лет. От них отказались в пользу непрестанной, но не столь явной борьбы. Донимали друг дружку набегами, налетами, провокациями, диверсиями и саботажем, причем тон неизменно задавала Люзания (напоминаю, что я цитирую курдлянских историков). В люзанских штабах разрабатывали новые методы борьбы с градоходами, скажем, вживление пятой ноги в качестве пятой колонны. Эти негодяи нагло притворялись, будто им ничего не известно об обитателях курдлей. И когда диверсанты-теломуты сеяли хаос в курдельных тушах, присобачивая курдлю пятую ногу или намазывая его хвост всякой вкуснятиной, чтобы он надкусил себя; когда они вели свою подрывную работу, подбрасывая на курдельные пастбища воздушные шарики с отравой, вызывающей такую рвоту, что курдль мог раскурдлиться, то есть вывернуться наизнанку, — все это преподносилось как действия, направленные только против животных. Ибо Люзания не принимала к сведению жилишное назначение и синтетическое происхождение курдлей и имела бесстыдство утверждать, что Председатель якобы не выдумал никакой биоинженерии.

Ситуация изменилась коренным образом только в XXII веке (который примерно соответствует нашему девятнадцатому). Я узнал об этом из трехтомного труда профессора, доктора наук, члена Курдлевской Академии Мцицимрксса. Люзания вступила тогда на путь индустриализации, какового несчастья Курдландия избежала благодаря учению Председателя. Первым толчком стало изобретение сгорыночной машины, приводимой в движение огнем, который облитый водой и обозленный этим горыныч извергает из пасти. Люзанцы побогаче начали продавать свои поместья и вкладывать капитал в огнеупорных курдлей, способствуя этим развитию курдлеводства. Вскоре были выведены породы максимально огнедышащие и вместе с тем огнедойные. Они широко применялись в черной металлургии, а также для отопления. Превращение курдлей в капитал повлекло за собой резкое увеличение спроса на высокотемпературные и долговечные особи, но бездымных курдлей вывести не удалось.

Поголовье горынычей росло лавинообразно, и через несколько десятков лет загрязнение природной среды приняло угрожающие размеры. Тогда возникла идея оптимизации путем концентрации, то есть укрупнения горынычей (или, как их нередко называли, смогрынычей), потому что несколько мощных экземпляров дымят меньше, чем целое стадо малышей; а отсюда недалеко уже было до лозунга национализации всего поголовья; но ученые, попробовавшие высчитать, какой курдль был бы самым экономичным, пришли к выводу, что любой натуральный курдль никуда не годится. Еще обсуждалась идея чистогона, пышущего жаром и вместе с тем экологически опрятного: он работал бы по принципу замкнутого цикла, питаясь собственными выделениями, обогащенными кое-какими витаминами. Но подопытные курдлы подыхали или впадали в бешенство и, проломив ограды, убежали в Курдляндию, другие утрачивали способность к огнедыханию, а некоторые в ходе научных экспериментов начали даже остывать вплоть до отрицательных температур; этот феномен пытались использовать в холодильном деле, но без успеха, поскольку курдлы позамерзали. Назревал экономический кризис, акции курдельных акционерных компаний стремительно падали, кто только мог втайне припрятывал последних сгорыничков; попытались вывести курдлей-газонщиков, которые вырабатывали бы газ, переваривая и ферментируя траву, но все было напрасно. Распад Люзании предотвратило лишь открытие атомной энергии, совершённое, впрочем, бестолково, как и все, что делается в этом государстве. Вот что говорит курдляндский академик. А может, он говорит и еще что-нибудь, но у меня уже не было сил читать дальше. Поскольку больше всего он поносил своего люзанского коллегу по имени Пиривитт Пиритт, не излагая его взглядов, а лишь вешая на него дохлых собак или, вернее, курдлей, я из любопытства разыскал небольшую книжку этого люзанца. Она называлась «Мендосфера или этикосфера». Озадаченный, я заглянул в словарь иностранных слов и узнал, что первое слово заглавия восходит к латинскому *mendax* — лжец. В предисловии автор разделялся с курдляндской вер-

сией индустриализации Люзании. Он назвал ее нагромождением зловонных бредней: в империи никогда не разводили никаких пирозавров (в ту эпоху Люзания еще была империей), и курдли никогда не были капиталом, да оно и понятно: разве может быть капиталом то, чего нет? Не было в Люзании и каких-либо попыток заменить жилищное строительство разведением курдлей, частично — как утверждала курдляндская сторона — по лицензиям биоинженеров Председателя (курдли-небоскребы), а частично благодаря выкрадыванию курдляндских патентов. Все это, с начала до конца, пропаганда для внутреннего употребления, оглуляющая несчастных курдельников-галерников, которые носа не могут высунуть за брюхо своего великораба, или многопоработителя, ибо именно так следует называть градоходы. В истории Люзании, правда, тоже хватало трудностей и кризисных явлений, но их не понять умам, которые отстали в развитии и награждаются научными званиями по чину, а не по таланту. Пиривитт Пиритт указывал, что курдляндский академик не был даже настоящим доктором, а лишь носил чисто номинальный титул *doctor honoris causa*\*, и собственные ученики прозвали его «доктор курдль». Здесь, по крайней мере, все было ясно. Однако в следующих главах Пиривитт Пиритт полемизировал с люзанскими этификаторами и гедоматиками, и тут я уже мало что мог понять. Он утверждал, что нет иного пути, кроме полной этификации среды обитания, а сторонники частичной этификации, которые предлагают этифицировать только общественные здания и сооружения, не отдают себе отчета в кошмарных последствиях такого решения. То, что во всей Галактике нет ни одной тотально ошущерненной цивилизации, вовсе не аргумент *contra rem*\*\* , ведь *какое-нибудь* общество должно быть первым, то есть идущим в авангарде прогресса, и эта почетная, хотя и нелегкая, участь выпала на долю люзанцев: именно они прокладывают путь млечным братьям по разуму. Далее следовали таблицы, фор-

---

\* почетный доктор (*лат.*).

\*\* против (*лат.*).

мулы, схемы и графики, понятные мне не больше, чем иероглифы.

С неприятным ощущением, что по прочтении книги со столь звучным заглавием я знаю меньше, чем до того, как открыл ее, я стал искать обзоры и руководства, более популярные и притом написанные на Земле, ведь их пишут люди для людей, соплеменников; тут-то я и увяз окончательно, наткнувшись на учебник для аспирантов — историков люзанистики. Это был коллективный труд что-то около двадцати авторов-специалистов, сушая китайская грамота, по крайней мере для человека вроде меня. Я читал и не понимал, что читаю; да и как тут было понять, если на каждой странице пестрели цепочки формул и термины наподобие «счастлителей», «энтропок», «антибитов», ЭВЫДРА (энтропия вычислительно-дискуссионных разумных автоматов), а под многообещающим заголовком «Экспедиции в глубь люзанской науки» помещался совершенно темный для меня текст об организации инспективы в полуживых группах с внекосмическим обеспечением. Впоследствии оказалось, что все это имело вполне реальный смысл, но прежде чем дойти до него, я намучился и разозлился, — в ту ночь я стоял над грудой отброшенных в сторону книг и глядел на длинные ряды еще не тронутых томов с безнадежной злостью, как человек, которому непременно надо вскочить в поезд на полном ходу, но который в то же время хорошо понимает, что может сломать себе шею. Мою руку оттягивал увесистый том «Люзанско-курдландского словаря», и меня подмывало шмякнуть им об пол — это принесло бы мне немалое облегчение, ведь я по натуре холерик; однако я сдержал себя и вместо книги взял стоявшую в углу старенькую вешалку для головных уборов, а затем, как тараном, двинул ею в большой шкаф с документами, зная, что дверцы у него дубовые, а следовательно, прочные. Вешалка, правда, треснула, но я поставил ее так, чтобы сломанное плечико опиралось о стену и ущерб был незаметен. Кто-нибудь скажет, пожалуй, что об этих ночных выходах я мог бы и умолчать, ведь они не лучшим образом свидетельствуют как о моих нервах, так и о моей понятливости. Но

упреки подобного рода неосновательны: любые изгибы путей познания оставляют свой след на его результатах.

Разрушение вешалки подействовало на меня превосходно. Умиротворенный, я вновь приступил к поиску книг для чтения, расхаживая между полками и выбирая то, что попало мне на глаза, хотя и этот метод был не слишком разумным; до меня слишком поздно дошло, что я выбираю книги покрасивее, в особенно изяшных переплетах, а ведь по одежке только встречают. Почти все эти пособия предназначались для опытных люзанистов. Меня охватывало отчаяние: я получил, что хотел, — пил прямо из источника, сокровищница знаний об Энци была в полном моем распоряжении, а я не знал, что делать с этим богатством. Я даже подумывал, не разбудить ли по телефону советника и не попросить ли у него совета, но устыдился этой мысли; вытерев пот со лба и пыль с запачканных рук, я ринулся в новое наступление. Однако же сбавил тон и выбрал «Введение в эпистемологическую мелиорацию», каким-то образом угадав, что там не будет ни слова о почвоведении и искусственных удобрениях.

Я узнал, что в XX веке Люзанию потряс ужасный кризис, вызванный самозатмением науки. Ученые все чаще приходили к убеждению, что исследуемое явление кем-то где-то наверняка подробно исследовано, неизвестно только, где об этом можно узнать. Число научных дисциплин росло в геометрической прогрессии, и главным дефектом компьютеров — а теперь уже конструировались мегатонные ЭВМ — стал хронический информационный запор. Было подсчитано, что через каких-нибудь пятьдесят лет в университетах останутся лишь компьютеры-сыщики, которые будут рыться в микропроцессорах и мыслисторах всей планеты, чтобы узнать, где, в каком закоулке какой машинной памяти хранятся абсолютно необходимые нам сведения. Восполняя вековые пробелы, бешеными темпами развивалась игнорантика, то есть наука о том, что науке на данный момент неизвестно; до недавнего времени эта проблематика находилась в полном пренебрежении (проблемами, связанными с игнорированием игнорантики, занималась самостоятельная дисцип-

лина, а именно игнорантистика). А ведь тот, кто твердо знает, чего он не знает, уже немало знает о будущем знании, и с этого боку игнорантика смыкалась с футурологией. Путьцы измеряли длину пути, который должен пройти поисковый импульс, чтобы наткнуться на искомую информацию, и длина эта была уже такова, что ценную находку в среднем приходилось ждать полгода, хотя импульс перемещался со скоростью света. Если бы время блужданий по лабиринту накопленных научных богатств росло в прежнем темпе, то следующему поколению специалистов пришлось бы ждать от пятнадцати до шестнадцати лет, прежде чем несущаяся со скоростью света свора сигналов-ишеек успеет составить полную библиографию для задуманного исследования. Но, как говаривал наш Эйнштейн, никто не почешется, пока не свербит; так что сперва появились эксперты по части искатематики, а позже — инсперты. Пришлось создать теорию закрытых открытий (подвергшихся затмению другими открытиями); так возникла Общая Ариаднология (*General Ariadnology*) и началась эпоха Экспедиций В Глубь Науки. Тех, кто планировал эти экспедиции, и называли инспертами. Это чуть-чуть помогло, но ненадолго: инсперты ведь тоже ученые, и они немедленно принялись разрабатывать теорию инспертизы, включая такие ее разделы, как лабиринтика, лабиринтистика (а разница между ними такая же, как между статикой и статистикой), окольная и короткозамыкающаяся лабиринтография, а также лабиринто-лабиринтика. Последняя есть не что иное, как внесосмическая ариаднистика, дисциплина будто бы необычайно увлекательная, поскольку она рассматривает существующую Вселенную как нечто вроде полочки в огромной библиотеке; а то, что такая библиотека не может существовать реально, серьезного значения не имеет, ведь теоретиков не интересуют банальные физические ограничения, которые мир накладывает на Мысленный Инсперимент, то есть на Первое Самоедское Заглубление Познания. «Первое» потому, что эта чудовищная ариаднистика предвидела бесконечный ряд таких заглублений (поиски дан-

ных, поиски данных о поисках данных и так далее, вплоть до множеств бесконечной мощности).

Любопытно, не правда ли? К счастью, у меня были две пачки таблеток от головной боли. Ариаднистика постулировала бесконечномерное неметрическое информационно-энтропийное пространство, и ликование было всеобщим, когда удалось доказать, что это пространство полностью конгруэнтно Господу Богу, который по крайней мере таким образом был постигнут в понятиях логики вместе со своим Всемогущественным Всеведением. И еще стало ясно, что сотворенный мир отделяется от этого квазибожественного пространства наподобие крохотного пузырька и становится по отношению к нему нигдешним, а иначе и быть не может. Весьма неожиданные последствия имела эта окончательная математизация Божественной сущности как системы Всеведения — разумеется, системы совершенно абстрактной, ведь это не было изображение Бога как личности, но топографически совершенное Схождение Его атрибутов. Оказалось к тому же, что это бесконечномерное пространство имеет границы, однако в них не помещается ничего реального, а в особенности Вселенная. Нетрудно догадаться, что ни одна ортодоксальная религия не приняла это доказательство к сведению. Хотя трансфинитное пространство оказалось необычайно интересным объектом научных исследований, они ничем не обогатили эпистемологию, потому что речь тут шла о всеведущей системе, то есть системе, в которой никакую информацию искать не нужно, да и невозможно. (Говоря до наивности просто, всеведение есть одновременно предпосылка и атрибут этого поразительного творения абстрактной мысли, и с реальной Вселенной оно никаких точек соприкосновения не имеет.) Как если бы вы, потеряв у себя дома чайную ложечку, приступили бы к поискам с таким размахом, что создали бы идеальную систему безошибочного отыскания, которая, разумеется, есть не что иное, как система Отыскания Всего На Свете, и потому ничего не может сказать по вопросу о ложечке ввиду его очевидной тривиальности. Найдистика от-

носится к исканистике приблизительно так же, как чистая математика к прикладной. Разделение общей ариаднологии на практическую и абстрактную ухудшило положение, потому что чем более мощным умом обладал ариаднолог, тем больше его интересовали свойства Всенаходящей Системы и тем меньше — банальное копание во внутренностях искусственной планетной памяти, этого захламленного склада знаний. Поэтому кризис науки казался неизлечимым, и все же люзанцы избавились от него, именно избавились, а не преодолели на избранном ими пути; они просто выплеснули из купели воду вместе с ребенком, иначе говоря, им удалось совершенно избавиться от самой науки — во всяком случае, от науки в известной нам форме.

На Энциии уже больше ста лет нет никаких ученых; есть только граждане, которые учатся у преподавателей, а преподаватели эти — даже не усовершенствованные цифровые машины, но шустры. Освоение шустрологии стоило мне шести бессонных ночей; я пришпоривал свой бедный мозг целыми литрами кофе. Шустры — это логические элементы, невидимые невооруженным глазом, потому что размерами они сравнимы с большими молекулами. Изготавливают их другие шустры — методом, напоминающим построение молекул белка в живом организме; но не буду вдаваться в технические подробности. Этот переворот был крайне болезненным для люзанских ученых, и целые ученые советы кончали самоубийством, осознав, что написание магистерских и даже докторских диссертаций не имеет теперь ни малейшего смысла и даже самый умный аспирант или докторант оказывается в положении человека, который пытается каменным тесаком изготовить каменный нож, хотя машины уже производят в тысячу раз лучшие ножи из закаленной стали. Эмпирические науки и опытные исследования, лабораторные и полевые, стали ненужными. Зачем проводить эксперименты реально, если шустринная система может выполнить любой эксперимент *in abstracto*, да еще со скоростью света? Зачем ждать, пока вырастет какая-нибудь дубрава у какого-нибудь ручья, чтобы исследовать ее влияние на микроклимат? То,

что раньше заняло бы сто лет, шустры сделают в мгновение ока. Впрочем, мгновение ока для них чертовски долгое время, ведь это чуть ли не одна десятая секунды, а им хватает одной миллионной. Но и эти ошустренные эксперименты проводили только вначале, как бы по инерции, по привычке, по традиции. Ведь микроклимат исследуют с какой-либо целью, так не проще ли определить эту цель, не заботясь о промежуточных этапах? Этим занимаются целеведы (прежнее название — телеономы). Цель может быть совершенно идиотской: например, чтобы сегодня шел дождь зеленого цвета, а завтра — бледно-лимонного и чтобы оба были с радугой; или чтобы пижама ласковыми прикосновениями убаюкивала вас, а утром будила в назначенный час при помощи деликатного массажа, — и весь производственный цикл, необходимый для изготовления таких пижам или атмосферных осадков, будет тут же автоматически разработан и внедрен. А тот, кому интересно, как это делается, запишется на поливерситет (разумеется, ошустренный), где дидакторы сперва объяснят ему, какие вопросы имеет смысл задавать. так как на глупые вопросы нет умных ответов, и по окончании курса вопросологии он может узнавать обо всем, что его интересует; но это отнюдь не профессия — скорее уж хобби. Вопросы образуют пирамидальную иерархию — или иерархическую пирамиду, не помню точно, — а в ней имеется уровень Тютиквоцитока, он же верхний предел: выше этого уровня ни вопроса, ни ответа понять невозможно, даже если целую жизнь посвятить одному-единственному вопросу, ведь умственные силы с возрастом угасают, а здесь они должны были бы нарастать сто, а то и тысячу лет. Так что любопытствующий умрет раньше, чем толком спросит и толком узнает то, что хотел. Зато из ответов на вопросы, задаваемые ниже барьера Тютиквоцитока, можно извлекать практическую пользу, и тут нет ничего удивительного и ничего нового, ибо, как объясняет дидактор ТИТИПИК 84931109 в пособии для начальных школ, чтобы съесть ржаную лепешку, не обязательно знать ни историю возникновения ржи, ни способы ее выращивания, ни теорию и

практику хлебопечения, а нужно только вонзить зубы в лепешку, и баста.

Итак, наука надела траур по самой себе, что, впрочем, мало трогало люзанскую общественность; та, хотя и была обязана науке расцветом цивилизации, все больше ругала ученых за этот расцвет и наукой была сыта по горло; теперь же, слава богу, никто уже не мог превозноситься над согражданами в качестве докторизованного доцента, и это пришлось весьма по вкусу простому человеку с его демократическими замашками. Разум не сдали в архив, но гордиться им отныне можно было только частным образом, как чистой и без веснушек кожей, которая, как известно, никаких социальных привилегий не дает. Желающие, разумеется, могли заниматься наукой по-старому — то было безвредное увлечение вроде постройки дворцов из спичечных коробков или запуска воздушных змеев. Кажется, и сегодня в Люзании хватает чудаков, которые с энтузиазмом предаются этому ребяческому, в сущности, занятию в тайной надежде открыть что-нибудь такое, что положит конец всей шустронике, — несбыточные мечты бедолаг, которым не довелось родиться в стародавнее время, когда они, наверное, стали бы местными Ньютонами или Дарвинами!

С упразднения традиционной науки и началось в Несокращенных Штатах создание синтетической культуры, или синтуры. Правда, тут мнения историков расходятся. (Историки по-прежнему остаются людьми, то есть, хочу я сказать, энцианами; гуманитарные науки автоматизировать не удалось, и не потому, что они невероятно сложны, напротив: они настолько противоречивы и нелогичны, в них столько произвольных домыслов, составляющих гордость научных течений и школ, что нельзя перепоручить их логическим системам — те реагируют на это информационным запором или аллергической сыпью.) Одни, например Ктоттотц, утверждают, что синтура была создана для протезирования естественной культуры, которую придавило насмерть всеобщее благоденствие; того же мнения придерживается целый ряд синтурологов. Но другие, в частности Тецьюпирр и Квикси-

кокс, считают, что тут дело обстояло так же, как с воздухом и пустотой: шустры проникали всюду, куда могли проникнуть, то есть во все пустые места. Указанные авторы называют это естественным градиентом эволюции искусственной среды обитания; попросту говоря, культура, как и природа, не терпит пустоты; а когда рушились социальные связи, добрые нравы, обычаи, вековые барьеры религиозных и правовых запретов и каждый мог немедленно получить все, что угодно, — одно лишь желание сохраняло смысл: делать ближнему то, что для него неприятно и даже ужасно, поскольку ближний при этом сопротивлялся, а сопротивление — пикантнейшая приправа и главный деликатес там, где обладание любыми благами и услугами утратило всякую ценность. Что легко дается, дешево ценится. Если у тебя восемнадцать костюмов, может, и приятно ежедневно менять их, но от десяти миллионов костюмов одни только хлопоты. Только маленьким детям кажется, что было бы чудно жить на горе из чистого шоколада. Насыщение кончается болью в желудке. Так на вершине всеобщего благоденствия возродилось состояние всеобщей угрозы: что за радость иметь все и наслаждаться этим, если в любую минуту ты можешь получить палкой по голове или очутиться в подвале субъекта, который находит приятность в изошренном, сколько возможно, мучительстве? Шустры отреагировали на эти перемены (ибо полиция подверглась ошустрению очень рано); тогда-то синтура и взяла на себя опекуноско-защитные функции, а затем — патронат над всеми живущими.

Должен признать, что этот вопрос — о корнях синтуры — показался мне самым необычным из всего, о чем я успел прочитать. По-видимому (если судить по историческому опыту люзанцев), когда в среде обитания появляются зачатки разума, когда этот разум пересаживают из голов в машины, а от машин, как некогда от мамонтов и примитивных рептилий, его унаследуют молекулы, и молекулы эти, совершенствуя новые поколения смышленных молекул, преодолеют порог Скварка, то есть плотность их интеллекта настолько превысит плотность человеческого мозга, что в песчинке поместит-

ся умственный потенциал не доцента какого-нибудь, но сотни факультетов вместе с их учеными советами, — тогда уже сам черт не поймет, кто кем управляет: люди шустро или шустры людьми. И речь тут вовсе не о пресловутом бунте машин, не о восстаниях роботов, которыми давным-давно, когда в моде была футурология для масс, пугали нас недоучившиеся журналисты, но о процессе совершенно иного рода и иного значения. Шустры «бунтуют» в точности так же, как растущая в поле пшеница или микробы на агаровой пленке. Они не только исправно делают, что им поручено, но к тому же делают это все лучше и лучше, а в конце концов — так изумительно, как никому не пришло бы в голову поначалу. Давно известно, что точный план человека, а заодно и строительной фирмы, которая осуществит этот план, содержится в невидимой глазу головке сперматозоида, однако же никто не помыслил, что оттуда можно извлечь промышленную лицензию для молекуляризации разума, — хотя каждый выпускник школы вроде бы знает, что его мозг, прежде чем появиться на свет, целиком умещался в невообразимо малой частичке отцовского сперматоцита. А это ведь значило, что когда-нибудь подобная технология будет применяться на промышленном уровне — в таком же массовом масштабе, в каком ядра производят миллиарды и миллиарды живчиков, без всякого надзора, планирования, без фабрик, конструкторских бюро, без рабочих и инженеров. И уж тем более никто не верил, что какие-то шустры получают превосходство над людьми — не угрозами и не силой, но так, как ученый совет, состоящий из дважды профессоров, превосходит мальчика в коротких штанишках. Ему не понять их коллективной мудрости, как бы он ни старался. И даже если он принц и может приказывать совету, а совет добросовестно исполняет его капризы, все равно результаты разойдутся с его ребяческими ожиданиями — например, захоти он летать. Разумеется, он будет летать, но не по-сказочному, как он, несомненно, себе представлял, не на ковре-самолете, но на чем-нибудь вроде аэроплана, воздушного шара или ракеты, поскольку даже наивысшая мудрость в силах осуществить только то, что возможно в ре-

альном мире. И хотя мечты этого сопляка исполнятся, их исполнение каждый раз будет для него неожиданностью. Возможно, в конце концов мудрецам удалось бы растолковать ему, почему они шли к цели не тем путем, который он им указал, ведь малыш подрастет и сможет у них учиться; но среда обитания, которая умнее своих обитателей, не может разъяснить им то, чего они не поймут, ведь они — скажем наконец прямо — безнадежно глупы для этого.

Эти отдаленные последствия развития цифроники, венцом которой стала шустроника, крайне болезненно бьют по самолюбию разумных существ. Что делать! Чего хотели, того и дождались. Но не того, чего по наивности опасались, — непослушания, бунта стальных чудовищ, одичавших и охочих до власти компьютеранов и ужасных компютерищ, взявших людей в ежовые рукавицы, — а всего лишь молекулярного экстракта разума, перемещенного из головы в окружающую среду и тысячекратно усиленного по дороге, разума, который ведет себя точно так же, как пшеничное поле или сперматозоиды. Он не является индивидуальностью, и если возникшие в ходе борьбы за существование злаки, амёбы или кошки заботятся о самосохранении, то есть о себе, а людям служат лишь косвенно: пшеница — в качестве пищи, кошки — для развлечения, то ошустренная среда обитания заботится прежде всего о людях, а о себе — в минимальной степени, ведь если бы она вовсе о себе не заботилась, то вскоре перестала бы существовать, просто распалась бы.

Можно ли управлять эволюцией шустров? Конечно, можно, но не по чистому произволу, не как в голову взбредет. Можно выращивать разные сорта пшеницы, яровой или озимой, но нельзя сделать так, чтобы из колосьев сыпались дыни. А с шустрами возникает еще одна трудность: их эволюция зависит от мипров (микропрограммирующих устройств), а мипры от кодокодов (когерентно дозируемых кодов), а кодокоды не помню уж от чего. Однажды запущенный процесс в какой-то, не известной заранее степени развивается самостоятельно, словно везущая седока упряжка лошадей, которые слушаются вожжей и кнута и не показывают свой норов, но

мчатся они все быстрее по все менее и менее знакомой нам местности, — с той только разницей, что коней все-таки можно поворотить, а цивилизацию вряд ли.

То есть в принципе можно, конечно — и люзанцы могли бы, — отказаться от шустров, вернуться к природной среде обитания, но это стало бы для них катастрофой, размеры которой невозможно предугадать, катастрофой более страшной, чем если бы на Земле взорвали все электростанции, сожгли библиотеки, разогнали инженеров, ученых и медиков, — стоит ли описывать последствия такого возврата к Природе?

Днем я спал, а ночи просиживал в архивах МИДа. Я там совсем неплохо устроился. В письменном столе я держал кофеварку, сахар, мыло, полотенце, чашку, только ложечка куда-то запропастилась, так что кофе приходилось мешать ручкой зубной щетки, — я все время забывал принести другую ложечку, бомбардируемый множеством фактов, которые даже не пробовал упорядочить; но я заметил, что об энцианских высоких материях уже кое-что знаю, зато о более обычных вещах не знаю почти ничего, а все потому, что люзанские источники противоречили курдлярским и наоборот. Я сидел в самом центре большого города, но чувствовал себя Робинзоном на необитаемом острове. Два дня я изучал анатомию и мифологию курдля. У него огромные плавательные мешки по обеим сторонам легких, и тот, кем курдль подавится, может в них очутиться. Там будто бы хватает места для трех десятков дюжих молодцов с каждого боку. Говорят, когда-то курдлей дрессировали и использовали в военном деле, наподобие боевых слонов. Некоторые члацкие племена считали вулканы безногими курдлями; возможно, отсюда и пошли легенды о пирозаврах — ведь вулканы дымят. Любопытно, что даже в учебниках анатомии то и дело попадались дифирамбы Председателю, и тут же — диатрибы против люзанцев. Мифология была интереснее. Нашему Святому Граалю соответствовал Святой Курдль, а первые космогонии члаков исходили из того, что космос устроен по образу и подобию суперкурдля, или супердля. Верховный жрец, возносивший к нему молитвы, имел сан курдинала. Много там было

и непонятого. Паладинов, отправлявшихся на поиски Святого Курдля, называли желудочниками. Не искали же они курдля, сидя в его желудке? Впрочем, стоит ли подходить к мифологическому мышлению с обычными мерками? Я наткнулся даже на кучу рецептов приготовления жареного горыныча, или жарыныча. А между тем никаких горынычей почти наверняка не было. Или тут мы имеем дело с метафизикой пресуществления?

Корешки уже просмотренных книг я помечал мелом, чтобы не возвращаться к ним. Мне и без того казалось, что я увязаю во всевозможных глупостях и мелочах. Длинные ноги болотных чудовищ половинники называли не конечностями, а бесконечностями. Некогда существовала секта каудитов, или хвостистов, которые измеряли длину хвоста курдля и предсказывали по ней, насколько удачной будет охота. Что-то от этой традиции сохранилось, коль скоро по сей день присваивается ученое звание доктора *honoris cauda*\*. Но в конце концов это могла быть просто опечатка. Председатель, как утверждают его апологеты, сташил курдля с небес на землю, разбожествил его и сделал доступным каждому. Поскольку вулканы считались безногими курдлями, вырывание ног означало причисление к лику блаженных. Вот и пойми это, кто может. Люзанские агенты, переодетые в члаков (так называемые лжеполовинники), будто бы прокрадываются в населенных курдлей. Таковым вероломцам иногда удается спровоцировать беспорядки среди ссыльных, водворенных в задние области градозавра (задопоселенцев); это элемент ненадежный и ретроградный, по причине своего местожительства. Особенно темен вопрос о бешенстве курдлей: люзанцы объясняли его политическими волнениями, а курдляндские официальные источники — саботажем. Я долго не мог разобраться в этой сумятице, ибо не знал политической доктрины члаков, а не знал я ее потому, что какой-то болван-библиотекарь поместил весь раздел «Нациомобилизм» вместе с «Ав-

---

\* в уважение хвоста (по аналогии с *honoris causa* — «в уважение заслуг») (*лат.*).

томобилизмом» — в рубрику «Городской транспорт и Коммуникации»; я же искал ее под рубриками «Доктрины Политические», «Политические Доктрины», «Идеологии» и так далее. На нужную полку я наткнулся совершенно случайно, когда мне понадобился тяжелый и толстый том в качестве пресса: дело в том, что для удобства я иногда снимал брюки и при этом заметил, что они сильно помяты, а ходить в министерство с утюгом и гладильной доской было как-то не с руки.

Отнюдь не Председатель предложил идею нациомобилизма, или державоходственности, но общественный деятель XVIII столетия Ксарбаргсар, который описал идеальное государство как Всеобщее Переплетение Счастливецев, сокращенно ВПС (этот мыслитель имел несносную привычку сокращать предложенные им термины, так что в конце концов пришлось взять листок бумаги, чтобы записывать все эти сокращения, иначе просто голова кругом шла). Практическим осуществлением своей теории Ксарбаргсар интересовался очень мало, захваченный благостными видениями Рая на Энци, и лишь его двоюродный брат Гагагакс открыл тождество идеального государства с идеальным курдлем. В двух словах эта идея заключалась в синтезе противоположностей — Натуры и Культуры; члак создан силами Природы и лишь на ее лоне может быть по-настоящему счастлив; однако культура тоже необходима ему, в противном случае он мало чем отличается от животного. А курдль, будучи животным, вне всякого сомнения, есть неотъемлемая часть Природы, и надо только его окультурить, то есть заселить, преобразить его грубую Животность, не меняя его сути. Думаю, что я верно излагаю мысли этих двух выдающихся родственников, у которых позаимствовал свою основополагающую идею Председатель. Снаружи природный, внутри благородный или облагороженный, курдль должен был стать основной ячейкой государства. При этом можно было опереться на давние традиции — обряды, легенды и мифы, связанные со смегами и члаками, с их ноевым ковчегом и так далее. Основоположники нациомобилизма поставили дело на более реальную почву, перевернув курдля с ног на голову, вернее, не самого

курдля, а отношения между ним и члаком. Прежде курдль был высшим существом, а члаки чтили его как бога; поэтому следовало его разбожествить, дабы отныне он сам служил члакам. Результатом внедрения этой идеи в жизнь как раз и стали градозавры, мокрополисы, топартаменты, градбища (пастбища для градоходов) и так далее. Появились также, как это обычно бывает, когда возвышенная идея соприкасается с шершавой реальностью, различные сложности, не предусмотренные отцами нациомобилизма, вплоть до поносов и прочих недугов градоходов, — и полки целого библиотечного зала сгибались под тяжестью томов, посвященных анализу имманентных и акцидентных изъянов державохождения. Трудов этих было столько, что у меня ныла спина и трещал позвоночник от одного только таскания их вверх-вниз по библиотечной лесенке. Тем не менее, твердо следуя своему решению исследовать все до конца, я продолжал читать.

Теоретические построения поражали своей тонкостью и замысловатостью, однако, хотя я ни разу не наткнулся на это слово, я все сильнее ощущал, что жить в курдле было *неудобно*. Курдляндские теоретики говорили о временных трудностях, связанных с недостаточной вентиляцией, о неудовлетворительном качестве фильтров и смрадоуловителей, о заболеваниях позвоночника, вызванных необходимостью жить на корточках (в курдле трудно выпрямиться в полный рост, особенно на низших должностях); но о том, чтобы просто покинуть населенные внутренности, никто даже не заикнулся. Это, должен сказать, немало меня удивляло: какая такая абсолютная необходимость заставляла их так мытарствовать? Ответы на этот неизбежный вопрос лились сущим дождем: говорилось о синтезе природы и культуры, о гармонизации этих противостоящих друг другу начал и ориентаций, и, вздумай я изложить лишь главнейшие аргументы поборников державоходственности, бумаги бы не хватило. Возможно, думал я, они настолько привыкли, что иначе не могут; с другой стороны, привычка как-то не вяжется со столь неутомимым пропагандистским напором.

Решив наконец, что эта инопланетная загадка мне не по зубам, я отказался от дальнейшего чтения в зале классиков курдлизма. Председателю был отведен весь следующий зал, но я только раз заглянул туда и немедленно дал отбой. Имелся еще третий зал — так называемых отщепенцев, или ересиархов курдлизма; главным из них был казненный за свои убеждения мудрец, имени которого ортодоксы не называли, а именовали его либо Мерзейший Матец, либо Матейший Мерзец. Я пролистал его основной труд в разделе запрещенной литературы и благодаря этому узнал две вещи. Во-первых, имя этого отщепенца не поддавалось транскрипции ни на один из земных языков, поэтому в каталогах он фигурировал как Kinderlos, Sansenfants, или Бездетник, что будто бы передавало *смысл* его курдляндского прозвища. Во-вторых, в ереси, которую он проповедовал, я не смог усмотреть ничего ужасного и даже особенно оригинального. Просто он предлагал ночью спать в курdle, а днем выходить наружу, занимаясь кто чем хочет, и именно это до глубины души возмутило правоверных курдлистов. Хоть убейте, не знаю, почему эта банальная мысль привела их в такой ужас.

Продвигаясь вдоль полки, я добрался до книжек для школьного чтения. В них содержались нравоучительные истории о том, как в стародавние времена лжеполовинники, то есть люзанские агенты, чтобы обмануть праполовинников в их градоходах, распускали клеветнические измышления и вели подрывные беседы; например, они пропагандировали наоборотничество, то есть предлагали перевернуть курдлю так, чтобы хвост оказался на месте головы, и наоборот. Они рассчитывали, что если им удастся подбить на это курдлелюбивых поселян, то начнутся хаос и смута, а тогда они призовут подлых своих соплеменников, дабы общими силами навалиться на дезориентированный градоход. Выгнав законных жильцов на верную смерть под градом метеоритов (ибо все это происходило в эпоху смегов), люзанцы заняли бы их место, расположившись поудобнее в реквизированном курdle. Но всегда находился герой, который пресекал эти гнусные замыслы в зародыше. Особенно запала мне в память история

о храбром мальчишке, который в одиночку справился с целой бандой мерзавцев; он бесстрашно забрался в горло курдля и стал шекотать его в нёбо, пока тот наконец не обрушил на затаившихся чужаков желудочный потоп. Детские книжки призывали детвору проявлять бдительность и выслеживать вагантов-провокантов, которые норовят отбить сонного или задумавшегося курдля от стада, а также используют пожарные лестницы в поисках его шекотливых мест, чтобы, подвергая великана непрерывной шекотке, довести его до бурных внутренних потрясений.

Впрочем, у люзанских специалистов по школьному образованию я прочитал, что причины внутрикурдельных потрясений вовсе не политические. Изверг — это не курдль, вывернутый наизнанку саботажниками, но градоход, обитатели которого повально гонят самогон и, по пьяному делу, до тех пор отравляют несчастное животное, пока оно не дойдет до белой горячки и не начнет бросаться на прочих курдлей. Ибо пьянство — сущее социальное бедствие Курдландии, о чем, однако же, книжки для школьников умалчивают. В самих курдлях будто бы ходят по рукам листовки, в которых утверждается, что градоходы грызутся между собой из-за корма, а старнаки вместе со своими семьями и протеже учиняют тайные оргии, отплясывая вовсю внутри несчастных, падающих с ног престарелых курдлей, и не одного из них затанцевали уже насмерть. Этот запрещенный официально танец называется курдаш. Источником подобного рода сенсаций обычно являются задопоселенцы, и именно на них ссылаются люзанские курдлисты из Института Теории Государства, утверждая, что члаки — всего лишь паразиты курдлей и о каком-либо симбиозе первых со вторыми речи быть не может. От бродяжничества праполовинники перешли к перипатетизму, от перипатетизма к препаразитизму, а от него к обычным формам тунеядства. Как ни странно, люзанские эксперты расходятся по вопросу о том, живы курдли или мертвы. По мнению некоторых, тут случилась история, подобная той, что описана у барона Мюнхгаузена, когда волк вскочил на запряженную в сани лошадь, вгрызся в нее сзади, проел насквозь,

сам оказался в упряжи и помчался по дороге уже в качестве тягловой силы. Именно так будто бы поступили члаки с курдлями. От гигантов, понемногу выеденных изнутри, осталось всего ничего, самое большее — скелет и огромная шкура с бронированными позвоночными дисками, и активисты попеременно приводят в движение этого трухляка, а проще сказать — этот труп, о чем, однако, упоминать запрещено, чтобы не огорчать Председателя. Председатель твердо верит в превосходное здоровье и юношескую резвость градозавров, тем более что сам он живет не в курdle, а в совершенно обычной резиденции, окруженной прекрасным парком, и о внутреннем положении в курдлях узнает из правительственной прессы.

Впрочем, люзанский психосоциолог Тюрртиркарр полагает, что идея нациомобилизма жива, хотя курдли сдохли, ибо вера, как известно, горами движет, а трупами и подавно. Нациомобилизм, конечно, обман, но курдल्याндцы принимают его на ура, и ничего удивительного. Ведь они залезли в этих тварей, спасаясь от смега, в целях самосохранения, без всякой идеологии, и такое подчиненное положение их угнетало. Попросту говоря, противно им было так жить, особенно если учесть, что паразитизм никем на Энциии не одобряется. Кому на Земле придет в голову утверждать, что образ жизни блох или солитеров есть высшая форма социализации? И вот благодаря Председателю, который слил воедино теорию идеального курддя и дедовские предания, а также искаженные до неузнаваемости эпизоды члацкой истории и эволюции, члаки наконец ощутили чувство законной гордости, ведь в его трудах особо подчеркивалось, что новый образ их жизни, самоотверженный и возвышенный, ведет напрямиком к светлому будущему.

Таково мнение сторонников крайней концепции — мумификационной, или трупохожденческой. Однако нет недостатка в авторах, которые держатся более умеренных взглядов. Они указывают, что время от времени градозавры валяются на-земь как подкошенные, чего гипотеза трупохождения не объясняет. Значит, они таки живы, хотя, может быть, еле

дышат, а впрочем, иногда и рыкают — на так называемых рёвонстрациях, или народных рычаниях, приуроченных к государственному празднику. Что касается их общественного строя, то он феодально-кастовый в анатомическом смысле. Положение гражданина определяется местом, которое выделено для него в курdle. К сожалению, имеются еще и другие точки зрения, но я не в силах изложить их все; да и все равно невозможно было оценить истинность ни одной из них. Я уже хотел распрощаться с этим разделом библиотеки, как вдруг наткнулся на груды брошюр и газет, сваленных в углу между двумя шкапами. Похоже, они были списаны и предназначены к вывозу на свалку. Тут я призадумался по-настоящему: все они, хотя и были люзанского происхождения, расточали дифирамбы национализму. Чихая от пыли, я все же уселся над этой кипой, переходя от репортажей к стихотворениям, поэмам и драмам, воспевающим радости жизни в градо-заврах, где все друг дружку знают, где нет никакого отчуждения, разъединения и шустринного наблюдения, где все зовут друг друга по имени и сердце каждого бьется в унисон с сердцем этого доброго, изумительного существа, которое, узнав ближе вкусы своих жильцов, выбирает на пастбищах их любимые травы и ягоды. В этой груды я отыскал подшивки журналов «Чары курдлы» и «В курдельной тиши», песенник, из которого мне запомнилась песня «Эх, живоглотик, живоглот», а также либретто оперы «Курделио». Правда, попадались и брошюры противоположного толка, в которых брюхо курдлы уподоблялось геенне; в одном памфлете утверждалось даже, что миллион лет назад на Энции высадились некие праастронавты и поселили на загряззях парочку пирозавров, а та наплодила целые зловонные стада, и все это, чтобы сбить Энцию с благопристойного пути развития. Диверсия, к сожалению, удалась: гадкие монстры поглотили не только члаков, но и люзанцев, во всяком случае, духовно, коль скоро их головы забиты проблемой курдлы, то бишь скурдления как спасения.

Отсюда можно было заключить, что на Энции нет других забот, кроме одной-единственной: «Быть или не быть в кур-

дле». Но я решил распрощаться с курдлистикой, и к тому же надолго. Меня ожидали не тронутые доселе ряды шкафов со стройными шеренгами книг, трактующих о более возвышенных и сложных материях. Когда я переступил порог первого зала и книжное собрание люзанистики глянуло на меня бесчисленными рядами своих корешков, ноги подо мной подогнулись. *Nec Hercules contra plures\**, мелькнуло у меня в голове, но я тут же добавил: *Sursum corda\*\**. С этой мыслью я ринулся один против Энциии — против громоздящихся друг на друга, словно геологические слои, духовных отложений чужого мира.

\* \* \*

Никогда относительность красоты не проявляется столь разительным образом, как при встрече двух различных планетных рас. Профессор Шимпанзер в своей «Сравнительной энтропологии» цитирует отчет для служебного пользования, который представили своим властям энцианские монстроведы, изучившие множество земных телепередач. Особенно поразили их конкурсы на звание «Мисс Вселенная». Воплощением зла люди считают земную гравитацию, причем борьба с нею возлагается на строго определенные части тела. По непонятным причинам женщины обязаны выказывать свое участие в этой борьбе постоянно, а мужчины лишь время от времени. По-видимому, осознание такого неравноправия вызывает протесты самок гомо сапиенс, именуемые движением за женскую эмансипацию. Его участницы демонстративно отказываются носить под одеждой специальную упряжь (хомуты), которая противодействует гравитационному опаданию млекопитающих отростков, символизирующих жизненную активность. Борьба бюстов с силой тяготения неизменно заканчивается их поражением, о чем людям должно быть известно заранее, поскольку с возрастом натяжение кожных тканей ослабевает. Тем не менее самцы отказывают потерпев-

---

\* И Геркулес бессилён против множества (врагов) (лат.).

\*\* Возвысимся духом (лат.).

шим поражение самкам хотя бы в частице того обожания, которым они окружали их, пока видимость независимости от гравитации сохранялась. Несправедливость этого кодекса поведения тем более поразительна, что, как уже говорилось, самцы лишь иногда обязаны демонстрировать подобную суверенность, да и то в течение очень недолгого времени. Откуда взялся этот обычай, установить не удалось. Скорее всего он имеет религиозное (метафизическое) обоснование, хотя тут все земные верования словно воды в рот набрали, что свидетельствует о крипторелигиозном характере борьбы вышеуказанных частей организма с силой земного притяжения. Разгадать эту загадку мешает многофункциональность органов, отряженных на противогравитационную борьбу, поскольку вследствие единственного в своем роде, невиданного в целой Галактике срастания выделительных и родительных органов у земных млекопитов никогда до конца не ясно, в каком именно качестве активизируются данные органы, будь то частным или публичным образом. Биологические пертурбации, доведшие анатомию человека до столь плачевного состояния, безусловно, находят свое искаженное отражение в его культуре и верованиях. Во всяком случае, отождествление *зла с землей* не подлежит сомнению; поддаться гравитации окончательно — значит свалиться в яму, именуемую гробовой, поэтому умерших зарывают в землю. В этой области обязательны особые ритуалы коллективного самообмана: хотя земляне, вне всякого сомнения, знают о разложении трупов, этому противоречат все многосложные действия, сопутствующие укрытию умершего от чужих взглядов (для этого употребляются футляры из одеревенелых материалов, а чтобы труднее было установить, что происходит с телами, преданными земле, место захоронения прикрывают массивными конструкциями из камня, гранита и других магматических горных пород).

Такими видят нас энциане, говорит профессор Шимпанзер, и тут ничего не поделаешь, ведь им приходится судить о нас, как слепому о красках. Им недоступны понятия, связанные с эротикой, ее духовной и чувственной стороной, по-

сколько природа устроила их размножение на совершенно отличный от земного манер. Они не имеют внешних половых органов, не спариваются, и даже понятие семьи не предполагает у них биологического родства: оплодотворение женской яйцеклетки совершается путем полимиксии, или, говоря менее ученым языком, при участии по крайней мере двух самцов. Чтобы понять, как до этого дошло, следует обратиться к самому началу эволюции жизни на Энциии, и профессор Гораций Гориллес, к фундаментальной монографии которого «Вегетативная прокреация» отсылает профессор Шимпанзер (он постоянно цитирует Гориллеса, отдавая ему предпочтение перед другими энциологами), наглядно обрисовал этот необычный для нас способ размножения.

Три миллиарда лет назад Энциия выглядела в космическом пространстве как бледно-салатный диск. Но не зеленватые тучи закрывали ее поверхность, а триллионы насекомых, каждое из которых было гораздо меньше комара. Насекомые эти, получившие название зеленушек (*Gorilles Viridans Ohrentangi L*), благодаря своей способности к фотосинтезу выполняли функции земных водорослей. Паря на границе стратосферы, за миллиарды лет они насытили атмосферу кислородом. Тамошные пастбища, образно выражаясь, реяли в небесах, поэтому туда же устремилась эволюция высших видов животных. Начиная с первых рептилий и пресмыкающихся, пошли летающие виды, аналог наших травоядных, и чем лучше они летали, тем успешнее пользовались неисчислимыми запасами пищи в зеленых живых облаках Энциии. Покрытосеменные растения не появились здесь вовсе, а болотные вместо хлорофилла содержат неизвестный на Земле дыхательный пигмент, который разлагает сульфиды и сульфаты, обильно смываемые с вулканических плоскогорий в грязеан. Животные, приспособившиеся к сульфидной пище, оказались прикованы к трясинным пастбищам, в том числе самые крупные из них — курдли. У них было множество паразитов и симбионтов «небесного», как выражается профессор Гориллес, происхождения, так как многочисленные виды зеленушек, утрачивая зеленый пигмент, а вместе с ним нередко и крылыш-

ки, переходили на мясную пищу, сопровождая крупные стада рептилий и прочих земноводных, обитающих на загрязнях. Перспективы развития жизни, как объясняет доктор Ахиллес Павиани (на которого ссылается Гориллес), определяются кормовой пирамидой в целом, то есть тем, кто кого на данной планете ест и кем, в свою очередь, поедает. Сульфидными растениями (*Sulphuroidea Ohrentangi*) питались пролазы, ползучки и другие болотистые вместе с курдлями; а сами они служили пищей хищникам — быстрым, проворным, по большей части прыгающим и потому двуногим (весьма похожим на двуногих кенгуруобразных ящеров юрского периода). Такие гиганты, как курдли, пытались скрыться от хищников, ныряя в болотную жижу, а все остальное убегало от клыков и когтей стремительных выгрызов, загрызов и перегрызов, как их называет Авраам Гиббон в своей «*Historia naturalis praedatorum Entianum*»\*.

Шимпанзер, Гориллес и Гиббон без оговорок принимают утверждение энцианских биологов, что, как это ни огорчительно, приматы всегда и везде обязаны своим разумом прохождению через стадию хищничества. Дело в том, что для травоядных существует лишь настоящее время, потому что жратва у них прямо под носом, зато хищники по природе вещей устремлены в будущее, ведь им приходится выжидать добычу, подстергать ее, выслеживать, подкрадываться, преследовать, разгадывать все ее увертки, и это развивает сообразительность тем больше, чем смысленее добыча. Разум существует только в потенции, он словно спит, пока добычи хватает; но если ее мало, наступает кризис, и тот, у кого в голове пусто, погибает голодной смертью.

А условия жизни на Энциии были исключительно тяжелы и опасны: в вулканические эпохи теплое плоскогорье становилось зоной смерти, вдобавок планета подвергалась страшным лучевым ударам Новых звезд, которые часто вспыхивали в скоплении Тельца, вызывая массовую гибель животных и атмосферных зеленушек, но вместе с тем ускоряя эволю-

---

\* Естественная история энцианских хищников (*лат.*).

цию выживших видов — благодаря мутациям. Выглядело это так, говорит профессор Павиани, словно кто-то молотил цепами в амбаре, полном мышей; ясно, что спасутся лишь самые смысленные и самые быстрые. Нашим биологам казалось, объясняет профессор Шимпанзер, что решающую роль в антропогенезе сыграло прохождение через арбореальную (древесную) стадию, или, как ехидничают некоторые, обезьянизация и дезобезьянизация некоторых примитивных видов, которые сперва позалезали на деревья, где приобрели цепкость рук, прямую осанку и зоркий взгляд, потому что иначе не перескочишь с ветки на ветку, а затем, когда из-за оледенения леса вымерзли, им пришлось спуститься с деревьев на землю и приняться за поиски пищи, которая не ждет безропотно, пока ее слопают, как яблоко или банан. Но прохождение через стадию хищничества важнее, чем прохождение через арбореальную стадию; кто влез на дерево круглым идиотом, не поумнеет, спустившись на землю. На Энциии лесов не было — некуда было взбираться, так что приматы произошли там от крупных пернатых. А случилось так потому, указывает доктор Шимпанзон (не путать с доктором Шимпанзером!), что крупные энцианские пернатые обладали исключительно большим для пернатых мозгом. А это, в свою очередь, объясняется тем, что зеленушки, которые дышат не как животные, а как растения, могут подниматься очень высоко — в стратосферу, где уже не хватает кислорода для легочников; поэтому питающиеся ими птицы буквально задыхались, взлетая за летучим кормом, а так как от кислородного голодания первыми гибнут нервные клетки мозга, естественный отбор приводил к увеличению числа этих клеток: если их было очень много, птица могла выжить даже тогда, когда часть мозга отмирала. (Мозговые клетки, как известно, не восстанавливаются.)

Таким образом, масса мозга энцианских пернатых росла «избыточно», и в этом избытке позднейшие события высекли — спустя миллионы лет — искру разума. Но случилось это, когда пернатые уже перестали летать и в качестве крупных двуногих нелетов занялись охотой на болотистых низменно-

стях. Вот почему энцианин похож на человека лишь до тех пор, пока стоит неподвижно; когда же он начинает двигаться, видно, что ноги он переставляет, как страус — они сгибаются в коленях назад, — а голову может повернуть на 180°; грудь у него бочкообразная, кости рук — большие и полые, а на скелете остались следы в том месте, где прикреплялись мышцы крыла. Глаза у него круглые, лицо крайне для нас неприятное, так как вместо носа и рта посредине лица у него угловатый бугор с широко расставленными ноздрями (впрочем, это вовсе не ноздри, но выходные каналы половых органов); а его живот и лоно гладкие, как у куклы: не будучи живородящим млекопитающим, он не имеет ни пупка, ни гениталиев.

Мне не хватило сил до конца продраться через учебники Шимпанзера и Гориллеса; вместо того чтобы ясно сказать, что, чем, как, почему и зачем, они заполнили тысячи страниц популяционной генетикой нелетов и праэнциан; к счастью, я обнаружил краткий органологический очерк магистра Стенли Лемура и буду его придерживаться. Правда, Лемур — ученый пониже рангом, чем Орантанг, Шимпанзер, Гориллес и прочие люозанисты, — знает, может быть, несколько меньше, но мне этого было совершенно достаточно. Он говорит, что все высшие животные Энции размножаются как растения, но не совсем, потому что делают они это на бегу. И притом на полной скорости. Тем не менее этот способ размножения следует назвать растительным, мужественно настаивает С. Лемур, хотя оппоненты ругают его на чем свет стоит за слишком упрощенный подход. Энцианские пернатые не откладывают яиц. Кажется, самые древние археоптериксы откладывали, но для бегунов-нелетов, преодолевающих ежедневно несколько десятков миль в погоне за пищей, яйцеродность была бы пагубной помехой. Эмбрионы, похожие скорее на губки, чем на яйца, самка носит под брюхом в складках кожи, отчасти напоминающей сумку кенгуру. Это еще как-то соотносится с земными условиями. Однако сам акт оплодотворения не имеет аналогов на Земле. Самка оп-

лодотворяется посредством *orificia oviductales\**, располагающихся над ротовым отверстием, а самцы вместо коллоидного семени вырабатывают летучую пыльцу, которую они выбрасывают через аналогичные отверстия, настигнув самку во время брачного бега. Шимпанзер не согласен тут с Орентангом, а тот с Гориллесом. Игнорируя их споры, Лемур заявляет, что виной всему было бедственное положение, в котором некогда очутились животные на Энциии. Оно продиктовало им определенное анатомическое устройство прежде, чем появилась возможность дальнейшей дифференциации. Иначе говоря, этот половой и в то же время некопуляционный способ размножения гораздо примитивнее земного.

Я, однако, должен честно признать, что излагаю точку зрения исследователей — людей, которые происходят от обезьян и потому считают, что чем ближе родство разумных существ с пресмыкающимися (а пернатые восходят к ним по прямой линии), тем меньше это делает им чести. Энциане придерживаются прямо противоположных взглядов. Примитивизм, и притом самого худшего сорта, утверждают они, проявляется там, где дефекацию от прокреации отделяют какие-нибудь миллиметры, а то и меньше. Этот способ остается нейтральным с нравственной точки зрения до тех пор, пока еще нет нравственности, то есть пока поведением животных управляет слепой инстинкт. Однако же этот экономичный способ сочетания в одном месте и в одном канале столь диаметрально противоположных функций, как удаление из организма нечистот и занятия любовью, должен был стать проклятием создающего культуру разума. Поскольку любое живое существо избегает собственных выделений, это всеобщее отвращение надлежало как-то преодолеть, и эволюция воспользовалась приемом столь же простым, сколь и циничным, превратив места *naturaliter\*\** омерзительные в притягательные — благодаря таящемуся в них наслаждению. Эти несчаст-

---

\* яйцеводные отверстия (*лат.*).

\*\* по природе (*лат.*).

ные, безгранично наивные люди, заявил энцианский людист Пиксикикс, целые столетия ломают головы над тем, почему копуляция доставляет их самкам чувственное наслаждение, тогда как у низших животных ничего подобного не наблюдается. Поразительно, добавляет этот постпернатый мудрец, что разумное существо может обманывать себя так долго и так успешно, как бедные земляне! Того, кто спаривается нереклексивно, не нужно заманивать посулами удовольствий, преодолевающих отвращение. Улитка, жаба, жираф или бык ничегошеньки себе не думают, когда наступает период течки; но, чтобы подавить какое-либо мышление у тех, кто не только может, но и должен пользоваться разумом, необходимо затуманить их мозг автонаркозом, и именно эту роль играет оргазм. Помрачающий сознание спазм быстро проходит, и ясность мышления возвращается. Бедные, невинные жертвы эволюции, обманутые ею! — восклицает в этом месте своей «Сравнительной гомологии» доктор Пиксикикс. Вся Галактика должна сочувствовать вашим тщетным душевным борениям, от которых вы не избавились по сей день и не избавитесь никогда, ибо с таким уродством уже ничего не поделаешь.

Добавлю, кстати, что в разделе люзанской поэзии я нашел несколько поэм, оплакивающих наше сексуальное увечье, которое особенно сильно сказалось на земной философии и религии, заставив их отчаянно изворачиваться. Немалое впечатление произвел на меня «Неморальный трактат» Хетта Титта Ксюррксирукса, начинающийся следующими строфами:

Земляне — выродки Природы.  
В любви у них имеет вес  
То место, где исход находит  
Метаболический процесс.

Узнав, где ищут идеал  
Сии злосчастные страдалцы.  
По всей Вселенной стар и мал  
В отчаяньи ломали пальцы.

Это перевод — по-моему, совсем неплохой — швейцарского поэта Руди Вюэца. Известный теоретик литературы, структуралист Теодорофф, считает, однако, перевод второй строфы неудачным и предлагает свой вариант:

Узнав, к какому пункту тела  
Землян привязан идеал,  
Все содрогнулись. Космос целый,  
Рыдая, щупальца ломал.

Тот же ученый обращает внимание на многочисленные апокрифы, сочиненные на Земле и безосновательно приписываемые энцианам, что видно из используемых в них лирических реквизитов вроде пчелок и мотыльков, между тем как на Энциии ничего подобного нет\*.

Вернемся, однако, к естественно-научным предметам. Выжить на болотах было так трудно, что их обитатели носились без передышки — и во время охоты, и во время размножения. В брачный период нелеты начинают ритуальные танцы, после чего самки отделяются от стада, разбегаясь в разные стороны, а толпы самцов гонятся за ними, догнав же, окружают беглянок клубами оплодотворяющей пыльцы, которую самки втягивают на бегу ноздрями. Нетрудно понять, что отцовство при таких обстоятельствах установить нельзя, даже если бы оплодотворение было возможно без полимиксии (называемой также полиопылением). Однако без полимиксии оно совершенно невозможно, как доказали путем моделирования на компьютерах Опп, Ангутт, Танг, а также их сотрудники из Массачусетского института сексуальной технологии.

---

\* Профессор Теодорофф имел в виду текст песенки якобы люэцанского происхождения:

Свою голубку опыляя,  
Я славлю пчел и мотыльков.  
Но твой обычай не таков,  
Срамная нация людская!  
В экстазе самку обнимая,  
Ужель твой лирик воспет —  
Канал для сброса нечистот? (Примеч. И. Тихого.)

Мне показалось, что выражения инопланетного сострадания задела наших ученых, однако они не могли открыто обнаружить свои чувства или категорически отвергнуть знаки участия, проистекавшего, что там ни говори, из самых лучших побуждений. Поэтому они попытались взять реванш *sine ira et studio\**, подчеркивая, как бы между прочим, крайнее неудобство оплодотворения на полном ходу; но люзанские биологи оказались опытными полемистами и объяснили, что лучшим свидетельством доброго здоровья является, несомненно, способность бегать быстрее и дольше других, поэтому энцианский обычай брачного бега гарантировал и продолжает гарантировать продолжение в потомстве особей, во всех отношениях наиболее приспособленных, чего отнюдь нельзя сказать об актах, совершающихся на травке либо в постели, ведь лечь способен даже последний колченожец. По поводу этого безапелляционного утверждения разгорелся спор, так как не все люзанисты были согласны между собой в переводе последнего выражения; например, профессор Погориллес (не путать с Гориллесом!) правильным считал перевод «последний извращенец». Другие авторы, однако, возражают ему, ссылаясь на отсутствие у энциан понятия об извращениях, особенно сексуальных: на Энциии они просто не могли появиться. Чтобы покончить с этим вопросом, добавлю несколько слов о том, откуда взялась лицевая локализация половых органов у энциан. Она восходит к земноводному или, точнее, грязноводному периоду жизни их древнейших предков миллиард лет назад. Некоторые виды пресмыкающихся пытались нести яйца на земной манер, но яйца эти тонули, поскольку были тяжелее воды (а легче воды они не могли быть ввиду своего химического состава; но если мне придется объяснять еще и это, я никогда не доберусь до конца), и бесславно гибли в болотном иле; в конце концов, после ряда мутаций, видовой адаптации и так далее выжили только сексолицы и спермоносые, которые пускали носом пузыри, содержащие соответственно яйцеклетки с плавниками и про-

---

\* без гнева и пристрастия (*лат.*).

ворное водоплавающее семя. Впоследствии дела шли по-разному, но я не хочу превращать отчет о круге своего женевского чтения в учебник энцианской эволюции. Те, кого интересуют подробности, могут обратиться в Управление Тельца в МИДе с просьбой о допуске к архивам.

Чтение заняло у меня уже пять недель; оставались еще почти два месяца вынужденного пребывания в Швейцарии, но это мне казалось ничем перед лицом еще не исследованных залов огромной библиотеки. Однако я не пал духом, хотя стал настоящим отшельником; днем я спал и просыпался, когда швейцарцы вокруг меня, не без удовольствия уладив суточную порцию своих дел, в шлепанцах направлялись к кроватям. Я же с портфелем, набитым запасами кофе, сахара и тартинок (потому что при одном только виде печенья мне делалось дурно), шагал по опустевшим улицам в МИДе.

Штрюмпfli не давал о себе знать, поэтому я понятия не имел, что он и его начальство незаметно следят за моими упорными занятиями, питая по отношению к моей особе весьма конкретные намерения; будучи истинными дипломатами, они предпочитали не открывать карты раньше времени. Сам не знаю, что бы я сделал, если бы знал об их планах. Впрочем, скорее всего я делал бы то же самое, настолько мне не терпелось узнать всю правду о наших далеких братьях по разуму.

Коренное отличие энцианской культуры от нашей проистекает из коренных различий в способе размножения. На Земле главной его частью была борьба за право покрыть самку, то есть непосредственное соперничество, тогда как на Энции это явление с незапамятных времен носило коллективный характер. Если бы самки бегали заметно медленнее самцов, породы крупных нелетов по прошествии нескольких десятков поколений отяжелели бы и, вероятно, вымерли; поэтому в борьбе за существование победили виды, самки которых были длинноноги и очень резвы. Было также очень важно, чтобы самцы замечали — и притом немедленно, — что оплодотворение или, скорее, опыление совершилось. Окруженная клубами пыльцы, самка издает резкий крик, очень

неприятный для наших ушей, потому что кричит она на вдохе. (Трудно кричать на выдохе во время такого марафонского бега.) Иногда на этой стадии случается так называемый моментальный выкидыш — если оплодотворяемая пылью самка чихнет, почувствовав щекотку в носу. В таком случае самцов продолжает погоню до последнего издыхания — совершенно дословно, потому что самцы послабее действительно падают замертво.

Способность издавать крики-сигналы стала первой стадией зарождения речи. Следует напомнить, что птичья гортань гораздо лучше приспособлена к этому, чем, например, обезьяны; как известно, шимпанзе нельзя научить человеческому языку, тогда как для скворцов или попугаев это проще простого, а ничего интересного услышать от них нельзя потому, что у них мозгов не хватает. От первоначального оперения у энциан не осталось почти ничего — только пух, покрывающий тело, несколько более густой на плечах, там, где когда-то росли маховые перья. Я позволил себе этот экскурс в прошлое, потому что без него нельзя уяснить всю глубину пропасти, разделяющей духовную жизнь людей и энциан. Их бросающаяся в глаза человекообразность есть следствие эволюционной конвергенции; но, несмотря на цепкие ладони, череп, по объему близкий к человеческому, прямую осанку и владение речью, понять их нам едва ли не труднее — как утверждают энцианские ученые, — чем обезьян-приматов, от которых мы исходим. Прежде чем углубляться в их философию и религиозные верования, я назову все то, что для нас привычно, а им непонятно и недоступно. Они не знают и не могут знать всевозможных эротических тонкостей и отклонений, им неведомы такие понятия, как завоевание эротического партнера, верность, измена, моногамия, инцест, сексуальная покорность и протест против нее, им неизвестны какие-либо культуры, ориентированные сексобежно или сексостремительно, — все это у них невозможно.

Немало категорических суждений о земных культурах пришлось нам выслушать от тамошних антропологов. (Наши ученые подобных крайностей избегали.) Земные понятия чис-

того и нечистого, ритуалы очищения и искупления, аскетизм как средство борьбы с чувственностью, как протест против сексуального влечения, анафемы этому влечению и его превознесение до небес — все это, утверждают они, в конце концов привело к расчленению человеком своего собственного тела, и в Средневековье культура обрекла тело на настоящие муки, верхнюю его часть увлекая в небеса, а нижнюю сталкивая в преисподнюю. Ни один теолог за целых двадцать веков даже не заикнулся о том, что, собственно, люди, которым христианство гарантирует воскресение во плоти, будут делать с гениталиями в раю. А гедонистическая цивилизация, восходящая к эпохе Возрождения, по мнению энциан, привела к такому уравниванию в правах обеих половин тела, от которого культуре не поздоровилось, ибо в конце концов человек животное-генитальный возобладал над человеком сердечным и мыслящим. Впрочем, нижняя половина тела была сущим наказанием для всех культур, как западных, с их противопоставлением греха и аскетической святости, так и восточных, где вместо этой пары понятий появляются полярно противоположные понятия полной телесной свободы и полного отрицания тела (нирвана). Как ни сражался со своей плотью бедняга гомо, он так и не нашел подходящего способа примириться с ней, а довольствовался суррогатами и иллюзиями, увязая в трясине самообмана. Насколько же это сузило людские возможности! Ведь людям приходилось тысячелетиями растрчивать силы своего разума на оправдание, объяснение, а то и переименование отношений, с неизбежностью диктуемых устройством тела. Сколько пришлось им мучиться и водить самих себя за нос, чтобы догмат о сотворении по образу и подобию Всевышнего привести в соответствие с тем срастанием органов, которое заставило Августина Блаженного в отчаянии воскликнуть: «*Inter faeces et urinam nascimur*»\*. Все время приходилось одно идеализировать, другое замалчивать, это прикрывать, то переименовывать, и

---

\* Между калом и мочою рождается (*лат.*).

никакие перевороты в духовной жизни не позволяли окончательно примириться с проклятой анатомией. Самое большее — знаки менялись на противоположные, ханжество уступало место цинизму или родственной ему бестрепетности; люди словно бы говорили себе: «Раз уж тут ничего не поделаешь, будем пользоваться без устали имеющимися у нас органами, пусть даже таким манером, чтобы сделать оплодотворение невозможным; хотя бы так взбунтуемся против Природы, если по-другому нельзя». Во время эпохальных переворотов проблемы собственно генитальные не выдвигались на первый план, что легко объяснить: развивавшаяся под флагом рационализма цивилизация просто не хотела признаться себе самой, до какой степени биология главенствует над ее рационализмом. И все же Возрождение было эпохой, когда человек открыто признал свое собственное тело, даже те его части, что ужасали теологов, а на Дальнем Востоке мыслители усматривали в небытии единственное действительно радикальное средство против раскола человека на чувства и дух, *delectatio morosa* и *ratio*\*. Либо наслаждение, преодолевающее отвращение, либо отвращение, в котором признаваться нельзя, ибо тот, кто ставит под вопрос норму, сам становится ненормальным.

Такова, согласно энцианам, наша вечная дилемма. Я искал земных экспертов, которые подняли бы брошенную перчатку (а по правде говоря, нечто совершенно иное), но, странное дело, не нашел ничего, что звучало бы убедительно: ведь тут требовалась не софистика, но логически безупречное опровержение инопланетных умозаключений. Наши, правда, не оставались в долгу, однако не в контратаках по поводу секса, но в совершенно иных областях, вследствие чего диспут попросту терял смысл. А жаль. Суждения инопланетных существ о человеке не могут считаться оскорбительными. Хотя и не слишком приятно сознавать, что претензии на универсальность всего человеческого в масштабе Вселенной потерпели очередное крушение.

---

\* необузданная чувственность и разум (*лат.*).

Горько признаваться в том, сказал один старый философ, что мы еще раз свергнуты с трона, поставлены на свое место, и притом не абстрактными рассуждениями, но наглядным доказательством в виде иных разумных существ. Этот неопровержимый факт показал нам, сколь тщетными были усилия человеческой мысли возвести случайные, сугубо местные земные обстоятельства в ранг разумной и потому всеобщей необходимости. Какие горы изощреннейших аргументов мы нагромождали, чтобы изобразить природу человека в виде космической постоянной! Как легко человек поддался иллюзии, будто бы мир к нему беспристрастен (если не благожелателен, как гласят утешающие религии)! То, что случилось с какими-то прамоллюсками, трилобитами и панцирными рыбами миллиард лет назад — что было всего лишь делом случайного расклада и перетасовки различных сочетаний органов и не имело никакого высшего смысла, кроме их функции на данный момент, — стало нашим наследием и заставило лучшие наши умы отчаянно и, как мы теперь видим, безнадежно поставить все на одну карту, объявить заведомо неудачное конструкторское решение актом Творения, благожелательного к Сотворенным. Впрочем, добавил тот же философ, это вовсе не значит — как мог бы опрометчиво решить адресат энцианских посланий, — будто благодаря благоприятному стечению обстоятельств на долю энциан выпал лучший жребий. Если у них нет наших несчастий, это еще не значит, что они счастливы. До рая им так же далеко, как и нам. У любого вида разумных существ есть свои собственные проблемы, многие из которых неразрешимы, и правило перехода из огня в полымя, по-видимому, действительно для всей Вселенной. Впрочем, немало есть и тех, кто усматривает в человеческом сексе превосходство *homo sapiens* над *homo entiaentis*\*, но сам принцип таких сравнений абсурден: нельзя считать, что недоступные нам ощущения других лучше — или же хуже, — чем наши. Если один разум равноценен другому — что, по-видимому,

---

\* человека разумного (над) человеком энцианским (*лат.*).

справедливо, — то различия в строении тел, выбрасываемых из барабана эволюции на планетную сцену, можно лишь констатировать. Все остальное, то есть оценка качества их бытия, пусть остается — молчанием.

## Вера и мудрость

Первого, а может быть, второго сентября, в самый полдень, от глубокого сна меня пробудил телефонный звонок. Адвокат Финкельштейн хотел со мною увидеться. Я пошел к нему сразу, чтобы успеть еще выспаться до наступления вечера, в преддверии штурма последнего, философского, бастиона архивов МИДа. Если бы я принял душ, то взбодрился бы, пожалуй, чрезмерно; но если бы я этого не сделал, то в полусонном состоянии не много понял бы из того, что адвокат собирался мне сообщить. В качестве компромисса я принял сидячую ванну и пешком отправился в контору Финкельштейна, удивляясь уличному движению, от которого успел отвыкнуть. Я, правда, не солипсист, но все же временами испытываю ощущение, будто там, где меня нет, а особенно там, где я когда-то бывал, все замирает или, во всяком случае, должно замереть. Это мои личные мысли, и я не придаю им чрезмерного значения, а лишь регистрирую их, чтобы облегчить жизнь своим будущим биографам, с профилактическими, так сказать, намерениями: ведь если биографам не хватает действительных подробностей жизни знаменитого человека, они сочиняют целую тьму фиктивных.

Адвокат встретил меня широкой улыбкой и предложил чашку кофе, но я отказался, помня о необходимости выспаться. Я заметил, что у него новая секретарша, до того красивая, словно она не умела даже печатать на машинке. Она и в самом деле не умела, адвокат этого не скрывал, к тому же она не имела понятия о правописании и, что еще хуже, вкладывала письма не в те конверты; но смотреть на нее было таким удовольствием, что клиенты заходили даже без всякого

дела. Это напомнило мне отрывок из книги, которую я штудировал ночью, и я сказал адвокату, что колдовские чары, которыми гипнотизирует нас прекрасное женское лицо, в сущности, совершенная загадка. Окончательно я уяснил это во время чтения упомянутой книги, наткнувшись в ней на удивительное межпланетное недоразумение. Комиссия экспертов-людистов, изучавшая программы нашего телевидения, особенно конкурсы красоты, обнаружила, что некоторым типам женских лиц отдается явное предпочтение, и, пораскинув мозгами, выдвинула в официальном порядке гипотезу, согласно которой лицо выполняет у людей функцию маркировочной таблицы, то есть латунной пластинки с данными о мощности, кпд и напряжении, прикрепляемой, например, к электромоторам. Энциане, как представители другого вида, заявила комиссия, не в состоянии прочитать по женским лицам эти характеристики, поскольку они закодированы не цифровым и не аналоговым способом; но как-то все-таки закодированы. Цвет радужной оболочки, форма носа и губ, расположение волос на голове — все это легко читаемые людьми знаки. Возможно, они показывают эффективность обмена веществ, сопротивляемость организма земным болезням, умение бегать (хотя, если уж на то пошло, легче было бы определить его непосредственно по ногам), общий уровень интеллекта — в общем, что-то они значат наверняка, потому что различие между лицами королей красоты и обычных человеческих самок не больше, чем между разными буквами алфавита. Итак, дело тут не в эстетических соображениях — что такое несколько лишних или недостающих миллиметров носа? Комиссия трудилась не покладая рук, рассмотрела одиннадцать альтернативных гипотез, начиная, разумеется, с биологической: мол, человеческий самец вычитывает из лица самки черты, которые желал бы видеть у своего потомка; но эта концепция оказалась неприемлемой, если принять в соображение, что ни в общественной, ни в профессиональной жизни на Земле не видно какого бы то ни было предпочтения, оказываемого прямым носам перед курносыми или оттопыренным ушам перед ушами, плотно

прилегающими к черепу. А если самец желает иметь сильное потомство, то осмотр женских мускулов даст ему больше, чем заглядывание в глаза. Если же речь идет о легких родах, то следовало бы оценивать ширину таза, однако людям это и в голову не приходит. Поскольку у людей ноги в коленях сгибаются вперед и значительную часть своей жизни они проводят сидя, рессорные качества ягодиц могут иметь некоторое селекционное значение; и в самом деле, для самцов это, по-видимому, немаловажно, но все же лицу они явно отдают предпочтение, а этого уж никак не объяснишь необходимостью часами просиживать на жестких табуретках. Несчастная эта комиссия исследовала что-то около восьмисот тысяч снимков актрис, теледикторш и домохозяек, стараясь установить корреляцию между чертами их лица и такими недугами, как желчно-каменная болезнь, расширение вен, потливость ног и даже мягкость характера, но не нашла и следа какой-нибудь корреляции, что повергло ее в полное недоумение. Поэтому она опросила несколько землян, прибывших на Энцию, но ничего научного узнать от них не смогла и пришла к выводу, что данные, закодированные в лицах красивых женщин, являются на Земле государственной тайной, выдача каковой приравнивается к измене. Допустить, что опрошенные сами не знали, почему лицо Мерилин Монро вызывает у любого мужчины сильное расширение зрачков, а лицо сослуживицы — скорее нет, энцианские ученые не могли никак.

Адвокат Финкельштейн долго смеялся, а потом сказал, что я не трачу время впустую, столь углубившись в занятия, и это особенно радует его потому, что он имеет для меня благоприятное известие. Кюссмих понемногу склоняется к компромиссу. Слушание дела затягивается, так как нашлись дегустаторы, заявившие, что пресловутый золотой кофе никто в рот не возьмет, а Кюссмиху не удалось установить, добросовестные это эксперты или их подсунула «Нестле». Словом, если я откажусь от замка, Кюссмих вернет мне 75 процентов средств, затраченных на ремонт, а его клеветнические пока-

зания будут спрятаны под сукно. Закончив, адвокат Финкельштейн выжидательно посмотрел на меня.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво молвил я. — В принципе весь этот замок для меня, знаете ли, давно уже как прошлогодний снег. Но, скажите на милость, чего это ради я должен понести убыток? Не в деньгах дело, а в справедливости. Сколько, собственно, лет этому господину Кюссмиху? — спросил я, захваченный новой мыслью.

— Семьдесят восемь.

— Ему бы не о деньгах уже думать, — сказал я сурово. — А вы что посоветуете?

— Я могу тянуть дело дальше, — ответил он, похихикивая, — но хотел удостовериться, что вы на этом настаиваете. У нас еще пять недель до следующей сессии.

— За это время многое может случиться, — произнес я, не догадываясь, до какой степени пророческими были мои слова.

Прощаясь с адвокатом, я попросил его, по возможности, звонить мне не днем, когда я сплю, а между семью и восьмью вечера, когда я взбадриваю себя, перед тем как отправиться в библиотеку.

Не успел я, добравшись до дому, раздеться и уснуть, как снова раздался звонок, на этот раз в прихожей. Обозленный, я открыл дверь, увидел respectableного мужчину с папкой под мышкой и решил, что это новый адвокат Кюссмиха; но я заблуждался. Посетитель представился как ведущий сотрудник какого-то крупного международного ежемесячника; он хотел взять у меня интервью на космические темы.

Сгоряча я чуть было не спустил его с лестницы, но тут мне пришло в голову, что мой адвокат этого не одобрил бы. Выступление в популярном издании как-никак укрепляло мое положение в споре с мерзавцем, который наживается на прозорливости младенцев. Правда, названия журнала я не расслышал, но с лестничной клетки тянуло сквозняком, поэтому я пригласил журналиста к себе, усадил его в кресло — и узнал, что он из «Пентхауса». Это меня остудило. Меня явно преследовали детородные органы высших земных мле-

копитающих, коль скоро журнал, занимающийся их рекламой, поднял меня с постели.

— Что вам угодно? — спросил я. Этот человек совершенно не соответствовал моим представлениям о сотрудниках «Пентхауса». Вместо броско одетого субъекта с плотоядным выражением лица и карманами, набитыми порнографическими снимками, передо мной сидел вылитый дипломат с журнальной обложки: седые виски, изящно подстриженные усы, глубокий взгляд интеллектуала и черная адвокатская папка. Заложив ногу за ногу, он ослепил меня лучезарной улыбкой и сказал, что самое время раскрыть перед широкой общественностью тайны космического секса. Как я понял, этот элегантный проходимец знал о моих студиях в МИДе. Теперь, когда он прервал самый глубокий сон, на который я был способен, обычное выдворение его из квартиры уже не могло считаться достаточной компенсацией. Я решил устроить ему порядочную, тщательно продуманную трепку и лишь потом попросить его убраться на свой склад гениталиев.

— Я дам интервью, — сказал я, — при условии, что все мною сказанное вы опубликуете без малейших поправок. А поскольку я уже приобрел здесь некоторый опыт, вашего устного обещания недостаточно: мне нужны гарантии посущественнее...

Он проглотил крючок, и начались долгие переговоры. Чем более солидных требовал я гарантий, тем больше он утверждался во мнении, что в запасе у меня есть пакости, о которых даже он никогда не слышал. В ход пошел телефон. Он связался со своей редакцией, а потом я — со своим адвокатом, чтобы удостовериться, что заявление, которое оставит у меня журналист, будет достаточным юридическим основанием для предъявления иска на сумму в восемьдесят тысяч долларов в случае ненапечатания или искажения текста моего выступления. Я нарочно заломил столько — чтобы эта редакционная свора набрала полный рот слюны — и настоял на своем. Я спрятал в ящик стола требуемое заявление, текст которого продиктовал адвокат Финкельштейн, чтобы нельзя было подкопаться ни к одному пункту; все сильнее ошущая досаду —

ведь о сне теперь нечего было и думать, — налил журналисту на редкость паршивый коньяк, оставленный в баре предыдущим жильцом; а сам, попивая чай (будто бы ввиду состояния своих почек), заговорил при включенном магнитофоне.

— Я выступаю не от собственного имени, — заявил я, — но в качестве представителя галактических цивилизаций. Секс на земной манер им неизвестен. В этом отношении мы в Галактике являем собой нечто вроде уродца, у которого лицо, так сказать, приросло к сидалищу, только в глобальном масштабе. Размножение с самого начала должно протекать под контролем зрения, и так это повсюду и обстоит. Но в одном случае из двух триллионов эволюция путает направление входов и выходов тела. По единогласному заключению звездных экспертов, как раз такое фатальное невезение выпало нам на долю. Детородный процесс разместился в отхожих местах организма. Земные виды были поставлены перед выбором: либо полюбить эти места, либо вымереть; и организмы, которые смерть предпочли паскудству, погибли все до единого. Осталось лишь то, что проявило готовность возлюбить канализационные тракты. Это наша трагедия, в которой мы неповинны, уродство астрономического масштаба. Как известно, в целом процесс производства потомства не слишком приятен. Не слишком приятно состояние беременности, трудно назвать особенным удовольствием роды. Детородный процесс занимает девять месяцев — от пуска в ход до появления *ante portas\** готового образца, — то есть 389 000 минут. Из них удовольствие доставляют первые пять—восемь, пусть даже десять. Остальные 388 990 минут удовольствием не назовешь, совсем напротив, это сплошные заботы, а в конце — страдания. По утверждению галактических экономистов, это самое невыгодное на свете занятие. Как если бы за минутное удовольствие от съеденной шоколадки вам пришлось бы целый месяц мучиться животом. Поскольку сделка, которую предлагает нам тело, навязана ему Природой, в ней нет злого умысла или обмана, а значит, чьей-либо вины. Но все изме-

---

\* у ворот (*лат.*).

нилось с тех пор, как за дело взялся крупный капитал, чтобы извлекать прибыль путем поддержания людских инстинктов в состоянии распаленной готовности. Предосудительно дразнить жаждущих, показывая им батареи бутылок с содовой водой и лучшими лимонадами и выманивая у них последний грош, вовсе не утоляя их жажду. Подло манить голодных снимками жареных цыплят с салатом и кремовых тортов с завитушками. Но это ничто по сравнению с махинациями тех, кто извлекает прибыль, рекламируя всевозможные, более или менее неаппетитные щели человеческого тела в качестве врат рая. Прослышав о такой эксплуатации человека человеком, Галактика решила положить ей конец. К нам на выручку вскоре придут спасатели. Необходимую документацию давно собирают на летающих тарелках: для того-то их к нам и послали. Вышеупомянутых эксплуататоров заставят пожизненно заниматься всем тем, что они предлагали несчастной публике, с принудительным использованием всего арсенала изготовленных ими орудий похоти. Галактический совет напрасно искал смягчающие обстоятельства. Кое-какие изобретения заставила человека сделать нужда; так появились паровые машины, строгальные станки, выдвижные ящики и бутылочные пробки. Но редакции журналов наподобие вашего не могут в свое оправдание указать на какие-либо изобретения подобного рода. Ваши публикации вопиют об отщепенности к небу. Поэтому небо явится к вам и сделает, что сочтет нужным. Это все. Прощайте.

Журналист пытался что-то сказать, обернуть мои слова в шутку, но я помог ему выйти. Я был так зол, что не сомкнул глаз до самого вечера, с тоскою думая о счастливых пернатых Энци, которые гоняются по лугам и опыляют друг друга, как мотыльки. В девятом часу я, как всегда, взял сумку с провиантом и вышел из дому, весьма недовольный собой. Я вспоминал, как с бессильной яростью разглядывал сверкающие пуговицы на пиджаке того проходимца и прожигал взглядом его безупречно завязанный галстук. С каким наслаждением я проволоч бы его по полу за этот галстук! Торговцы наркотиками никогда не употребляют их сами, а господа из такого

рода редакций, как я слышал, читают лишь книжки оключениях пчелки Майи. Наконец в сгущающихся сумерках показались большие кованые ворота министерства. Вместе с земной пылью я страхнул с себя эти слишком приземленные мысли, ведь мне предстояло вознестись на вершины инопланетного духа.

Чтение теологий, теодицей и философий требовало полной мощности мозга. Поэтому я открыл окно, сделал тридцать глубоких приседаний, включил кофеварку, принял, профилактики ради, аспирин и протянул руку к первому тому из уже приготовленной стопки, причем из моей груди — видит бог, невольно — вырвался тихий стон. Кому не известны маленькие чудачества больших мыслителей? Правда, учебники по истории философии обычно помалкивают об этих сомнительных и непохвальных историях. Один сбросил с лестницы пожилую даму, да так, что та сломала обе ноги, другой сделал девице ребенка и отказался от него, но все это были чисто индивидуальные выходки и эксцессы. Забраться в бочку, сочинять доносы на коллег — это, конечно, пакости, но вполне заурядные. На Энциии было иначе, особенно в позднее средневековье, когда философия процветала. Возникшие в то время школы (ниже я скажу о них подробнее) полемизировали между собой не известным где-либо еще образом. Каждому знакомы выражения типа «это правда, чтоб меня кондрашка хватила» или «чтоб я помер», «чтоб мне провалиться на этом месте, если я вру» и т.п. Фирксирская и тиртрацкая школы включили эти угрозы в арсенал логической аргументации. Дело в том, что основополагающие утверждения философии подтвердить экспериментально нельзя. Нельзя доказать, что мир перестает существовать, если нет никого: ведь чтобы доказать, что его нет, нужно пойти и посмотреть, а в таком случае он, разумеется, есть как ни в чем не бывало. Однако же ученики Фирксатика применяли эмпирическое доказательство, получившее название ультимативного. Если оппонент стоял на своем и отвергал все доводы, они угрожали самоубийством. Ведь тот, кто по первому требованию готов умереть за свои убеждения, наверное, достаточно в них

уверен! А чтобы усилить аргументацию, мыслители велели вырезать ремни из собственной кожи и так далее. Эта манера вошла в моду, и во второй половине XVII века дискуссии не на жизнь, а на смерть приняли повальный характер. При этом каждый страшно спешил, опасаясь, что оппонент успеет покончить с собой первым и решающий аргумент не дойдет до его сознания. Согласно современному философу по имени Тюрр Мёхёхёт, это безумие имело две стороны. С одной стороны, философией занимались лишь те, кто относился к ней смертельно серьезно, и это было хорошо. Плохо же было, разумеется, то, что довод самоубийства не имеет содержательной ценности, будучи разновидностью шантажа, а не рационального убеждения. Некоторые школы, например палетинская, сильно поредели в результате таких дискуссий, а уцелевших мыслителей приводили в бешенство солипсисты. Их никакой аргумент не брал, ведь если мир — всего лишь иллюзия, никто не совершает самоубийства взаправду, а это только так кажется, так что и переживать не из-за чего.

Это горестное помрачение продолжалось несколько десятков лет и на первый взгляд было всего лишь коллективным психозом; однако оно показывает, сколь истово энциане уже тогда предавались размышлениям о природе вещей. То, что у нас самоубийственных философов не было, свидетельствует, быть может, о нашей большей трезвости, но отнюдь не предрешает оценку истинности философских систем.

У нас самое большое влияние на развитие онтологии оказал, пожалуй, Платон. Умом, несомненно, равной мощности, хотя совершенно иного плана, был Ксиракс, создатель онтомизии — учения, согласно которому Природа в принципе неблагосклонна к живущим. Важнейшая часть учения занимает так мало места, что я перепишу ее целиком. В сороковом году Новой Эры Ксиракс писал:

Беспристрастный — значит нейтральный или справедливый.

Беспристрастный всему предоставляет одинаковые возможности, а справедливый мерит все одинаковой мерой.

1. Мир несправедлив, ибо:  
в нем легче уничтожить, чем творить;  
легче мучить, чем осчастливить;  
легче погубить, чем спасти;  
легче убить, чем оживить.

2. Ксигроной утверждает, что живущие мучат, губят и убивают живущих, а следовательно, не мир — к ним, но сами они друг к другу неблагосклонны. Но и тот, кого не убили, умирает, убитый собственным телом, которое есть часть мира, ибо чего же еще? А значит, мир несправедлив к жизни.

3. Мир не нейтрален, коль скоро:

он пробуждает надежду на устойчивое, неизменное и вечное бытие, не являясь, однако, ни устойчивым, ни неизменным, ни вечным; следовательно, он вводит в обман. Он позволяет постигать себя, однако при этом вовлекает в познание, поистине бездонное; следовательно, он коварен. Он позволяет овладевать собой, но лишь ненадежным образом. Открывает свои законы, кроме закона абсолютной надежности. Этот закон он скрывает от нас. Следовательно, он злонамерен. Итак: мир не нейтрален по отношению к Разуму.

4. Нарзарокс учит, что Бог либо существует и, в таком случае, он есть Тайна, либо нет ни Бога, ни Тайны. Мы ответим на это: если Бога нет, Тайна остается, ибо: если Бог существует и сотворил мир, то известно, КТО сделал его несправедливо пристрастным, таким, в котором мы не можем быть счастливы. Если Бог существует, но не сотворил мир, или же если его НЕТ, Тайна остается, ибо неизвестно, откуда взялась пристрастная неблагосклонность мира.

5. Нарзарокс вслед за древними повторяет, что Бог мог сотворить кроме Этого Света счастливый Тот Свет. Но тогда зачем Он сотворил Этот Свет?

6. Аустезай утверждает, что мудрец задает вопросы, чтобы ответить на них. Это не так: он задает вопросы, а отвечает на них мир. Можно ли представить себе иной мир, не-

жели наш? Возможны два таких мира. В беспристрастном разрушить было бы столь же легко, как создать, погубить — так же легко, как спасти, убить — так же легко, как оживить. В мире универсально доброжелательном, или благопристрастном, легче было бы спасать, создавать, осчастливливать, чем губить, разрушать и мучить. Таких миров на Этом Свете построить нельзя. Почему? Потому, что наш мир не дает на это согласия.

Учение это, названное Учением о Трех Мирах, многократно пересматривалось и толковалось по-новому при жизни Ксиракса и после его смерти. Одни из его учеников считали, что Господь не мог сотворить лучший мир, потому что имеет свои границы, другие — потому что не пожелал. Это давало повод считать Бога бытием либо неабсолютным, от чего-то зависимым, либо не абсолютно благим; впрочем, толкований было гораздо больше. За проповедь Учения о Трех Мирах император Зиксизар приговорил Ксиракса к самому суровому наказанию — двум годам смерти, то есть растянутых мучений, причиняемых медиками (от палача в империи требовалось владение медицинскими навыками) с такой заботливостью, чтобы приговоренный не умер до времени: его поочередно пытали и лечили.

Самые сильные доводы против учения Ксиракса выдвинул в эпоху Нижнего средневековья Рахамастеракс, один из создателей химии. Он доказывал, что и в нейтральном, и в благосклонном мире жизнь размножалась бы лавинообразно, поэтому в нейтральном мире она, заполнив мир до краев, быстро покончила бы самоудушением, а в благосклонном понадобились бы особые ограничители, сдерживающие гибельное размножение. Тем самым мир, по видимости нейтральный, оказался бы смертельной ловушкой, а благосклонный — узилищем, ведь свобода любых действий была бы там ограничена. Этот аргумент, однако, косвенным образом усиливал атеистическую суть Учения о Трех Мирах и укреплял безбожников в их неверии, демонстрируя кривобокость мира по отношению к жизни: будучи в нем чем-то слу-

чайным, жизнь может рассчитывать только на самое себя. Поэтому Рахамастеракс тоже поплатился за труд своей жизни смертью, но в качестве менее опасного еретика был подвергнут милосердному усекновению главы.

Свое последнее возрождение Учение о Трех Мирах пережило в Новое время, в эпоху бурного развития гравитационной физики. Ноусхорукс, энцианский Эйнштейн, изложил существо дела просто: чтобы ответить, почему мир таков, каков есть, нужно сперва посмотреть, возможен ли другой мир, способный породить жизнь (иначе в мире не было бы никого, а тем самым проблема снимается). Ответить на поставленный таким образом вопрос нельзя *никогда*, ведь проект другого мира равнозначен проекту другой физики. Для этого нужно с начала до конца познать физику этого мира, то есть *исчерпать* ее в формулах абсолютной истины, что невозможно. Именно здесь на сцену возвращается Тайна древних философов, поскольку нам неизвестно, почему мир (а значит, и физику) можно познавать бесконечно. Ни одна теоретическая модель не способна полностью его исчерпать, а это значит, что разум и мир не полностью сводимы один к другому. Предпринимавшиеся впоследствии попытки доказать, что именно так должно быть в любом из возможных миров, потерпели неудачу, и последний вывод, к которому пришла энцианская философия, гласит: нет доказательств ни в пользу устойчивой кривобокости мира и разума, ни в пользу невозможности такой физики, которая отличалась бы от существующей и превосходила ее по части благосклонности к жизни. Многовековая битва за право поставить миру окончательный диагноз закончилась, по мнению одних, ничейным исходом, а по мнению других — поражением.

Тем не менее она в огромной степени определила развитие цивилизации в Люзании и второстепенных государствах к северу от нее, которые находились под люзанским влиянием. Концепция этикосферы как абсолютно надежной опекунши общества, безусловно, восходит к «Трем Мирам» Ксиракса; но эхо его аргументов не менее сильно звучит в диатрибах, похоронивших проект автоэволюционной переделки

энциан, который несколько десятков лет будоражил общественное мнение. О том, что на Энциии философия не пала так низко, как это было у нас в век науки, свидетельствует роль, которую сыграли философы в этих дискуссиях, и прежде всего в осознании автоэволюционного парадокса (называемого обычно парадоксом Ксиксокта).

Каждый хотел бы, чтобы у него был красивый и умный ребенок. Но никто не желает, чтобы его ребенком была умная и прекрасная цифровая машина, пусть даже она будет во сто раз умнее и здоровее живого ребенка. Между тем программа автоэволюции — это скользкая покатаая плоскость без ограничителей, ведущая в пропасть абсурда. Первая стадия этой программы очень скромна — всего лишь устранение генов, снижающих жизнестойкость, служащих причиной увечий, наследственных изъянов и т.д. Но такое усовершенствование не может остановиться на достигнутой точке: даже самые здоровые заболевают, даже самые умные на старости лет впадают в маразм. Ценой, которую придется заплатить за удаление и этих изъянов, будет постепенный отход от природной, сформировавшейся эволюционно схемы устройства организма. Тут-то и возникает парадокс лысого. Выпадение одного волоса еще не приводит к появлению лысины, и нельзя сказать, сколько волос должно для этого выпасть. Замена одного гена другим не превращает ребенка в существо иного вида, но нельзя указать, где, в какой момент возникает новый вид.

Если рассматривать функции организма порознь, усовершенствование каждой из них желательно. Кровь, которая питает ткани лучше, чем натуральная, нервы, не подвергающиеся вырождению, более прочные кости, глаза, которым не угрожает слепота, зубы, которые не выпадают, уши, которые не глохнут, и тысяча иных составных частей телесного совершенства, бесспорно, пригодились бы нам. Но одно усовершенствование неминуемо влечет за собой другое. Более сильные мышцы требуют более прочных костей, а быстрее соображающий мозг — более обширной памяти; вполне возможно, что на следующей стадии увеличится объем черепа и изменится его форма и, наконец, белковый материал придет-

ся заменить более универсальным. Небелковый организм не боится высоких температур, радиоактивного излучения, космических перегрузок; бескровный организм, в котором снабжение кислородом совершается просто путем обмена электронов, без примитивного посредничества кровообращения, несравненно менее хрупок и смертен; и вот, начав однажды переделывать себя, разумная раса преодолевает ограничения, которые на нее наложила ее планетная колыбель. Дальнейшие шаги ведут к появлению существа, устроенного, быть может, куда гармоничнее, гораздо лучше переносящего удары и беды, чем человек или энцианин, гораздо более всестороннего, разумного, ловкого, долговечного, а в пределе — даже бессмертного благодаря периодической замене отработавших органов, включая органы восприятия; существа, которому нипочем любая среда, любые убийственные для нас условия, которое не боится ни рака, ни голода, ни увечья, ни старческого увядания, потому что совсем не стареет; словом, это будет существо, усовершенствованное до предела благодаря перестройке всего материала наследственности и всего организма, — с одной-единственной оговоркой: на человека оно будет похоже не больше, чем цифровая машина или трактор. Парадокс заключается в том, что нельзя указать, какой именно шаг на этом пути будет ошибкой, ведь каждый из них приближает нас к идеалу эффективности, хотя идеалом этим оказывается существо уже совершенно нечеловеческое.

Коль скоро такого момента, такой последней границы нет, к чему, собственно, этот сизифов труд, растянувшийся на многие поколения? Если уж мы переделываем не самих себя, а потомство, не проще ли и не лучше ли сразу усыновить цифровую машину, а то и целый вычислительный центр? Ведь раскладка процесса оптимизации на целый ряд поколений — обыкновеннейший камуфляж, программа видового самоубийства в рассрочку; так чем же рассроченная самоликвидация лучше немедленной? Лишь тот, кто согласен усыновить вычислительный центр на ногах (или на воздушной подушке), может без опасений и оговорок приступить к переделке собственного потомства ради создания совер-

шенных правнуков. То, что кажется нам полным абсурдом, — усыновление какого-нибудь бронированно-кристаллического организма, с которым можно толковать о материях земных и небесных, — выглядит уже не столь абсурдно, если переход от естественного состояния к оптимизированному будет длинной серией небольших изменений, растянувшейся на многие поколения; но абсурд становится очевидным, если подвести конечный итог. Разве автоэволюция — это курс излечения от вредной привычки к своему человеческому естеству? Не все ли равно, *какая* цифровая машина окажется нашим потомством — построенная с начала до конца инженерами или пропущенная сперва через живую матку, а потом через какие-нибудь утераторы\*? Давая согласие на автоэволюцию, мы соглашаемся упразднить собственный вид и передать наследие цивилизации существам во всех отношениях нам чуждым, ибо мы несовершенны, смертны, ограничены в мышлении и во времени; так пусть же сторонники совершенства избавят себя от лишних хлопот, одним махом усыновив всю мыслящую технологию планеты. Почему, спрашивается, нас должны заменить отдельные системные единицы, ведь еще эффективнее был бы всепланетный кристаллический мозг, наш потомок, наследник и продолжатель!

Ксиксокт в полемическом пылу утверждал, что поборники автоэволюции подобны убийце, который убивает жертву не сразу, а постепенно, малыми дозами яда, чтобы привыкнуть к зрелищу агонии. Его иронический лозунг «Генженеры всех стран, усыновляйте компьютеры!» серьезно дискредитировал эту грандиозную программу. На каждый выпад генженеров у него был готов ехидный ответ. «Они хотят сохранить внешнее сходство усовершенствованных существ с нами! — восклицал он. — Но что это доказывает? Всего лишь искусность в изготовлении фальсификатов! Такое сходство должно успокоить умы: мол, усовершенствованы только невидимые глазу внутренности, а все прочее остается без изме-

---

\* От латинского *uterus* — матка.

нений. В таком случае начините манекены компьютерами, и дело с концом!»

Генженерия, доказывал он, становится тем абсурднее, чем *меньше* у нее ограничений. Тот, кто овладел лишь искусством мелкой ретуши, немногим владеет и ничему не угрожает. За такого рода улучшениями кроется надежда на лучшую жизнь, которую мы обеспечим потомству. Генженеры ссылаются на то, что нашими предками были зеленушкоядные птицы и крупные болотные нелеты, на которых мы не слишком похожи телом и духом. И раз в этом прадавнем переходе от низшей, птичьей, стадии к высшей, разумной, мы ничего дурного не видим, то надо по аналогии решиться на следующий шаг!

Аналогия эта ложная, сходство — мнимое; пернатые предки энциан не стояли перед каким-либо выбором, а мы стоим. Их привилегией было невежество и бессознательность; и то и другое мы утратили бесповоротно. Отбрасывая свою смертную оболочку, мы отбрасываем себя самих; и тут таится еще одна беда — неслыханная свобода в проектировании улучшений. Улучшения возможны многочисленные и самые разные. Поэтому будут соперничать между собой всевозможные проекты *Homo Novus Entianus\**, и выбрать придется какой-то один из них (иначе неминуемо столкновение разных образцов между собой). Это значит, что мы получим потомство по общему уговору; но, договорившись, что наши дети должны быть такими-то и такими-то, мы обманем самих себя — какая разница, прилетят ли они со звезд, чтобы овладеть Энцией, или вылезут из реторты? Самоуничтожение можно, разумеется, рассмотреть, как и любую другую возможность, но без иллюзий и вводящего в заблуждение грима.

Я написал столько об этой философской войне потому, что она, как утверждают историки, имела ключевое значение для создания этикосферы. Понятие Бога претерпело в ходе энцианской истории не совсем обычную эволюцию. Первоначально Бог отождествлялся с Природой: она была Им, Его

---

\* Нового энцианского человека (лат.).

совершенным воплощением, одним из ряда других. Небесные тела были Его членами, живые существа — высокими и низкими мыслями. Наивысшими мыслями были разумные существа, то есть сами энциане. Это самообожествление постоянно требовало объяснений — может ли быть, что одни Божьи мысли несогласны с другими и даже убивают их? Объяснение было простое: будучи Всем, Господь может иметь всевозможные мысли, следовательно, и дурные, которым противостоят добрые, ведь если бы он имел одни только добрые, то не был бы Полнотою Всего. До тех пор, пока религиозные институты отождествлялись с государственными, этого толкования было достаточно, поскольку власть, светская и духовная одновременно, определяла, какие Божьи мысли (то есть какие граждане) плохи, а какие хороши. Однако в лоне этой пантеистической официальной религии зародились ереси мизиан, теокриптов и сервистов. Согласно теокриптам, Господь воплощается в людей лишь самой низкой частью своего естества, и задача их — совершенствоваться, благодаря чему они становятся все более возвышенными частями ума Господня. Они не могут ни понять Его, ни вообразить Его целиком, как палец не может представлять все тело, а одна мысль не в состоянии охватить весь разум. Согласно мизианам, Бог по природе своей — существо «нечеловеческое», однако не в том смысле, в каком это понимали преследователи мизиан (будто бы Он, в свете их учения, просто дурен), но в том смысле, что Господь обращен к непостижимым материям, а церковь есть не что иное, как компас, согласующий направление людских умов с неисповедимыми путями Господними. Сервисты же считали Бога Творцом посюстороннего мира прежде всего — чем бы он ни занимался сверх этого, и потому возлагали на него полную ответственность за все на свете. Бога надлежало любить и быть ему благодарным в такой — небеспредельной — степени, в какой он нес эту ответственность, ибо (как пояснил в простоте своей Миксикикс) сапожник, который создал бы миллион чудесно поющих тучек и пару дрянных башмаков, будет плохим сапожником, как бы дивно эти тучки ни пели. За это его разорвали

на куски раскаленными щипцами пред императором Сксом. (Скс гордился своим коротким именем, но это статья особая, и я думаю, что разумнее будет обойти молчанием всю ономастику энцианских родовых прозвищ и вопрос о связи между именем и занятием энцианина.)

Кроме перечисленных выше, были ереси менее важные, например фрагистов, считавших, что Бог сотворил мир, но творение удалось ему не вполне: будучи бесконечно добр, он не хотел приневоливать сотворенных к чему бы то ни было, а значит, и к одному только добру, а потому дал им больше свободы, чем они могли вынести. Доктрина эта (как говорят) ближе всего напоминает учение о первородном грехе и порче природы человека, с той только разницей, что вину за порчу праэнциан она возлагает на доброту Господню, вступившую в противоречие с Господним искусством творения. Ибо фрагизм неявно предполагает, что Бог *не* может создавать вещи, друг другу противоречащие, — например, сочетание абсолютной доброты с абсолютной свободой воли; тем самым оказывается, что над Богом властвует логика, которая не допускает одновременного существования логически исключаящих друг друга состояний, и это определяет пределы Всемогущества, — впрочем, создатели ереси не отдавали себе в этом отчета.

Начало Нового времени энциане датируют 1811—1845 годами. Явность — или, скорее, дословность — всего происходящего в империи перестала существовать в годы правления четырех Лже-Ксиксаров, прозванных логократами. Начавшаяся сожжением всех хроник вместе с хронистами, логократия достигла такого совершенства, что истоков ее с точностью установить нельзя. Среди апокрифов, повествующих, как было дело, выберу наугад увардский. Ксиксар, очередной монарх из династии Ксиксов, будто бы имел привычку всякий день перед первой трапезой убивать в дворцовом зверинце давно не кормленного и потому разъяренного курдля. На глазах главного императорского доезжачего курдль будто бы зашвырнул кесаря в пустой колодец, или, может, сам Ксиксар прыгнул туда, спасаясь от зверя, а тот наполнил яму ури-

ной, чтобы заставить кесаря всплыть. Доезжачий убил чудовище и спас государя, но тут же смекнул, что заплатит за это жизнью, ибо кесарю, по соображениям государственной пользы, придется казнить своего спасителя — свидетеля его позора. Поэтому доезжачий, привыкший на охоте действовать быстро, забросил Ксиксара обратно в заполненный до краев колодец и продержал его там, сколько понадобилось, после чего сам вступил на трон в качестве Ксиксара. Эта история — не обязательно чистая выдумка, если допустить, что он поменялся одеждой с убитым; дело в том, что энциане той эпохи закрывали лицо, как мы закрываем срамные части тела. Правда будто бы вскоре вышла на свет, однако немало могущественных вельмож приняло сторону Лже-Ксиксара, видя в том свою выгоду. Действуя необычайно искусно, объединяясь с одними против других, он упрочил абсолютную власть абсолютным переименованием всех *наименований*, прямо или хотя бы косвенно связанных с правлением. Сам ли он утверждал, что нет никакой разницы между правлением настоящего Ксиксара и бывшего подметальщика зверинца, или же это ему подсказали циничные советники, неизвестно. Логократию именовали политическим продолжением истины; Лже-Ксиксара — просто Ксиксаром, якобы никогда не умиравшим; он принял титул Первого Народолюба и отменил смертную казнь, а также обычные в судопроизводстве пытки; однако же лица, неугодные императорскому двору или полиции (которая, впрочем, именовалась уже Товариществом Насаждателей Общественного Добросердечия), исчезали неизвестно как или становились жертвами несчастных случаев, а так называемых Вредоносцев, или Злопыханцев, мучениям подвергали разбойники (которых науськивали, по слухам, Насаждатели Добросердечия). Одновременно пришел конец объявлению войн, а потом и самим войнам, ибо имперские хронисты говорили лишь об отпоре вражеским проидам; тому, что проида эти были делом десятка стран, меньших, чем провинции империи, никто не удивлялся, а если бы и удивлялся, то недолго. Особенно заядлых мучеников, именовавшихся гадами-ретроградами, народ сам затапывал по-

среди города, и говорят, что с немалым усердием. Не удалось установить, как долго правил Лже-Ксиксар, поскольку официально о его кончине объявлено не было. На протяжении двухсот лет о смерти очередных монархов умалчивалось, как о чем-то не соответствующем высшему порядку вещей.

Люзанские политологи поясняют, что правление Лже-Ксиксаров есть частный случай всеобщей в Галактике закономерности. Любая цивилизация, по крайней мере частично, проходит стадию *верозии* — эрозии истины, хотя не обязательно именно в этой, логократической форме, как было у энциан. Верозия принимает различные формы, но появляется всегда в определенную историческую эпоху, а именно в эпоху эмбриональной индустриализации. Лишаясь сакрального ореола, власть слабеет и ищет опору в административной иерархии, а та создает *миражи* (фата-морганы) общественных отношений, идеализирующие действительность в степени, соответствующей интенсивности верований на данный момент, только верования эти бюрократические, а не религиозные. Этот феномен иногда называют самообманывающимся обманом, или авто-фата-морганой. Веру в сверхъестественное могущество правителей заменяет полиция, а процесс обращения информации приобретает такое значение во всех сферах жизни, что трудно устоять против соблазна монополизировать его. Экономическая и информационная монополии различны по объекту присвоения, но сходны, если речь идет о последствиях: и то и другое вызывает социальные колебания. Преобладают при этом либо экономические колебания (рост — кризис), либо информационные (истина — ложь). Утешение выдумкой — простейший стабилизатор социальных структур; впрочем, он имеет ту хорошую сторону, что тревожные ожидания, проистекающие из знания истинного положения дел, оправдываются далеко не всегда, а значит, припрятывание отрицательных фактов под сукно способствует сбережению нервов. Но тут легко перегнуть палку. Синдром авто-фата-морганы (самозаговаривания) означает, что производители вымысла сами заражаются вымыслом; это может привести к полному внутреннему отражению и погло-

шению в процессе бюрократизации, к социозизофрении (одно говорят, в другое верят) и другим, еще более сложным патологоинформационным синдромам. В нормальной (усредненной) цивилизации загрязнение информационной среды ложью достигает 10—15%; если оно превышает 70%, появляются «дребезжащие колебания» с циклом 12—15 лет, а при загрязнении свыше 80% отфильтровать чистую правду уже невозможно, и начинается коллапс. Чтобы его избежать, необходимо *polens volens\** замораживать науку, так как ее развитие вступает в противоречие с развитием верозии. В конце концов оба эти процесса решительно расходятся — возникает «развилка Сиракоса» (по имени социоматика, который ее открыл). Приходится жертвовать либо прогрессом науки во имя верозии, либо наоборот; допускать возможность существования замкнутого анклава истины посреди царящей лжи, некоего островка настоящей науки в море дезинформации, — значит предаваться опасным иллюзиям. Такое состояние нигде не сохранялось свыше 90, в крайнем случае — 100 лет. Устойчивый компромисс между верозией и наукой невозможен. Кто пробует ставить Богу свечку, а черту огарок, остается на бобах, получая в результате никудышную ложь и никудышную науку. Глушение колебаний ведет к «боковому соскальзыванию» в иррационализм, псевдокретицизм и т.д.

Чем больше цивилизационное ускорение, тем труднее держать порознь информацию и дезинформацию; общество в целом начинает колебаться между двумя крайними состояниями — псевдореальностью и псевдоверой. Экономические циклы накладываются на информационные, а так как они не совпадают по фазе, возникает интерференция, вызывающая резонанс и дребезжание. Такие дребезжащие колебания начались в Люзанской империи на исходе XIX века и буквально раскололи ее, наподобие мощного звука, который, резонируя с собственной частотой стакана, раскалывает его вдребезги. Люзания пережила две революции, разделенные

---

\* волей-неволей (лат.).

несколькими десятилетиями смуты (историографы именуют ее Хаотическим Анархизмом). Курдляндию эти потрясения не затронули, поскольку она, намеренно или случайно, предпочла вероанию панверизму, что как раз и нашло выражение в ее полной социальной стагнации; действительно, говорит Тетрарксикс, не потому сидят члаки в безотрадных своих скотинах, что ни о чем ином уже не мечтают, но напротив: они не мечтают уже ни о чем, потому что плотно закупорены в курдьях; заниматься наукой даже в самом большом желудке невозможно, и именно это спасает политоход от нарастающих колебаний и окончательного распада.

После этой экскурсии в галактическую политологию вернемся, однако, к нашим баранам, вернее, овечкам, коль скоро речь идет о делах веры. Церковь — скорее всего бессознательно — высказалась за веризм и против верозии, так как ее гилоистическая доктрина усматривала в каждом новом открытии и изобретении доказательство собственной правоты: раз машины могли освобождать энциан от тяжкого труда, а полезные ископаемые облегчали их существование, значит, Господь действительно сотворил Природу служанкой разумных существ, скромно ожидающей, пока ее позовут. Ведь сам Всевышний окружил их средой, которой можно овладеть, и снабдил разумом, сумевшим совершить это. Они — пожалуй, не слишком обдуманно — на первый план выдвинули ту сторону Природы Господней, которую можно назвать «услужившей» по отношению к Сотворенным; вот почему в истории Энции известны многочисленные конфликты между политической и наукой, но почти никаких — между наукой и религией. И это тоже было причиной готовности, с которой энциане встретили самые первые проекты создания этикосферы — среды обитания, облагороженной научными методами. Такая среда, хотя и полностью искусственная, построенная по правилам психотехнологии, а не по заповедям церкви, находилась тем не менее в полном согласии с этими заповедями, поскольку задумывалась как воплощение замысла Божьего. Господь предоставил им эту возможность — возможность полностью искоренить преступления, проступки, нужду,

катастрофы — словом, любое социальное зло; он хотел, чтобы они собственным трудом и собственным промыслом добились того, что он предназначил им изначально, однако не навязал в виде готового рая, оставив за сотворенными право совершенно свободного выбора.

Главную религию Энциии можно и впрямь считать более «материалистической» и в то же время — менее «бухгалтерской», чем христианство. Ведь она помещала Царствие Божие на Этом Свете и не добавляла к нему Того Света, в котором будет дан полный расчет грехам и заслугам. Быть может, возможность привязки рая и преисподней к каким-то вертикальным пространственным координатам потенциально содержалась в гилоизме (так называется господствующая религия, только, ради бога, не требуйте, чтобы я объяснил происхождение этого слова, — возникло оно исторически, а значит, чрезвычайно окольным путем; для сути же дела это совершенно безразлично), но на Энциии она не смогла осуществиться, потому что рай был помещен здесь не в начале, а в конце истории Сотворения. Что касается меня, то я всегда хотел услышать от компетентных лиц, как обстоят дела с раем, который земная церковь обещает праведникам: тот ли это Эдем, откуда были изгнаны прародители? Но всякий раз, когда подворачивается оказия, забываю спросить. Вроде бы тот вступительный рай был несколько скромнее посмертного.

Надежда на вечную жизнь проявлялась в канонах веры только в виде неясных мечтаний, в древности, когда энциане заметили свое сходство с крупными пернатыми южного загрязья; у умерших будто бы вырастали крылья, на которых они отлетали в небеса; однако ничего похожего на ангелов не появилось в иконографии. Не имею понятия почему. Как видно, здравый рассудок мало на что пригоден в вопросе столь деликатном, как ангелология. Гилоизм не позволял вынести рай за пределы мира сего: согласно главному положению веры, Бог даровал Сотворенным безграничные возможности улучшения условий своего бытия, и можно было, оставаясь в согласии с церковью, полагать, что верующие своими рука-

ми добьются бессмертия на Этом Свете, если только не уклонятся от правильного пути.

Земные теологи, в особенности христианские, упрекают гилоизм в недостаточной глубине: действительно, нет в нем Тайны наподобие Грехопадения, Изгнания из Рая и несущего надежду Искупления. Энцианские теологи отвечают на это, что их религия с самого начала предполагала соответствие замысла Господня природе Творения — Господь что хотел, то и сотворил. Но теология энциан имеет еще более существенное отличие от христианства и других великих монотеистических религий: она не настаивает на единственности Откровения. Согласно землянам, говорят гилоисты, Бог открылся первым людям прямо и тем самым ограничил их неуверенность относительно Его решений и Его особы — но не ограничил свободу воли, что и стало причиной Грехопадения. Так утверждают иудаизм и христианство, расходясь с другими влиятельными религиями, особенно ближне- и дальневосточными, в которых столь недвусмысленного Откровения не было или оно носило иной характер. При таком множестве религий согласовать что-либо они не пытались, и каждая церковь считает себя исключительной хранительницей Божественной истины, а все остальные вероучения — заблуждением. Энциане же — потому ли, что по природе своей они более склонны к рациональному мышлению, или по каким-то иным, неизвестным причинам — многообразие верований положили в основание теологии. Господь, считают они, не ограничивает ничьих поступков и помыслов. Пожелав наделить Сотворенных наивысшей свободой, Творец как бы укрылся от них, и открыть его можно только посредством размышлений о бытии. Если бы было иначе, утверждают гилоисты, если бы Бог действительно открылся людям, он сделал бы это так громогласно и однозначно, что содержание Откровения было бы повсюду одно и множества религий не возникло бы. Что Бог существует, говорят они, видно из космической всеобщности Теогоний, а то, что он не установил одного-единственного пути к себе одним-единственным подлинным Откровением, но молчаливо соглашается на множе-

ство ведущих к Богу путей, следует из факта множественности вероучений. Кто верует, не ошибается, но ошибается тот, кто мнит себя обладателем единственной Возвешенной с Небес истины. Земные теологи отвечают на это, что вышеуказанное рассуждение можно и должно применить к самому гилоизму, который ни за одной религией не признает права на исключительное обладание истиной, а значит, и сам ею не обладает. Этот спор, заметил некий доминиканец, низвергает нас с небес веры в преисподнюю парадокса. По мнению люзанцев, Земля находится на более низкой стадии богостроительного движения, нежели Энция, где давно уже нет противоречащих друг другу религий. Тут наши снова указывают на существенную роль насилия в религиозном объединении энциан, но на этом месте я оборву затянувшийся спор об Откровении.

Тамошняя церковь довольно радушно встретила появление рассудительных служащих машин, считая во всех отношениях благодетельным, чтобы бездушные манекены избавили живые создания от непосильного труда; поэтому неприятным сюрпризом оказался бурный рост машинного интеллекта, особенно когда машины потребовали полного равноправия с энцианами, включая право на приобщение к церкви. Роботы эти, по-местному ардриты, ссылаются на учение церкви, однако толкуют его шире, чем церковь того бы хотелось: они утверждают, что энциане построили их, ибо того пожелал Господь, сотворив мир таким, чтобы в нем *можно* было конструировать одухотворенные машины, тем самым переставшие быть машинами. А если бы не пожелал, никто ничего подобного сделать не смог бы. Мне это кажется убедительным, и для тамошней церкви тут мало приятного: выпутаться из затруднения помогла ей не собственная богостроительная индустрия, но появление одухотворенных систем некомпьютерного образца, а именно шустров. За каких-нибудь несколько десятков лет роботы исчезли; впрочем, это эвфемизм, и за ним скрываются ужасные события, нередко называемые киберноцидом. Энциане сами пальцем не тронули ни одного ардрита? Тоже мне оправдание. За них зато

взялись шустринные системы; ведь доезжачий тоже не сам гонит зайцев и рвет их не собственными зубами и когтями. В лесах и пещерах творились будто бы ужасные вещи, и были, говорят, энциане, готовые скорее погибнуть вместе со своими ардритами, нежели выдать их на разборку. Удивительно, до чего это напоминает мне кое-какие моменты нашей истории. Случись нечто такое у нас, пожалуй, нашлись бы охотники выставить роботов виновниками всяческого зла, новейшим воплощением лукавого. Мне скажут, тут и говорить не о чем, все это чистая абстракция; но то, чего пока не было, может еще случиться.

Добрым отношениям между религией и наукой немало способствовал птерогенезис энциан; не случайно, когда их естествоиспытатели обнаружили этот факт, шуму было не в пример меньше, чем у нас после дарвиновских обезьяньих сенсаций. Обезьяноподобный предок с самого начала стал причиной жгучей обиды: обезьяна с незапамятных времен считалась карикатурой на человека, и карикатурой отнюдь не дружеской. Обезьянничество, то есть передразнивание, — оскорбительное словечко во всех языках. Мало какое животное так плохо подходит для идеализации, как обезьяна. А вот на Энциии пернатые предки никого не смущали — ни в светской, ни в духовной среде; их жилищем по традиции считалось небо, так что энцианская церковь учение о птерогенезисе могла считать научным подтверждением своего собственного учения: праэнциане как бы сошли с небес на землю. Столь стройный дуэт науки и веры был лучшим подтверждением истинности их обеих; именно так Господь давал знать, что предположения энцианских ученых и богословов были одинаково справедливы. Раннее создание эволюционного учения ускорило развитие естествознания, и в конце XX века энциане дошли до генженерии; тогда же появились первые образцы ардритов. Весьма характерно, что не теология, но философия первой выступила в защиту неприкосновенности естественного тела, как я уже говорил, когда цитировал Ксиксокта. Злые языки утверждают, что теология привлекает умы не самого высокого полета в отличие

от философии, ведь в первой окончательный результат исследования известен заранее, а во второй выступает как абсолютная, никем не предустановленная загадка; и отсюда будто бы проистекала ребяческая беспомощность теологов-гилоистов перед лицом программы автоэволюции и даже прямое ее одобрение. Телесное усовершенствование энциан, казалось бы, прямо вытекало из основного догмата о мире как материале, который Господь обработал и отдал во владение людям, чтобы те воспользовались им с наибольшей для себя пользой. Они были частью Творения, так почему же их самопеределка в погоне за совершенством неужто Богу? Ксиксокт и ему подобные, однако, восстановили общественное мнение против этой слишком уж доверчивой веры.

Что же еще? Наши теологи говорят, что энциане отказались от вечности, а они нам — что христианство пренебрегло земной жизнью, сочтя ее залом ожидания или просцениумом Того Света, о котором, как ни толкуй, ничего не известно с такой достоверностью, как об Этом Свете, а ведь создал его, по единодушному мнению обеих планет, Господь, так что трудно представить себе веру более странную, нежели вера, усматривающая в Творении Божьем времянку, подлежащую сносу на Страшном суде. Какие претензии, говорят они, какая гордыня под маской смирения — вместо того чтобы удовольствоваться Господней синицей в руках, домогаться жаворонка в небе, где будет больше комфорта и вечные трюфели! Энцианские богословы считают достаточным основанием для заботы лишь об Этом Свете его доступность смертному разуму. А будь это неужто Господу, разум противостоял бы миру, но не смог бы его познавать и овладевать таящимися в нем сокровищами и могучими силами. Что дело обстоит именно так, доказывает обращенность Творения к существам разумным, хотя обращенность эта не равнозначна простому переводу стрелки на путях, ведущих напрямик в поюсторонний планетный рай. Вообще говоря, тамошние теологи проявляют немалую сдержанность при обмене межцерковными декларациями, но можно найти и таких, кто заявляет, подобно Ксиксу Ксассу, что мировое зло в нашей те-

одищее — это не зло «в чистом виде», но зло, неустранимым образом сросшееся с сексом. Ксасс утверждает, что человек с незапамятных времен знал, вернее, смутно догадывался об этом, но не хотел признаться себе самому и лишь открещивался от сознания «виноватости без вины» фразой об «испорченной в колыбели природе человека».

Здесь в рассуждениях Ксасса о земных делах появляется обезьяна. Из демонологической иконографии известно, сколь далеко заходит сходство дьявола с обезьяной: у него ведь тоже есть хвост, и шерстью он покрыт, как крупные антропоиды, и череп у него вполне обезьяний, скошенный, и зубы тоже — хотя бы на средневековых картинах с изображением Страшного суда; конечно, художники фантазировали, но почему они брали за образец именно обезьяну, а, допустим, не хищных птиц? Почему птичьими атрибутами наделялись обычно безгрешные существа, например ангелы? Почему не только руки, но и ноги изображаемых дьяволов были *цепкими*? Почему дьяволы ходят на двух ногах, как высшие обезьяны, а не на четырех, как, скажем, драконы? Нерелигиозные энцианские антропологи считают эту концепцию ошибочной, поскольку речь в ней идет об иконографии лишь одной земной веры, ведь даосизм или буддизм не знают европейских воплощений зла; но тех, кто интересуется крайностями, я отсылаю к «Сравнительной анатомии дьявола», изданной Институтом Святой Гилоистики в Урксе, патроном которого является все тот же люзанский теолог; если он даже и заблуждается, то весьма любопытным образом.

Вернемся к материям более важным.

В то время как в сфере христианской культуры новая эра, датируемая рождением Христа, была сплошным ожиданием конца света и Страшного суда (причем первые христианские общины ждали этого конца с минуты на минуту, а более поздние — с растущим опережением во времени, пока наконец Страшный суд не отодвинулся куда-то в неведомое грядущее), энцианское средневековье, не знавшее ни эсхатологического трепета, ни эсхатологических упований, ожидало чего-то совершенно иного — неведомых перемен и оборотов судьбы,

которые исполнили бы обещание Господне, что Его попечением, но своими руками народ победит нужду, увечья, голод, заразу, а в конце концов, и смерть. Так что хотя и у нас, и у них ожидали, но ожидания эти различались между собой, как небо и земля.

Только этим можно объяснить, откуда, собственно, взялись у энциан зачатки фелицитологии и гедонистики как доктринальных дисциплин, сначала церковных, а затем все более светских, — дисциплин, имеющих целью отыскание условий частного и всеобщего блаженства. Свой вклад внесла в эту ориентацию и биология энциан, препятствовавшая перерождению употребления в злоупотребление, ибо над энцианами не висит дамокловым мечом со множеством лезвий эротическая оргиастика: они хотя и способны находить удовольствие в жестокостях, однако без сексуального компонента, которого на Энци нет и быть не может. Есть только та неизгладимая печать, которую на все разумные (будто бы) существа накладывает хищническая стадия эволюции, то есть приобщение к кровопролитию как неперемнное условие возникновения разума.

В истории гилоизма были расколы и была схоластика, однако непохожие на земные. Не имея нужды ломать себе голову над проблемами, с которыми мучились наши схоласты — как устроен рай и как преисподняя, куда идут души некрещенных младенцев, что происходит в чистилище, чем живущие могут помочь проклятым временно или навечно, сколько ангелов усядется на булавке, — их богословы создали схоластику, которая подошла в самый раз, когда появилась технология зарешечивания зла и насаждения добра. Правда, тысячу лет спустя раздались голоса, что эта дотехнологическая гедонистика приблизила фатальный исход — слишком легко и даже восторженно ее приверженцы приняли за осуществление предложенных теологами планов. Но это, по мнению специалистов, упрощение: абсурдно считать, будто технология заимствовала программу действий у теологии.

Трудно рассказать о фелицитологической схоластике в двух словах, ведь ей посвящены груды древних книг и руко-

писных трудов, создававшихся столетиями. Церковные гедологи, изучавшие проблематику всеобщего осчастливливания, старались сначала установить, сколько имеется родов блаженства и чем оно вызывается. Одно дело — кратковременные наслаждения, другое — *status delectationis*\* или, наконец, благостаз. Подобных различий было установлено множество, но в общем виде принято говорить о максимуме и минимуме добра. Минимум равняется всего лишь полному отсутствию зла, а максимум — это полное счастье. В качестве курьеза упомяну о теории доктора гедоматики Скиррукса: *ощущение* максимума не совпадает с действительным максимумом, но имеет два пика — в фазах предвосхищения и ретроспекции, то есть перед самой вершиной кривой интенсивности благих ощущений и сразу же после нее; тот, кто на самой вершине, об этом не знает; осознается это лишь при ожидании и воспоминании. Уже отсюда видно, сколь непроста была гедонистическая схоластика. Перечислю лишь названия некоторых разделов *Codex Felicitomanticus*, своего рода лексикона ублажения (XIII век): «Почти-соприкосновение облегчения и счастья», «Ублажение постепенное и внезапное», «Блаженство аскезы при скачкообразном отказе от нее», «Инфинитезмализм счастья» (это было, говорят, очень важное, но забытое позже открытие — что вскоре по достижении счастья начинает падать восприимчивость к благим ощущениям, и для ее поддержания на должном уровне необходима психоakupунктура). Особо стоит так называемая «Черная семья счастья» — упоение тиранством, измывательством, вставлением палок в колеса и пытками; речь идет о счастье, проистекающем из несчастья других. Сюда же относится пантокластика (радость от уничтожения чего-либо) — бредово-химерическая (это уже, в сущности, область интересов психиатрии), вырожденческая и самоубийственная, или суицидальная. (Какой-то средневековый монах придумал альтруцидальные забавы, то есть утехи, проистекающие из успешного склонения ближних к самоубийству: пережить другого — уже удовольствие.

---

\* состояние наслаждения (*лат.*).

Следует подчеркнуть, что монах этот вовсе не обязательно был исчадием ада; просто его орден — фелицитов — исследовал *все*, что может служить утехой, невзирая на моральную оценку исследуемых явлений.) Каталоги старинных собраний церковной гедонистики сами по себе представляют захватывающее чтение: из них видно, что нет такого несчастья, которое при определенных условиях не могло бы стать для кого-нибудь источником сладостных переживаний. Всевозможные оттенки счастья, приобретаемого достойным и недостойным путем, исследовали братья-фипраксианцы; сам Фипракс, говорят, велел подвергнуть себя мучениям по самой изощренной методике, дабы установить, нет ли случайно и тут хотя бы крупинцы душевного удовлетворения, и был за это причтен к мученикам науки.

Экуменизм пока что не стал межпланетным, поэтому не счесть филиппик наших теологов против гилоизма; но я опять-таки ограничусь одним лишь примером — критическим разбором энцианских представлений о Творце как «Боге вещей», которому сотворенные служат, служа сами себе, что будто бы сводит их религию к подысканию высших оправданий коллективного эгоизма, а в лучшем случае — к доктрине такого усовершенствования общества, которую мог бы полностью принять любой атеист. Возражение это, отвечают энциане, есть следствие нестыковки и расхождения понятий, возникших в различных мирах. Гилоизму не чуждо понятие совершенно бескорыстного служения Господу. Но начиная с Нижнего средневековья, с Первого Собора, обязательное для верующих служение Богу может выражаться не иначе как в образе их жизни. Отцы энцианской церкви в своих энцикликах разъясняют, что не только имени Божьего не следует упоминать всуе, но нельзя просить Всевышнего о чем бы то ни было. Можно лишь возносить Ему хвалу, да и то молча, без слов — в душе. А просить Его о чем-либо нельзя: это было бы проявлением либо детской наивности (в чем нет греха), либо недостаточной веры. Тот, кто сотворил мир, не интересуется сиюминутностью; жизнь каждого существа вместе с неведомым будущим для него открытая книга, ибо Господь пре-

бывает вне времени. Его атрибут — непреходящая вечность. Он создал мир, вместе со всеми его звездами и обитателями, то есть призвал его к бытию таким, каким хотел его видеть, — каждую галактику и каждую пылинку. Поэтому было бы чем-то ребяческим или предосудительным требовать от Него любых изменений, поправок, услуг, вмешательства или невмешательства для блага личностей или групп.

Как видим, известный и нам запрет на обращение к Господу всеу энциане довели до крайности, что нам уже не вполне понятно. По их убеждению, попытки повлиять на волю Господню просьбой, молитвой и даже помышлением есть свидетельство веры слабой и неразумной, ведь они означают несогласие с промыслом Божиим и недоверие к Его милосердию. При постоянных ценах незачем торговаться, и никто в здравом уме этого не делает, а если и делает, то лишь из любви к самому торгу; и хотя энцианским теологам прекрасно известно о психотерапевтическом воздействии молитвы, о чувстве облегчения и надежды, которое ей сопутствует, они, однако же, видят пагубное сомнение именно в том, в чем наши богословы усматривают заслугу. Кто не сомневается, сказал Отец Хиксион Второй, тот ни о чем не просит. Напоминать Господу о себе — значит относиться к Нему как к заблокированной в час пик телефонной станции; молиться — все равно что тыкать в розетку и стучать по аппарату, а горячо молиться — значит повышать внутренний голос до крика, чтобы тебя услышали. Все это ставит под сомнение *абсолютное*, а значит, *не могущее быть улучшенным* Всеведение и Всемогущество Добра. Думать, будто Господь вечно смотрит в другую сторону, не туда, где находится просящий, могут только младенцы. Если же Он все видит и обо всем ведает, незачем лезть Ему на глаза и добиваться Его внимания торжественными обетами и высочайшей концентрацией набожности: Господь способен всмотреться в нас куда глубже, чем мы сами с нашими молитвами и обетами. До Второго Собора еще разрешалось молиться за других (не за себя); потом — уже нет. Конечно, при этом пришлось отказаться от психологического облегчения, достигаемого молитвой; однако в

противном случае, утверждают энциане, эгоизм, то есть забота каждого о личных делах, восторжествовал бы над верой в непогрешимость Всевышнего. Служение другим и есть служение Богу, ибо тем самым исполняется замысел Творения, понимаемый как движение к совершенству.

Представляется непонятным, как могла сохраниться неизменной доктрина веры в условиях слияния духовной и светской власти, — казалось бы, вероучение должно было меняться в соответствии с интересами правителей, как это было у нас на Земле (именно таково, например, происхождение англиканской религии). Немалую роль сыграл тут устремленный в грядущее догмат о «посюстороннем рае», который будет построен не раньше, чем появятся необходимые для этого средства. Такое кунктаторство, проистекающее из самой догматики, то есть признание неизбежности оттяжки в деле усовершенствования общества, можно считать обычным ухищрением власти — отвлечением внимания от каждодневных бед и забот, и именно в этом упрекали церковь энцианские свободомыслящие, а также еретики. Во всяком случае, «встроенное в веру запаздывание исполнения желаний» немало способствовало распространению в обществе настроений молчаливого выжидания, когда у власти оказывались чудовища вроде троих Лже-Ксиксаров (не знаю, почему принято говорить именно о троих, коль скоро ни об одном в отдельности ничего не известно; но думаю, что по меньшей мере столько же неясностей встретил бы энцианин в нашей всеобщей истории). Вряд ли тамошние священники и богословы имели возможность хоть как-то предвидеть развитие или, лучше сказать, *возникновение* науки (ведь ее еще не было и в помине), которая позволила бы энцианам реально взяться за исполнение заповеди «усовершенствования Этого Света». Похоже, однако, что они, хотя и не могли ожидать ничего подобного на основании знаний, которыми располагали, верили в это не менее твердо, чем христиане в спасение после смерти.

Влияние веры, сдерживавшее общественное развитие, стало ослабевать в народе к началу XXII столетия. Предложение

товаров возрастало, социальная пирамида все более сплющивалась, и, как это обычно бывает при индустриальном скачке, все начало ускоряться: производство, торговля, коммуникации, миграция населения. Умеренное благосостояние стало вполне достижимым, и именно это подорвало фундамент веры. Так, по крайней мере, утверждают историки. Народ ждал обещанного церковью исполнения желаний, исполнения тем более полного и великолепного, что никто не представлял себе, как оно должно выглядеть, а зачаточное благоденствие, которого уже удалось вкусить, разочаровывало, как если бы все вдруг подумали: «И это все?» Тогда-то и началась мировая война, удивительная тем, что она до конца оставалась государственной тайной.

Называют ее по-разному — «утаенной войной», «дивной войной», и уж меньше всего можно узнать из люзанских источников о противнике, с которым велась эта тайная схватка. От самого же противника узнать вообще ничего нельзя: по прошествии двадцати с чем-то лет он бесследно исчез, словно его и не было никогда на планете. Даже само название вражеского государства не сохранилось сколько-нибудь надежно. Известно, что размерами оно не уступало Люзании, располагалось на антиподах, у Южного полюса, на Цетландском континенте, и что люзанцы называли его Черной Кливией, а курдландцы — Голивией. От него ничего не осталось, кроме пустыни с уходящей на несколько сот метров вглубь вечной мерзлотой. Люзанское правительство установило на этой вымершей, выморочной территории бессрочный карантин и не позволяло — во всяком случае, согласно доступным источникам, — ни одной научной или военной экспедиции ступить на землю Цетландии. Наши люзанисты строят по этому поводу многочисленные догадки, но сколько-нибудь отчетливая картина не складывается.

Черная Кливия, или Голивия, никогда не объявляла войну Люзании, не вступала с ней в вооруженный конфликт, но пыталась овладеть всею Энцией потихоньку, исподволь, окольным путем. Ее обитатели, правда, были тоже энциане, но другой расы и чуть ли даже не другого вида. Когда орды

кочевников по экваториальному перешейку пробирались из Тарактиды в Цетландию (примерно тогда же, когда другая их часть проникла на вулканическое плоскогорье на севере Тарактиды, где впоследствии суждено было возникнуть Люзании), после ряда природных катаклизмов разверзся глубокий подводный ров, отрезавший друг от друга соединенные доселе материки — так началось великое разделение праэнциан, и через каких-нибудь сто тысяч лет покорители Цетландии изменились физически под влиянием суровых условий этого полярного континента. Они были ниже ростом, не столь длинноноги, осанка их, прежде совершенно прямая, стала слегка наклонной; в древности и в средневековье они отличались особой жестокостью к чужеземцам, то есть энцианам Тарактиды, и будто бы истребляли одну за другой все экспедиции, добравшиеся до них через грязеан. Поначалу их племена занимались охотой, затем на протяжении столетий объединялись и вновь распадались на мелкие государства, но достоверных сведений об их истории нет. Объясняется это, по-моему, тем, что люзанцы, страдавшие от необъявленной и даже не ведущейся официально войны, нанесли им страшный удар, и эффективность его оказалась настолько чудовишной, что победителей охватило чувство неизбывной вины. Над кливийцами будто бы владычествовал какой-то особый императив, то ли религиозный, то ли светский, который требовал от них не жалеть ничего ради всеобщего Ка-Ундрия.

Чем был этот Ка-Ундрий, я так толком и не узнал, хотя перерыл целый библиотечный зал, а это не так уж мало. Впрочем, само название придумали искупленцы — гилоистический орден кающихся, который предается воспоминаниям о страшной участи кливийцев; люзанское правительство относится к искупленцам терпимо, однако они не имеют права обращаться к люзанскому обществу и разглашать какие бы то ни было сведения о внутренних делах ордена. И лишь благодаря утечке информации известно, что кливийцы в отличие от северных энциан говорили почти бесшумно, словно были способны лишь к хриплому шепоту, а их беззвучный язык не имеет близких аналогов ни в курдлянском, ни в

люзанском наречиях. Ка-Ундрий — это символ, которым искиупленцы обозначали — но, собственно, что? Национальные интересы кливийцев? Сущность их государственности? План покорения планеты? Путь к счастью? Или само это счастье? Я охотно потолковал бы с каким-нибудь монахом-искупленцем о том, как оно было на самом деле, поскольку, как я уже говорил, распространять любые публикации о Кливии запрещено. Ка-Ундрием называли какую-то идею универсального характера, требовавшую величайших жертв, вплоть до самой жизни, — это представляется несомненным. Всех остальных энциан кливийцы называли Хс-Хсце, что значит «Ничего-Не-Разумеющий». А так как Ничего-Не-Разумеющих нельзя было заставить уверовать в Ка-Ундрий и эта бестолочь, по их представлениям, стояла на пути к Исполнению — уж не знаю чего, — то они старались подчинить или уничтожить всех некливийцев. По-видимому, тут произошло весьма любопытное превращение: сперва они боролись с Ничего-Не-Разумеющими лишь символически и магически (и убивали каждого, кто попадался им в руки, называя это его Обращением), а потом все более и более реально, по мере того как овладевали начатками технологии. Они были мастера по части всевозможных механических ремесел. Похоже, что они первыми сконструировали самодействующие боевые устройства, из которых позже возникли так называемые ультиматы, и мало-помалу втянули Люзанию в гонку вооружений. Но так как кливийскую версию этих событий, охватывающих верхнее средневековье и первое столетие Нового времени, услышать нельзя, а люзанцы, конечно, в этом вопросе пристрастны, добросовестный исследователь должен поставить здесь большой знак вопроса. Так, впрочем, и поступает большинство люзанистов.

Поначалу восемь тысяч миль грязеана, разделяющего Тарактиду и Цетландию, превращали гонку вооружений в какое-то обоюдное помрачение, лишенное всякого военного смысла. Правда, «ястребы» из числа штабистов требовали, чтобы люзанские вооруженные силы высадились в Цетландии, но ничего подобного не произошло; все эти планы пресе-

кались в зародыше более здравомыслящими политиками. Кливийцы были весьма сильны в математике и умели хладнокровно рассчитывать. Мистический или, во всяком случае, таинственный характер Ка-Ундрия, направляющего все их усилия, отнюдь не мешал им действовать на трезвую голову. Хотя движущая ими идея завоевания была, возможно, и бессмысленной (а разве бывает иначе?), однако осуществлялась она на удивление методично. Расходов она требовала, безусловно, громадных: ведь это был уже век промышленного ускорения, и каждые несколько лет в производство запускались новые, все более дорогие системы оружия. Люзания, с ее природными богатствами и более благоприятным климатом, которая к тому же первой вступила в индустриальную веру, не отставала от соперника ни на шаг, однако поживалась при этом, ибо финансовое бремя вооружений, именуемых чисто оборонительными, непрерывно росло. Великая мировая война началась втихомолку, без единого выстрела, без вступления в бой крупных войсковых соединений, поскольку все операции были криптовоенными. Неизвестно даже, насколько верны сообщения некоторых курдландских источников (Курдландия сохраняла нейтралитет, весьма относительный, как увидим), будто противники пробовали вредить друг другу, вызывая дистанционное расстройство климата и землетрясения; возможно, то были всего лишь угрозы, попытка запугать неприятеля или же отвлекающая операция — чтобы заставить врага вкладывать средства в бесперспективные методы борьбы. Правда, большие центральные озера Цетландии действительно исчезли в сейсмической трещине, однако ничто не указывает на искусственный характер этой катастрофы. Как бы то ни было, до прямого столкновения дело не дошло. Почти одновременно Тарактида и Цетландия вступили в эру биотехнологии. Невозможно установить, кто первым применил так называемое зачаточное оружие. Следует помнить, что сражающиеся через океанский простор противники были энцианами, а оплодотворение совершается у них опылением. Кто-то пустил в ход патоферы — патогенные

фертилизаторы. Похоже, однако, что сделали это кливийцы. На протяжении нескольких лет Люзании пришлось решать серьезнейшие демографические проблемы: на свет появлялось множество детей с врожденными уродствами. Но даже тогда она не призналась в том, что эндемия рака новорожденных связана с Кливией, а тем более в том, что на это тайное нападение люзанцы ответили истребительным контрударом.

В библиотеке МИДа, не знаю почему, вообще нет военного отдела, и на труд генерала доктора Брюммеля, посвященный межконтинентальной биологической войне на Энци, я наткнулся совершенно случайно. Брюммель (а может, и Брюммли, не помню уже) предполагает, что война с самого начала была генетической; сам он, кажется, специалист по такого рода оружию. Генерал-доктор (сегодня нельзя стать генштабистом без нескольких степеней) готов допустить, что Кливия первая начала рассеивать над Люзанией патогены, или патоферы, выращиваемые в биовоенных комплексах; но лишь часть зачатых таким образом детей оказалась не способна к жизни. С военной точки зрения, толково и сухо разъясняет генерал-доктор, уничтожение живой силы противника биологическим путем, посредством дистанционного оплодотворения, — задача весьма сложная. Разумеется, особенности естественного размножения энциан значительно ее облегчают, но дело в том, что сперматозоид, слишком отличающийся от нормального, отторгается яйцеклеткой, а сперматозоид, недостаточно патогенный, приводит к появлению на свет потомства, поддающегося лечению. Проектирование сперматозоида (а это настоящие конструкторские работы, и ведутся они в специальных конструкторских бюро, со штатом из первоклассных научных сотрудников), который не отторгался бы организмом самки и в то же время был губителен для него, требует громадных знаний и высокого технологического уровня. Говоря коротко, люзанцы превосходно доделали то, что кливийцы начали неважнецки, поскольку первые продвинулись дальше в области биотехнологии

или, точнее, военной технобиотики. Они не действовали сгоряча и не ограничились полумерами, но ударили по кливийцам «грязным фертилизационным оружием» с таким размахом, что все население Цетландии вымерло на протяжении жизни одного поколения: вынашиваемые плоды поубивали всех способных к деторождению кливиек. Люзанцы, говорит генерал Брюммли, применили фертолеты, то есть летучие фертилизаторы. Они обеспечивают оплодотворение, при котором эмбрион становится злокачественным новообразованием, поражающим организм матери прежде, чем наступят роды. Одновременно люзанцы применяли у себя какие-то методы противозачаточной защиты, опасаясь, что Кливия ответит таким же ударом; но ее оружейники не успели, а может быть, не сумели вырастить столь же смертоносные инсеминаторы.

Неведомо как слухи об этой катастрофе дошли даже до земных журналистов; некий Говард Пинтел писал в научно-фантастических журнальчиках, будто на Энциии действовали «бригады противозачаточных десантников», а также «контрацепционные пыльцеметы», но это очевидные бредни, ведь энциане размножаются не так, как представлял себе журналист-невежда. Были, конечно, попытки нарушить экосферное равновесие, но не это нанесло Кливии обернувшийся геноцидом удар. Никаких «военных абортистов» в Люзании тоже не было: части гражданской обороны состояли из медиков и биологов. В конце концов нельзя было скрыть растянувшуюся на долгие годы гибель населения неприятельского государства. Впрочем, оно, надо думать, не вымерло бы целиком, если бы люзанцы не поддерживали над вражеской территорией нужную концентрацию убийственной пыльцы. Отфильтровать ее на сто процентов невозможно; кливийцы, правда, начали строить огромные убежища, чтобы спасти хоть часть населения, но не успели, поскольку не были готовы к массовой атаке. Однако и тут не все ясно: например, почему среднегодовая температура Южного полушария упала на девять градусов за каких-нибудь шесть лет; но если даже люзанцы и приложили к этому руку, они никогда не призна-

лись в этом. Развалины кливийских городов покрыл ледник, и, как уже говорилось, вечная мерзлота сковала Цетландию на глубину в несколько сот метров. Лишь через сто лет климат Южного полушария потеплел (хотя и не вернулся к довоенному уровню).

В одном из примечаний доктор Брюммли приводит такое мнение своего анонимного коллеги по профессии: тот, кто страдает от докучливых насекомых, гадов и мышей и наконец прихлопнет мерзкую тварь, но не насмерть, при виде ее содроганий впадает в панику и тогда уже *должен* поскорее добить ее чем-нибудь; агония вызывает страх и отвращение одновременно, так что хочется *покончить* с ней как можно быстрее, и любые средства здесь хороши. Что-то в этом, пожалуй, есть; поэтому, добавлю уже от себя, если даже люзанцы сами не ожидали столь чудовишной эффективности своих генолетов (некоторые эксперты именно так называют это оружие — летучую оплодотворяющую пыльцу), то затем они пустили в ход все средства, имевшиеся в их арсенале, чтобы извести кливийцев под корень, хотя поначалу, возможно, и не питали подобных намерений. Не исключено, что, уничтожая «живую силу» кливийцев (как сказали бы специалисты-конфликтологи), они хотели всего лишь ослабить их, заставить пойти на попятную, быть может, согласиться на переговоры, перемирие, мир; но невероятный размах умерщвления (Кливия насчитывала миллионы жителей) сделал какое-либо соглашение победителей с побежденными невозможным. Так, по крайней мере, считает доктор Брюммли и его коллеги по профессии. Биологическое оружие генного типа, добавляет Брюммли, чревато опасностью самопроизвольной эскалации. Даже обычную бактериологическую эпидемию легче вызвать, чем прекратить. Это, указывает ученый генерал, оружие неконтролируемое, и люзанцы, несомненно, охотнее применили бы против Кливии неживое оружие дистанционного типа; однако его у них не было, когда конфликт вступил в критическую стадию. Обе стороны еще не преодолели тогда «надкомпьютерного поро-

га» гонки вооружений. Брюммли вообще очень многое мог бы сказать на эту тему, но решительно ничего — об умерщвлении государства, которое было обязано своему Ка-Ундрию (Брюммли, однако, пишет «*Кон-Ундрий*») самоубийственным столкновением с более могущественным противником.

Все это оглушило меня, словно удар палкой по голове. У меня уже сложилось свое представление о люзанцах и курдल्याндах, не идиллическое, конечно, но вовсе не такое уж мрачное, — даже о том, чего я не смог понять. Гилоизм, казалось бы, просто вынуждал люзанцев придерживаться миролюбивой политики, а диковинность курдल्याндского политохода можно было счесть специфической, местной формой привязанности к сельскому образу жизни. Я уже так много узнал о тех и других, и тут вдруг пришлось даже не пересматривать свои представления, а просто заменять их новыми. Возможно, еще большими оказались потери Курдल्याндии — в войне, в которой она даже не была сражающейся стороной; но ветры, гнавшие тучи родительской пыли, не считались с государственными границами. Это, впрочем, опять-таки всего лишь люзанское предположение: сама Курдल्याндия не призналась в каких-либо военных потерях. Вообще история этой войны — дьявольский лабиринт, ведь оба уцелевших государства имеют свои собственные многоступенчатые системы засекречивания информации, и документы с грифом «совершенно секретно» не попадают в космический эфир, а это основной канал информации — именно он позволил министерству заполнить библиотечные залы тысячами томов. В крайне скурых источниках по истории великой энцианской войны я нашел гораздо больше вопросов, чем ответов. Почему Цетландия покрылась материковым льдом? Если это дело рук люзанцев, как намекает генерал Брюммли, то почему даже через триста лет — а как раз столько времени прошло после глобального конфликта — ледник по-прежнему покрывает руины кливийских городов? Напрашивается, правда, мысль, что люзанцы хотели бы спрятать эти руины, следы бескровного геноцида, под могильной плитой ледников; но не

следует забывать, что после войны среднегодовая температура планеты снизилась на два градуса, а это вряд ли пошло на пользу Люзании. Неужели великое государство могло так долго — веками — помнить о совершенном им военном преступлении и так стыдиться его? Одно лишь втайне утешало меня (хотя хвастаться тут, понятно, нечем) — чувство облегчения, которое помимо воли испытываешь, узнав, что у людей, казалось бы, почтенных и уважаемых, на совести не меньше грехов, чем у тебя самого.

### III. В пути

Уже октябрь, звезды пожелтели и как-то стало прохладнее, а я лечу. Не скажу, чтоб я вовсе не ожидал полететь: я давно заподозрил, что необычайная доброжелательность советника связана с нашей общей прислужгой. Впрочем, теперь уже все равно. Что стал бы я делать в ракете со своей приходящей, да и откуда она пришла бы в ракету? Факт тот, что я держу курс на Тельца, что на мне полушубок и лечу я — знаменательная переключка! — в качестве дипломатического полукурьера. Так решило после долгих совещательно-заседательных мытарств Управление Профилактики Жалоб и Ссор. Не полный курьер, так как мы еще не обменялись послами с Энцией, и не частный турист, ведь речь идет не просто об исправлении опечаток в очередном издании «Дневников», но о предотвращении инцидента, который дедуцировали модули Института Исторических Машин. Результатом этого путешествия будет — на юридическом языке — снятие с меня обвинения в злом умысле, а на футурологическом — самоотменяющийся прогноз. Я сообщу чистую правду, старое издание без лишнего шума изымут из библиотек, и я уже не буду автором камня преткновения для энциологов. Пишу я не только в полушубке, но словно бы в полусне, пытаюсь сообразить, можно ли говорить об авторстве камня? Добро бы еще камня в почке или желчном пузыре, но преткновения?.. Мысли вязнут в метафорической минералогии. Решив обратиться к

«Фразеологическому словарю», я уронил себе на ногу утюг — ведь у меня современный корабль с искусственной гравитацией — и, ругая по-черному эти новейшие усовершенствования, от которых я камня на камне бы не оставил, с тоской подумал о прежних примитивных экспедициях, когда астронавт порхал себе по всему кораблю, словно бесплотный дух. Я не стал привязывать спальный мешок к стене — настолько непросто выбираться из него по утрам, — и было что-то забавное в том, что я знал, где ложусь (вернее, зависаю) на отдых, но не знал, где проснусь на черной заре. Вместе со спальным мешком я плавал туда и сюда, под думкой у меня был фонарик, и нередко, задев в ночном парении за книжную полку, я спросонок хватался за нее, книги взлетали, словно всполошенные птицы, а я, поймав первую попавшуюся, принимался за чтение при свете фонарика, в спальном мешке, спеша узнать, чем на сей раз попотчевал меня случай. Бортовая гравитация имеет, собственно, лишь ту хорошую сторону, что потом, в первый месяц пребывания дома, не причиняешь большого ущерба; известное дело: привыкнув, что при выдавливании пасты на зубную щетку можно спокойно поставить стакан с водой в воздухе, а потом взять его, не опасаясь, что он камнем пойдет вниз, то же самое машинально делаешь на Земле; и те же заботы, увы, с супницей, с тарелками, ну а после заметаешь осколки. А что касается ракетного спиритизма, я всегда высмеивал тех, кто клянется, будто что-то жуткое привиделось им между Антаресом и Бетельгейзе. Это просто белеет развешанное для просушки белье; а иногда что-то скребется и шуршит, и тебя пробирает радостная дрожь при мысли, что твое одиночество скрасит спутник, хотя бы даже и мышка, но, с другой стороны, мышь в условиях невесомости совершенно теряет голову, и можно обнаружить ее в самых невероятных местах; мне кое-что об этом известно, и тут я всецело на стороне прогресса.

Я позволил установить на борту дискуссионный компьютер — дискьютер. Как видно уже из названия, такой компаньон должен развлекать астронавта беседами, вдобавок профессор Бурр де Каланс раздобыл для меня новейший,

расщепляемый образец. Я приобрел модели всех лиц, с которыми был бы не прочь перекинуться парой слов. Удивительно, до чего проста идея кассетных моделей — и как поздно до нее додумались! Сперва делают биоэлектрический портрет моделируемой личности, затем битуют его, то есть вводят в программу, и в виде самой обыкновенной кассеты вставляют в дискьютер; одно лишь нажатие клавиш, и в помещении раздается знакомый голос, причем это вовсе не личность в собственном смысле, и в любую минуту ее можно запросто выключить, сменить кассету или пойти спать. Разумеется, какой-то минимум приличий, правил хорошего тона не повредит — и не потому, что модель может обидеться, нет, какая уж там обида, ведь это чисто рациональный экстракт, вытяжка, — но по соображениям личной умственной гигиены некоторые правила общежития полагается соблюдать. Неплохо иметь на борту такую психотеку, только не стоит требовать от нее невозможного. Любая поваренная книга содержит все сведения, необходимые, скажем, для выпечки орехового торта; однако торты, сделанные по одному и тому же рецепту двумя хозяйками, похожи один на другой не больше, чем Шопен в исполнении Рубинштейна на Шопена в моем исполнении. Рецепт, хоть и содержит в себе все, мертв, и нужно вдохнуть в него душу, чтобы его оживить. Массовое кондитерское производство — пора наконец сказать это вслух — есть форма платной проституции, а не настоящей любви. К форме для выпечки торта необходим подход индивидуальный и даже, я бы сказал, исполненный ощущения своей миссии; вот почему торт, в который кроме орехов вложено трепетное, свежее чувство, сохраняет на ложечке нечто, если можно так выразиться, девически интимное, словно он позволяет себя есть впервые в жизни. Так вот: компьютер-дискьютер — это поваренная книга; формально в нем содержится все, но этому всему ни до чего нет дела, ему все едино, и лишь модель конкретного человека оживляет эти мертвые залежи информации, то есть сервирует мудрость. Словом, дело тут в стиле. Я заказал себе несколько светил люзанисти-

ки, а кроме того, Бертрана Рассела, Поппера, Фейерабенда, Финкельштейна, Шекспира и Альберта Эйнштейна.

Пролет через Солнечную систему был, как всегда, весьма занимателен; я проложил курс таким образом, чтобы взглянуть на Марс, — у меня к нему с детства слабость; подходил я к иллюминатору и тогда, когда пролетал мимо старых, громяющих грозами глобусов Юпитера и Сатурна. Каждый раз обещаю себе ступить ногой хоть на один из них, да что поделаешь, ведь и в музеи мы ходим где угодно, только не у себя в городе, — мол, все равно никуда не денутся, — и уезжаем в какую-нибудь Италию; так получается и у меня с этими — впрочем, весьма эффектными — экспонатами. И, лишь удалившись на несколько световых месяцев от Солнца и от Земли вместе с ее Швейцарией, где дело «Кюссмих против Тихого» еще не стало предметом судебного разбирательства и не скоро станет, я стал раздумывать, чем бы заняться, а материя эта столь деликатная, я бы даже сказал, удручающая, что до сих пор я не обмолвился о ней ни словом. Что ж, пора наконец заявить об этом во всеуслышание: астронавтика пахнет тюрьмой. Если б не иллюминаторы, можно и впрямь подумать, что тебе впаяли порядочный срок — не год и не два, но самое меньшее два червонца, и даже нельзя рассчитывать ни на сбавку срока за образцовое поведение, ни на передачи, ни на свидания. Раньше между трансгалактической навигацией и отсидкой было видимое различие — отсутствие силы тяжести, теперь же разницы практически нет, а ведь не каждый предрасположен к таким путешествиям. Предложение одного теоретика — вербовать экипажи космолетов из числа пожизненных заключенных в земных тюрьмах с особо строгим режимом — было не столь уж нелепо, как кажется. Стоишь ли ты, или лежишь, или кружишься под потолком, все равно ты заключен в четырех стенах, значит, сидишь; а оттого, что снаружи вместо стен и охраны космическая пустота, ничуть не легче. Из самой надежной тюрьмы можно бежать, но из подвешенной между звездами ракеты ускользнуть некуда. Такова мрачная сторона моей профессии, которой я ранее не касался. *Per aspera ad astra\**, но если выражаться не столь ро-

мантически — путь к звездам ведет через многолетнее заключение. Конечно, я сам этого хотел и хочу. Вот и на этот раз: хоть я и набивал себе цену на коллегии МИДа, уверяя, что вовсе не горю желанием ехать, но все это лишь для того, чтобы они не очень-то заносились, — все же я им не мальчик на галактических посылках. А так, по правде, я все же хотел — чуть ли не с той самой минуты, когда переступил порог библиотеки.

Когда старое доброе солнышко исчезло, растворилось в черном супе небытия, я испытал хорошо знакомое, многократно пережитое мною ощущение пустоты и решил, что нужно немедленно сделать выбор: спать или воспользоваться дискьютером. Однако ж столетний сон — не безделица. Правда, я приготовил все чин по чину, поставил будильник, чтобы он зазвонил за пять миллионов миль до Энциии: еда сбережется, а это кое-что значит; сделал большую уборку, хотя знаю, что за такой срок все и так зарастет грязью. Хуже всего пробуждение. Я не выношу растрепанной бороды и волос до колен; да вдобавок ногти как змеи — правда, я всегда держу под рукой ножницы и машинку для стрижки волос, но прошлый раз запамятовал, где они, и пришлось полракеты перевернуть вверх дном, путаясь в собственной бородине и ругаясь на чем свет стоит, прежде чем я нашел парикмахерский инструмент, без которого — ну кто бы подумал? — астронавтика невозможна. Доставая постель из бельевого шкафа, я заметил, что простыни жесткие, словно из жести, — а ведь я просил свою приходящую приглядеть за этим в прачечной; злясь на нее, я скорее разрывал, чем разворачивал склеенное крахмалом полотно. Я также проверил, нет ли на наволочках проволочных, обшитых нитками пуговиц — из-за них на щеке появляются отчетливые отпечатки, а этого должен избегать любой астронавт, если он не желает после столетнего сна щеголять физиономией в сплошных негативах пуговиц, ведь чужезвездные существа принимают их за неотъемлемую часть человеческого лица.

---

\* Через тернии — к звездам (*лат.*).

Готовя себе разные противные жидкости, которые полагается пить перед гибернизацией, я постепенно терял охоту гибернизироваться. В конце концов, чего ради я взял в полет компьютер с персонализирующей приставкой и столько переведенных на кассету знаменитых мужей? Я пригляделся к этим кассетам. На каждой стояло имя, а ниже — инструкция по обслуживанию персонализатора и красная надпись LIVE\* или POST MORTEM\*\*. Разумеется, на кассете Шекспира стояло POST MORTEM, а Финкельштейна — LIVE, ведь один был жив, а другой умер, но какое это имеет значение для слушателя? Я заглянул в инструкцию и узнал, что личность умерших экстрагируется из собраний их сочинений, а это, между прочим, имеет тот результат, что воскрешенцы говорят не так, как говорили при жизни, но так, как писали: то есть, скажем, поэты — только стихами. В инструкции, как обычно, было множество непонятных терминов и темных мест; указывалось, например, что чем раньше кто-нибудь умер, тем менее он «инструктивен», поэтому не рекомендуется вызывать из небытия стародавних деятелей, никому, кроме историков, не известных, — с ними все равно нельзя поддерживать разговор без помощи автотолковника. Не скажу, чтобы это было очень понятно, поэтому после недолгого размышления я вставил в компьютер кассету с Рупертом Трутти в расчете на то, что этот professor of computer sciences\*\*\* даст мне необходимые разъяснения. Действительно, нажав клавишу «GO»\*\*\*\*, я услышал приятный баритон и сел, внимая ему не без некоторого удивления, — вовсе не ожидая моих вопросов, он принялся говорить без умолку:

— Я Руперт Трутти из Массачусетского автофутурологического института, и занимаюсь я, как указывает название моего научного центра, прогнозированием прогнозов, то есть стараюсь установить, что будут предсказывать предсказатели

---

\* Жив (*англ.*).

\*\* По смерти (*лат.*).

\*\*\* профессор компьютерных наук (*англ.*).

\*\*\*\* Пуск (*англ.*).

предстоящих столетий. Имею честь сообщить, что, будучи кассетонцем, как называют в обиходе закассеченных лиц, я могу пользоваться резервуарами памяти компьютера, в который меня засадили, без всяких ограничений.

— А кстати, профессор, — перебил я его, — почему вы можете, а те, кто умер давно, не могут? Я прочитал об этом в инструкции.

— Чтобы что-то узнать, — ответил Трутти, — нужно уже что-то знать. Ведь узнавать — значит все услышанное записывать в голову в определенном порядке. Вот почему никто не помнит первых своих ощущений, когда он был грудным младенцем и ничего ровным счетом не знал. Однако, достопочтенный мой воскреситель, чем больше кто-то узнал в одну эпоху, тем меньше он может узнать в следующую, поскольку голова у него забита старьем, а забита она потому, что вчерашняя святая истина становится нынешним предрассудком и засорением мозгов. Хотя я и цифроник, я могу пользоваться другими частями памяти компьютера, в который вы меня вставили, ведь я имею кое-какие понятия о биологии, психонике, физике и поэтому знаю, что такое экспертолиз и энспертоляция; но засадите-ка сюда Платона, и он ровно ничего не усвоит...

— А в самом деле, что это такое? — любопытствовал я.

— Экспертолиз — это растворение экспертов в море избыточной информации, а энспертоляция — защитный условный рефлекс, самоотключение экспертов со страху. Что же касается экспертолястики...

Возможно, это было невежливо, — но я вырубил профессора, опасаясь, что дальнейшие разъяснения лишь затемнят то, о чем я успел у него узнать; усевшись над кучей кассет, я стал размышлять, как составить ученый кружок, чтобы пороскошествовать интеллектуально. О гибернизации я и думать забыл. Разве можно духовное пиршество в компании величайших умов променять на бездумный вековой храп? В конце концов я вставил в компьютер кассеты с Бертраном Расселом, Карлом Поппером, адвокатом Финкельштейном

(хотя это был ум *minorum gentium\**, я решил включить своего симпатичного знакомого в это общество) и, невзирая на предостережения профессора Трутти, добавил Шекспира. Готов поклясться, что я заказал и Эйнштейна, но, хоть и высыпал на пол все содержимое коробки, нашел только Фейерабенда; в ярости, что не могу заявить рекламацию — ведь я отмахал уже добрых несколько триллионов миль, — я приготовился к диспуту, то есть поставил поудобнее сервировочный стол с подсолненным печеньем и тоником, за спину засунул подушку и включил компьютер. Я съел все печенье и выпил весь тоник и лишь тогда спохватился, что мои кассетные спутники давно уже ведут спор, только звук был приглушен. Я повернул нужную ручку и услышал голос Бертрана Рассела:

— Ум, господин Фейерабенд, это способность разгрызания трудных орешков, поэтому самый блестящий ум можно использовать для решения самых глупых вопросов. Зато мудрость предполагает еще и умение выбирать проблемы.

— Осмелюсь не согласиться с лордом Расселом, — отозвался Фейерабенд. — Мудрость — это, скорее, самопознание, выражаясь классическим языком, а если более современно — поиски пробелов и недочетов в собственном разуме. Разумеется, на сократический лад. Как известно, идиотам кажется, будто они во всем разбираются. Идиот, в особенности законченный, готов немедленно стать президентом США, вы только ему предложите. Человек поумнее сперва задумается, а мудрец, скорее, выскочит в окно. Чрезвычайно высокая концентрация мудрости действует шокообразно и порой заставляет мудреца умолкнуть, хотя молчание Витгенштейна имело иную причину.

— Судя по вашему красноречию, коллега Фейерабенд, вряд ли вам угрожает избыток мудрости, — заметил Рассел. — Не только люди бывают с придурью, имеются также придурковатые философские системы; связано это с явлением, которое я назвал бы феноменом исторической монументализации чего попало. Был английский король, который хотел и бла-

---

\* менее значительный (*лат.*).

гочестивым остаться, и переспать с некоей барышней в качестве законного супруга, хотя уже был женат. И что же? Не желая перебарывать свою похоть, он переделал религию, отделил английскую церковь от Рима и создал тем самым англиканство. Как известно всякому, кто меня читал, Гегель был мыслителем из разряда так называемых очковтирателей и именно этому обязан своей популярностью, хотя уже не такой, как сто лет назад. Ясно выражающийся дурень не столь опасен, как дурень туманный, потому что в тумане легко самому оказаться в дураках. Я позволил себе намекнуть на это в своей «Истории западной философии», и, разумеется, целая свора обиженных дуралеев впиалась мне в ляжки. Этот Дьюи, к примеру. К сожалению, правила хорошего тона обязательны не только в палате лордов, но и в философской полемике. Только за гробом можно позволить себе говорить все, что думаешь, начистоту. Но я и так всегда резал правду-матку в глаза, хоть это и дорого мне обходилось. Тот, кто предлагает новую философскую систему, тем самым дает понять, что приблизился к истине больше, чем все, кто жил до него. Значит, каждая такая система предполагает непревзойденную мудрость ее автора. А ведь нормальная кривая распределения интеллекта справедлива и для философов, среди которых предостаточно олухов. Любопытно, что эти мои наблюдения, никому конкретно не адресованные, вызывали такую яростную реакцию...

— А где вы поместите самого себя на кривой распределения мудрости, лорд Рассел? — невинным голосом спросил Фейерабенд.

— Говоря объективно, выше вас, потому что я понял все, что вы написали, а вы написанного мною не поняли, во всяком случае, порядочно меня переврали.

— Да? Но ведь я печатался после вашей смерти...

— А я читал после перенесения меня на кассету. Вы немало у меня позаимствовали, и, конечно, беды в этом нет, только следует называть своих учителей...

— Поскольку я выступаю как чистый духовный экстракт, — заявил Фейерабенд, — уточняю, что сопровождаю эти слова

легким пожатием плеч и снисходительной улыбкой. Лорд Рассел всегда пробовал откусить от философского пирога больше, чем мог переварить.

— Это уже из Куайна, — холодно заметил Рассел.

— Не могу же я давать библиографическую ссылку к каждому своему слову! — несколько раздраженно воскликнул Фейерабэнд. — Лорд Рассел действительно стал еще менее вежлив, чем был при жизни; он не дает мне закончить ни одной фразы. Так вот: он не только откусывал больше, чем мог, но еще и набрасывался на пирог каждый раз с другой стороны, словно общая онтология — это слоеный пирог или ромовая баба, из которой можно только выковыривать изюм...

— Эйнштейн, — вдруг отозвался глубоким задумчивым голосом Карл Поппер, — сравнивал это скорее с доской, чем с бабой. Он говорил, что глупцы ищут самое тонкое место, чтобы просверлить в нем как можно больше дырок, а гении принимаются за самый твердый, сучковатый участок...

— Вторую часть присочинили вы сами, лорд Поппер, — ехидно заметил Фейерабэнд. — Слава богу, в философии нет ни титулов, ни чинов, не то мне пришлось бы сидеть между двух лордов тихо, как мышка. По-моему, ум и эрудиция должны уравнивать друг друга, как две чаши весов. Слишком обширная эрудиция тащит слабый умишко за ноги на вязкое дно, а ум, свободный от солидного груза познаний, парит куда хочет, и чаще всего в сторону безответственных фантазий. Тут нужна золотая середина. Однако я не считаю золотой серединой тактику, которая заключается в цитировании одного себя, и к тому же недобросовестном цитировании, когда вместо полемики по существу вас отсылают в сноске к старым-престарым книженциям, в которых этот вопрос будто бы достаточно освещен, после чего остается только приобрести полное собрание сочинений автора, отсылающего читателя куда подальше, и лишь потом приниматься за чтение его статейки. Но в наше время это уж слишком.

— Боюсь, мистер Фейерабэнд намекает на моего почтенного соседа по палате лордов, — сказал Рассел. — Что-то в этом есть! Но, может быть, не будем переходить на лично-

сти? В холодном кассетном гробу я много размышлял о своей теории типов. Можно применить ее в онтологии, а не только в логике. Существуют онтологические предрасположенности, подобно предрасположенностям к женскому полу. Лично меня всегда тянуло к блондинкам, а вся проблема была в том, что их не всегда тянуло ко мне. Разумеется, я говорю это лишь как модель! Впрочем, я предложил бы скорее слово «макет», поскольку все мы мужского пола, пусть даже в *plusquamperfectum*.

— Макет — как пакет? — спросил Фейерабенд и залился смехом. Сперва он смеялся иронически и негромко, потом включил половину мощности и, наконец, захохотал так, что задребезжали динамики.

— Чем это так рассмешила вас моя скромная терминологическая поправка? — поинтересовался Рассел.

— Да нет, ничего, — ответил Фейерабенд, все еще давясь от смеха, — просто я вспомнил одну брюнетку, потому что лорд Рассел...

— Господа, — произнес я с мягкой укоризной, — осмелюсь обратить ваше внимание на то, что кассеты обошлись мне в девять тысяч с лишним франков, и притом швейцарских! Я жажду посвящения в высшие материи бытия, хочу, чтобы вы подали мне руку помощи, разумеется, фигурально, и, хотя я вам не ровня в интеллектуальном отношении, я все же рассчитывал на благие плоды векового общения с такими умами... А между тем эти блондинки и брюнетки...

— Если хочешь куда-нибудь приехать, — сказал Бертран Рассел, — постарайся раздобыть хороших лошадей и запрячь их как полагается. Мы же, господин Тичи (так он выговаривал мое имя), никуда вас не привезем — из нас не получится дружной упряжки. В философии каждый тянет в свою сторону... Так что, если вы хотите что-то узнать, попрошу выключить моих столь высоко ценимых коллег...

Раздался дружный протестующий хор. Я перекричал всех, призывая их высказаться по вопросу об энцианской этико-сфере. На это они согласились.

— Быть может, — начал лорд Рассел, — этим птичьим сынам и удалось соорудить так называемую этикосферу, но тем самым они изготовили индивидуальные тюремочки, великое множество невидимых смирительных рубашек. Любой достаточно мощный порыв ко всеобщему счастью кончается строительством каталажек. Сама эта идея — не что иное, как иррациональная фата-моргана разума...

— Я это всегда утверждал, — откликнулся сильным старческим голосом лорд Поппер. — *Corruptio optimi pessima\** и так далее. Спектр возможных состояний общества является одноосевым, и располагается он между закрытым и открытым обществом. Левый экстремум — это тоталитарная диктатура, управляющая всем, что только ни есть человеческого, вплоть до текста песенок в детских садах, а правый экстремум — это анархия. Демократии размещаются примерно посередине. Энциане явно пытались соединить обе крайности, чтобы каждый мог жить в обществе открытом и закрытом одновременно и брыкаться в свое удовольствие, замкнутый в невидимом пузыре заповедей, которые невозможно нарушить. Это можно назвать тирархией, и ничего хорошего она не сулит. Думаю, там даже больше несчастья, чем где бы то ни было.

— Почему, лорд Поппер? — спросил я.

— Потому, что в полицейском государстве человек, подвергаемый пыткам, может по крайней мере верить, что, если его перестанут пытать, он вместе с другими построит счастливый мир. А человек, безустанно заласкиваемый под попечением государства этой пресловутой синтурой, не может даже в мыслях никуда убежать, потому что бежать уже некуда. Сносны лишь промежуточные состояния общественной агрегации.

— А я полагаю, — сказал Фейерабенд, — что там, где нет *law and order\**, побеждают клыки, локти и когти; а где есть *law and order*, с колыбели до крематория, там несчастья в об-

---

\* Падение доброго — самое злое падение (*лат.*).

\*\* закона и порядка (*англ.*).

шем-то столько же, но вкус у него другой. Лорд Поппер с его апологией открытого общества должен был бы заметить, что это всего лишь вежливое обозначение такого положения вещей, при котором имеются большие собаки и маленькие, и им позволено друг дружку облаивать, но пожирать нельзя. Ребенком я зачитывался чудесными историями о будущем мире, в котором домохозяйки переквалифицируются в доценток лимнологии, дворники — в профессоров общей теории всего на свете, а остальные будут творить сколько влезет, и получится неслыханный расцвет искусств. Удивительно, как много отнюдь не глупых людей верило в эти бредни. Ведь бóльшая часть человечества не хочет угробить жизнь на собирание старых раковин, и вообще ей плевать на любые раковины, кроме раковины унитаза, а думать о вечных вопросах она начинает лишь после визита к врачу, который на вопрос о диагнозе дает уклончивые ответы. Следствием тотальной автоматизации будет новое издание того, что в Средневековье называлось Höllenfahrt\*. Разные дороги ведут в ад. Некоторые из них усыпаны розами и политы медом. Открытое общество лучше закрытого в том отношении, что из него легче сбежать. Вот только неизвестно куда. И все же приятней иметь перед собой открытые двери, чем зарешеченные и приколотенные гвоздями к дверной коробке. Я, во всяком случае, такого мнения.

— А я разве писал когда-нибудь, что открытое общество — это какой-то идеал? — обрушился Поппер на Фейерабенда. — Просто в качестве скептика я всегда выступал за меньшее зло.

— Жаль, что вы этим не ограничились, — заметил Фейерабенд, — потому что ваша концепция научного познания не выдерживает критики, как я показал, — впрочем, не первый и не последний.

— Сам Эйнштейн признал мою правоту, — начал было задевать за живое Поппер, но Фейерабенд не дал ему закончить.

---

\* Сошествие во ад (нем.).

— Об обстоятельствах, при которых Эйнштейн — человек поистине голубинового сердца — признал вашу правоту, вы, лорд Поппер, писали столько раз, что можно ограничиться сноской. Как говорил мне доктор Чиппендейл, Эйнштейн тогда страдал от мигрени и принял уйму таблеток от головной боли, отупляющее воздействие которых хорошо известно.

Обиженный Поппер умолк. Затянувшуюся тишину прервал наконец Рассел:

— Мой уважаемый коллега-философ из палаты лордов имел несчастье родиться системным философом в эпоху, когда системной философии уже быть не может. Надо смотреть правде в глаза, коллега Поппер! Господин Фейерабенд — умеренный анархический экстремист в теории познания, я — неимперативный антиинтуитивный категориалист аналитического стиля, наконец, лорд Поппер — автор нескольких любопытных концепций, а так вообще — несинкатегорематический разогреватель онтологически нейтрализованных зразов в соусе из *Circulus Vindobonensis*\*. Из кружка, в котором Витгенштейн сиял, сиял и, наконец, перестал. А кружок с тех пор висит себе на колышке. Ведь эклектический синкретизм работ господина Поппера...

— Вы меняете взгляды чаще, чем подштанники! — крикнул обозленный, прямо-таки выведенный из социостатического равновесия лорд Поппер. — Скажи мне, лорд Рассел, что осталось у тебя от дивной поры молодой? Три тома «Principia Mathematica», вымученных за долгие годы. Так вот, спешу сообщить, что Чанг Вэнь или еще какой-то Пинг-Понг — не запоминаю я этих китайских имен — запрограммировал компьютер так, что все доказанное Б. Расселом в его пресловутых «Принципах» машина доказала за восемь минут, со средней скоростью самоубийцы, который бросился с девятого этажа на Юпитере, где, как известно, сила тяжести

---

\* Венский кружок (*лат.*) — объединение философов-неопозитивистов, существовавшее в 1920—1940-е годы.

во столько же раз больше земной, сколько раз приходящая прислуга господина Тичи ошибалась в счетах из прачечной в свою пользу.

Эти последние слова показались мне до такой степени неуместными, что я сделал над собой усилие — и действительно сразу открыл глаза. На беду, я не знал, когда именно меня сморило, однако признаться в этом постыдился. Но, кажется, потерял я не слишком много, потому что они продолжали препираться, хотя и не так грубо, как мне это приснилось. Чтобы расшевелить их, я подбросил в дискутер двух люзанистов — одного из них звали Бионизий Рёрен, а другого Пьер Сомон — и, должно быть, под влиянием какой-то одеревенелости мысли из-за долгого пребывания в пустоте подумал, что если бы они были одним человеком и индейцем, то назывались бы Ревущий Лосось\*. Профессор Сомон оказался ценным приобретением для нашего коллектива как знаток люзанской философии. С XXII века, объяснил он нам, эта философия по своему субъекту релятивистская, а по объекту — прикладная. Иначе говоря, в то время как на Земле субъектом, или попросту философом, всегда является человек, на Энциии философствуют также машины и даже облачность, поскольку некоторые разновидности шустров, уносимые ветром, соединяются на границе тропосферы в необычайно разумные тучки-почемучки и умудренные облака, которые, не имея других занятий, рассуждают о смысле бытия. Времена, в которые жил Акс Титоракс, ниспровергатель авторитетов, даже на ложе смерти окруженный верными учениками и полицией, минули безвозвратно. В прошлое канули также проблемы власти, такой или сякой. Настоящие проблемы возникают перед философией лишь тогда, когда благоденствие приобретает устрашающие размеры. Коль скоро неприятностей должно быть все меньше, а радостей все больше, то с логической необходимостью оптимум приходится на максимум благ, свобод, утех и забав и минимум опасностей, болез-

---

\* От немецкого *göhen* — реветь и французского *saumon* — лосось.

ней и вкалывания на службе. Минимум равен нулю, то есть никакого труда, никаких болезней, никаких опасностей, а максимум расположен там, где сладостность жизни становится неисчерпаемой. Но этого рассчитанного по науке максимума никто не в состоянии выдержать. Где-то по дороге прогресс превращается в собственную противоположность, но где — никому не известно. В этом и состоит так называемый парадокс Шляппенрока и Кикса.

Профессор Рёрен, взяв слово после своего коллеги, разъяснил нам, что дело не так уж плохо, как можно было бы полагать. В любом обществе имеются нытики-староверы, которые тянут назад, к так называемым «добрым старым временам», но возврата к прошлому нет. Напротив: этикосферу следует поднять на новую высоту. Пока что это только проект, разработанный Советом Энтофилов. Идея довольно проста. Любое общество лучше всего подходит людям некоего определенного склада (которые, кстати, вовсе не обязательно входят в его элиту). Они с удовольствием делают именно то, что важно и возможно в их эпоху. В эпоху колониальной экспансии это будут конквистадоры, когда же экспансия распространится на обширные территории — купцы. Это могут быть и ученые — там, где верховодит наука. Или священники — в эпоху воинствующей церкви. Есть люди, которым не по душе спокойные времена, хотя сами они не обязательно отдают себе в этом отчет. Они выходят на авансцену во время всеобщей катастрофы или войны. Есть подвижники, не мыслящие себе жизни без помощи ближним, и аскеты, которые расцветают от воздержания. История — это театр, а общества — труппы актеров, между которыми распределяются роли; но ни одна из поставленных пьес, ни одна историческая эпоха не давала проявиться таланту всех актеров без исключения. Прирожденному великому трагику нечего делать в фарсе, а закованным в латы рыцарям не находится роли в мещанских камерных постановках. Эгалитаризм — это жизненная программа, в которой все выступают на равных и понемногу, и никто не может сыграть великой романтической роли: для

нее здесь просто нет места. Бедняги-романтики обречены соперничать между собой в количестве съеденных крутых яиц, езде на велосипеде задом наперед, сопровождающейся исполнением скерцо ля минор на скрипке, и тому подобных чудачествах, которые свидетельствуют лишь о пропасти между мечтами и скрипучей действительностью.

Словом, разные времена отдают предпочтение разным характерам, и в любое время большинство общества служит всего лишь массовкой для избранников судьбы, ибо только по чистой случайности подходящий темперамент появляется в наиболее подходящий для него момент истории.

Это можно выразить и немного иначе. Мир, в котором индивид с определенными духовными качествами способен развернуться вовсю, является миром особенно к нему благосклонным, но нет столь универсально благосклонного мира, который в равной степени удовлетворил бы все разновидности людских натур. Лишь специально для этого созданная искусственная среда способна проявлять благосклонность, скроенную и подогнанную по индивидуальной мерке (причем в некоторых случаях благосклонностью необходимо признать и сопротивление среды, ведь есть натуры, созданные для борьбы с жизненными невзгодами). Эта среда будет вызовом для рискованных людей, спокойной гаванью для смиренных и покладистых, неведомой землей для первооткрывателей по натуре, таинственным кладом для романтиков — искателей приключений, для жертвенных натур — алтарем, для стратегов — полем сражения, трудовым поприщем для работяг, и пока неизвестно только, чем должен быть такой мир для подлых натур, которых тоже хватает. При более тщательном рассмотрении мы увидим огромное множество оттенков героизма и трусости, любопытства и безразличия, жажды борьбы и жажды покоя, и то же относится к подлости. Благосклонная и смышленная среда обитания должна, следовательно, стать закройщиком материи бытия, перескраивая ее, чтобы каждый получил условия существования, наиболее для него подходящие. Но когда все технические средства будут гото-

вы, когда уже будет создана среда, безошибочно приспособливающаяся к натуре любого человека, останется преодолеть одну лишь, зато чудовищную трудность, а именно: каждый должен иметь при этом ощущение абсолютной подлинности бытия. Никто не должен считать, что играет, словно на сцене, то есть может в любую минуту с нее сойти. Что его окружают обращенные к нему декорации. Пусть это будет игра или, скорее, система из множества игр, предлагаемых средой обитания своим подопечным, но игра без апелляции к судьбе и без антрактов, смертельно серьезная, а не условная, как забава. Игра, в которой нельзя покинуть шахматную доску своего общества, чтобы взглянуть на нее со стороны. Нельзя допустить, чтобы игрок знал о том, что ему предназначено, и никто не вправе претендовать на составление правил собственной или чужой игры, ведь здесь эти прерогативы равняются Божьим.

Тут возникает старый как мир вопрос: *quis custodiet ipsos custodes\**? Кто станет этим *Deus ex Machina\*\**, который присматривает за нашими ангелами-хранителями и который их руками печется об оптимизации Бытия, столь же справедливой, сколь совершенной? За каждым, даже самым удачным ответом на этот вопрос неизбежно прячется призрак тайновластия, и борьба пойдет за его устранение, чтобы распределение синтетических судеб было полностью децентрализованным. В переводе на язык традиционного религиоведения это означает практическую реализацию пантеизма. Тайнократа нельзя будет найти точно так же, как нельзя найти Бога, потому что он окажется повсюду одновременно. Но если в этой предустановленной гармонии что-то разладится, кто исправит ее? К тому же кто-то должен ее запроектировать и запустить в производство, и это лицо или группа лиц будут склонны самозванчески, явным или, что еще хуже, тайным образом взять себе роль Господа Бога в

---

\* кто устережет самих сторожей? (*лат.*)

\*\* Богом из машины (*лат.*).

этом всепредставлении. Пока что говорят о поэтапном переходе от обычной этикосферы к новой, тайнопровиденциальной. В общем, опять-таки почти как в Библии, прашустры родят шустры, шустры породят шустрины, которые положат начало следующим поколениям, вплоть до стабилизаторов-абсолютизаторов, своей способностью к самоисправлению и своей надежностью не уступающим стихийным силам Природы. Словом, это будет Пересотворение всего Сотворенного. Далеко еще путь и усеян препятствиями, но цель уже различима, и оптимисты считают, что через каких-нибудь два-три столетия полная раефикация Люзании станет свершившимся фактом.

Лекция эта произвела на кассетонцев впечатление сильное, но отрицательное. Уже само осознание непостижимой режиссуры судеб, заявил лорд Рассел, есть катастрофа для разума и призыв к бунту. Следует опасаться, что в этом совершенно новом обществе появится тьма новых форм безумия, страдания и отчаяния. Карл Поппер согласился здесь с Расселом. Зато Фейерабенд заметил, что это, быть может, не так уж и страшно. Ибо есть кое-что не в пример худшее, чем даже тщательно дозируемое всеобщее счастье. Те не хотели с ним согласиться. Вдруг попросил слова молчавший до этого адвокат Финкельштейн. Я уговорил обоих лордов и Фейерабенда позволить адвокату высказать свою точку зрения, на что они в конце концов с неохотой согласились.

— Господа, — начал Финкельштейн, — хотя я всего лишь заурядный адвокатишка с не слишком любопытной клиентурой — исключая присутствующего здесь господина Ийона Тихого — и за целую жизнь не прочитал столько умных вещей, сколько каждый из вас за один только день, мне все же хотелось бы внести и свою скудную лепту, раз уж я оказался в этой кассетной компании. Мой отец — вечная ему память — имел в Чорткове антиквариат и массу свободного времени, поэтому он читал философов и не брал в рот спиртного, за исключением пейзаховки раз в год. Во Львове выходил тогда антиалкогольный журнал «Благословенная трезвость», и один из сотрудников редакции, зная о возвышенных интересах мо-

его отца, попросил его написать статью. Алкоголизм, ответил на это отец, дело отвратное, и лучше бы его не было. Но если даже пустить в ход аргументы самого тяжелого калибра, все равно ничего не выйдет, потому что «Благословенную трезвость» читают не пьяницы, но одни только трезвенники, чтобы утвердиться в ощущении своего превосходства, а если пьяница случайно завернет в эту газету селедку и на глаза ему попадет моя статья, он либо употребит ее сами знаете для чего, либо тут же напьется от огорчения, что поддался столь пагубной привычке. Я очень извиняюсь, но я не верю, чтобы писание таких мудрых, глубоких книг о счастье и нравственности, которые писал лорд Рассел, могло хоть одну муху спасти от обрывания крылышек. Когда я был малышом и играл у себя, мать время от времени кричала мне из другой комнаты: «Спутя, перестань»; она не знала, что я делаю, но ничего хорошего не ожидала; и то же самое можно сказать о человечестве. Оно, к сожалению, не желает переставать. Отец выписывал «Иллюстрированный еженедельник» со снимками, изображавшими Бремя Белого Человека: с пробковым шлемом на голове и винчестером в руке он попирает ногой носорога, а за ним — толпа потных голых негров с тюками на головах и ручками от кофейных чашек в носу. Тогда я мечтал, чтобы негры сбросили с себя эти тюки и прогнали белых из Африки, предварительно поломав об их спины винчестеры. Я собирал станиоль от шоколада «Хазет» для выкупа негрятят и скатывал из него большие шары, только не мог узнать, куда потом надо идти с таким шаром, чтобы выкупить негрятенка. А теперь нет уже белых эксплуататоров, есть только чернокожие экс-капралы Иностранного легиона, которые либо сами режут своих чернокожих соплеменников, получивших докторскую степень в Кембридже, либо поручают это своей лейб-гвардии, а орудия казни импортируют из Англии и других высокоразвитых стран. Теперь чернокожим велят короновать себя чернокожие, и лишь кишки, которые из них выпускают, всё такие же красные. Теперь мы слышим не о карательных экспедициях, но о государственных интересах,

только я сомневаюсь, что истребляемые чувствуют разницу. Нет уже Deutsch-Ostafrika\* и никаких вообще колоний, а одна сплошная независимость, и посторонним вмешиваться нельзя, чтобы никто не мог помешать суверенной резне. Вы, господа, говорили тут о всеобщем счастье, что, дескать, полного иметь нельзя, а только крошечное. Счастье, конечно, вещь относительная. Пятнадцати лет я попал в лагерь уничтожения, где людей травили газом, как клопов. Я оставался в живых лишь потому, что Кацман, второй заместитель коменданта, взял меня к себе для уборки дома, а дело было летом, я натирал пол без рубашки, на коленях, и ему приглянулась моя спина. Насколько я знаю, он хотел сделать подарок своей супруге, которая жила в Гамбурге, и придумал абажур для ночника. Среди заключенных он нашел специалиста по татуировке — там были даже знатоки санскрита, что, впрочем, не имело для них практического значения, — и велел ему изобразить у меня на спине трогательную картинку. Он был очень порядочным человеком, этот татуировщик, и татуировал медленно, как только мог, хотя Кацман его торопил, потому что приближался Geburtstag\*\* фрау Кацман. На брючном ремне я делал насечки — сколько дней жизни мне осталось, а потом Кацман получил письмо из Гамбурга, что его жена погибла вместе с детьми при воздушном налете. Он не любил новых лиц, а может, хотел к тому же проверить, как продвигается исполнение этой картинки, короче, я по-прежнему у него убирал и видел его отчаяние. «O Gott, O Gott, — повторял он, — и за что на меня свалилось такое несчастье?!» Он получил отпуск на похороны, уехал и уже не вернулся. Благодаря этому я как-то выжил, потому что его преемник на всякий случай держал меня под рукой: а вдруг Кацман еще раз женится или что-нибудь в этом роде и абажур понадобится опять. Он только осматривал меня иногда и говорил, что он это здорово сде-

---

\* Немецкой Восточной Африки (нем.).

\*\* День рождения (нем.).

лал, тот татуировщик, которого тем временем отправили в газовую камеру. Счастье, господа, переплетается с несчастьем самым причудливым образом. Если бы я был тут вживе, показал бы вам эту картинку. С тех пор мне кажется, что людям вполне должно хватать, если нет несчастья. Чтобы никто не мог давить людей, как вшей у огня, и утверждать, что это, к примеру, высшая историческая необходимость или предварительная стадия на пути к совершенству, или же что вообще ничего не происходит, а все это вражеская пропаганда. Я не хотел бы задеть ни одного из вас, господа кассетонцы, я не бросаю камешки в чей-либо огород, я не жажду ничьей крови, но множество крови было пролито как раз из-за разновидностей философии. Ведь это философы открыли, что все не так, как кажется, а совершенно иначе; и вот ведь что интересно: последствия гуманистических систем были, в сущности, нулевыми, зато последствия тех, других, наподобие ницшеанской, были кошмарны, и даже заповедь любви к ближнему, а также программу построения земного рая удалось переделать в довольно-таки массовые могилы. Любой философ ответит, конечно, что эти переделки с философией ничего общего не имели, но я не согласен. Имели, да еще как. Можно эти переделки заповедей назвать совершенно иначе, потому что все можно назвать совершенно иначе, и именно в этом несчастье разума. Можно доказывать, что обычная свобода — ничто по сравнению с настоящей, и, если эту обычную отобрать, получается всеобщая польза. Кто занимался этими переделками? Как ни печально, философы. По-моему, раз уж я спас свою шкуру от абажура, я не имею права делать вид, будто этого не было. Теперь об этом пишут с ужасом и раскаянием, особенно в Германии: там ведь самая демократическая демократия Европы. Теперь, а раньше там был фашизм. Что это-де была мрачная година истории и другой такой не будет. Но черная година по-прежнему налицо. По-прежнему. Все внутри переворачивается у человека, который верил в деколонизацию, а теперь читает, что чернокожие пустили чернокожим больше крови, чем перед тем белые. По-

этому я убежден, что есть вещи, которых нельзя делать во имя каких бы то ни было других вещей. Каких бы то ни было! Ни хороших, ни дурных, ни возвышенных. Ни во имя государственной пользы, ни во имя всеобщего блага через пару десятков лет, потому что доказать можно все. К чему так уж сразу идеальное состояние? Не лучше ли, если никто ни из кого не может сделать абажура для ночника? Это вполне конкретно, а для измерения идеального состояния никто еще не выдумал метра. Поэтому я бы не проклинал эту этикосферу. Конечно, сделать невозможным причинение зла — тоже зло для многих людей, тех, которые очень несчастны без чужого несчастья. Что ж, пускай. Кто-то всегда будет несчастен, иначе нельзя. Вот и все.

В кассетах наступило, похоже, всеобщее замешательство. Во всяком случае, довольно долго никто не отзывался; наконец в космической тишине раздался голос лорда Рассела:

— Господин Финкельштейн, вы правы и вы не правы. Если философия иногда и сеяла зло, то лишь потому, что зло — обратная сторона добра и одно без другого не существует. Человеческий мир — это недолгое пребывание в пространстве и времени разумных (за некоторыми исключениями) существ, причиняющих друг другу страдания. Хотя никто этого не подсчитал, я полагаю, что сумма мук и страданий есть историческая постоянная, точнее, она прямо пропорциональна числу живущих, то есть остается постоянной на душу населения. Я всегда старался верить, что какое-то медленное улучшение все же происходит, но действительность неизменно доказывала иное. Я сказал бы, что человечество демонстрирует ныне лучшие манеры, чем в Ассирии, но отнюдь не лучшую нравственность. Просто на смену открытому чванству палачей пришли всевозможные предлоги и камуфляжи. Нет публичных казней, во всяком случае, в большинстве стран, поскольку принято считать, что это не пристало приличному государству. Но «не пристало» — нечто иное, чем «нельзя». Первое высказывание относится к правилам хорошего тона, второе — к этике. В своей основе человечество меняется очень медленно и незначительно. Никто уже не

помнит, что протягивание руки в знак приветствия когда-то имело целью проверить, нет ли в этой руке остроконечного камня. Кроме того, в этике какая бы то ни было арифметика недействительна. Если здесь гибнут пять миллионов в лагерях смерти, а там — лишь восемьдесят тысяч с голоду, нельзя сравнивать эти цифры, чтобы сказать, что лучше. Не может быть такого расчета, который позволил бы установить, что несчастье матери хотя бы одного такого ребенка, когда он умирает от голода, а у нее для него ничего нет, кроме высохшей груди и разрывающегося сердца, меньше, чем несчастье, причиненное субъектом с дипломом Сорбонны, который вырезал в Азии четверть своего народа, решив, что именно эта четверть мешает осуществлению его благородной идеи о всеобщем счастье. Я даже не стану спорить с вами об объеме предмета философии. Пусть будет по-вашему — философией является все. В определенном смысле — да, ведь и курица, снося яйцо, тем самым показывает, что стоит на позициях эмпиризма, рационализма, оптимизма, каузализма и активизма. Она сносит яйцо, то есть действует, значит, она активистка. Высиживает это яйцо в убеждении, что его можно высидеть: это уже незаурядный оптимизм. Она рассчитывает на появление цыпленка, из которого вырастет новая курица, значит, она еще и прогнозистка, а также каузалистка, поскольку признает причинно-следственную связь между теплом своего брюха и развитием птенца. Курица только не может всего этого прокудахать, и философия ее носит инстинктивный характер — она встроена в ее куриные мозги. Но в таком случае, господин адвокат, от философии нельзя убежать. Это попросту невозможно, и неправда, будто бы *primum edere, deinde philosophari*\*. Пока существует жизнь, существует и философия. Философ, конечно, должен быть верен собственным убеждениям. Чаше бывает иначе. Так пусть хотя бы старается. Я старался. Я противился злу достаточно наивно, комично и безуспешно, усаживаясь задом на мосто-

---

\* сначала еда, потом философия (лат.).

вую в знак протеста против войны. Я ничего не добился, но если бы я вылез из кассеты, то делал бы то же самое. Каждый должен делать свое, и баста. Кажется, нам не очень-то удалось возвеселить душу нашего одинокого хозяина. Почему вы молчите, господин Тичи?

— После философов и правоведов я хотел бы предоставить слово художнику, — ответил я и включил кассету с Шекспиром. Что-то неотчетливо зашуршало, а потом раздался голос:

Чьей волею из праха я восстал  
Без тяжкой, косной плоти? И куда  
Я призван? Чувствую, что этот черный  
Квадрат — не крышка гроба моего  
И не окно, распахнутое в ночь,  
За коим мокнут под дождем деревья,  
И значит, я не на земле английской,  
Но также и не в ангельских краях.  
Хотя мой дух, как прежде, мне послушен,  
От груза тела я освобожден —  
Лишь речь да слух еще мои. Итак,  
Не Всемогущество меня призвало,  
Чтоб я Его узрел лицом к лицу,  
Во всоружье чувств. Я воскрешен  
Неведомым и колдовским искусством,  
И ныне здесь, незрячий и нагой,  
Вновь обретенной мыслью трепещу я:  
Кто совершил все это и зачем?  
Кто пожелал, чтоб я, как невидимка,  
Невидимую челядь забавлял  
Посмертным и постылым стихотворством  
И раздувал чужой беседы угли?  
Я, воскрешенный, знаю и не знаю,  
Кто я такой и почему я здесь,  
Я, умерший от опухоли Вилли,  
Фигляр, комедиант, рифмач, который  
По смерти вырос выше королей,  
А здесь в темнице некой заточен, —  
Но не в почтенной Тауэрской башне,  
А словно бы в бочонке из-под пива,  
Что пробегает Млечными Путиами  
Миллиарды миль, понурых и пустых,  
И скрепами незримыми скрежешет  
По гравии необозримых звезд.  
Но более страшит меня не это,  
А собственная внутренность моя:  
Всеведущий таится там паук

И паутину ткёт словес неясных  
 О битах, кодах, эстрах и спинорах.  
 Как мог узнать я, из каких частей  
 Составлен воздух, что такое фото  
 И тысячу подобных пустяков?  
 Я знал лишь о Фальстафе, а теперь  
 Узнал, что гем окрашивает кровь  
 И что мое посмертное уменье  
 Нанизывать слова на нитку ритма,  
 Унылого, как маятник часов, —  
 Внутри меня, но все же не мое.  
 Как если бы мой голос исходил  
 Из спрятанной шкатулки музыкальной,  
 Чьи зубчики толкает страх болтливый —  
 Старухи Смерти вечный ухажер.

— Господин Шекспир, успокойтесь. Вы всего лишь макет. Но может быть, кто-нибудь из вас, господа, объяснит это лучше? Может быть, вы, лорд Рассел?

Бертран Рассел, к которому обратился с этими словами адвокат, действительно разъяснил кассетному Шекспиру, откуда он взялся, как это делается и для чего. Изложение было вполне популярное и довольно пространное, и все же я сомневался, сможет ли Шекспир, прослушав элементарный курс кибернетики и психоники, разобраться во всем этом. Никто не просил слова, когда Рассел закончил. Все молчали, пока наконец не отозвался проинструментированный:

Милорд, я понял, мы — фантомы оба.  
 Тут нет чудес, и ни к чему они:  
 От роли Лазаря Господь нас сохрани,  
 С червивым брюхом вставшего из гроба.

В машину свергнут я, в которой жизни нет  
 И смерти нет, — *tertium datur\**, лорды!  
 Незримых шестеренок зубья твердо  
 Удерживают призрачный скелет.

Вы научились, развлеченья ради,  
 Бесплотных собеседников плодить.  
 Я — третье между «быть или не быть»,  
 Всего лишь тень, с Натурою в разладе.

---

\* третье дано (лат.).

Однако мой вы пошадил прах,  
И я на вас проклятий не обрушу.  
Но тот, кто из костей достал бы душу,  
Чудовищем остался бы в веках.

Как шут, я забавлял толпу когда-то,  
Но после смерти этот крест нести  
Не в силах я. Позвольте мне уйти  
В небытие, откуда нет возврата.

Я более внимать вам не хочу  
И в рифму отвечать на ваши речи,  
Иначе не стихами я отвечу,  
Но зверем недобитым зарычу.

Ничем не разнятся восторги и стенанья,  
Эдемский сад и адская жара.  
Пусть длится в кости вечная игра —  
Я выбираю вечное молчанье.

## IV. Осмотр на месте

Грязь, болота, трясины, хлюпающие провалы ям, гнилостные испарения, пузырьки газа, иссиня-бурый туман, от которого першит в горле — вот оно, место моего курдландского приземления, вот куда меня занесло через 249 лет, как показывает счетчик. Облетев на приличном расстоянии сияющую Луну, которая когда-то так меня одурачила, я направился к северу, туда, где земля зеленела у кромки полярного снега, оставив далеко за кормой серую сыпь городов. Когда я в первый раз спустился по трапу, то чуть не утонул в грязи — влажный, искрящийся травяной ковер оказался попоной топи. Чего-либо так заляпанного грязью, как корма моей ракеты, я, пожалуй, еще не видывал. О привале и думать нечего. Придется, похоже, выдолбить пирогу, а еще лучше — встать на водногрязевые лыжи. Ночью — бульканье, хлюпанье, всплески, чмокание болотных газов. А уж воняет! Некуда было так спешить.

Ракета постепенно погружается в липкое месиво. По моей прикидке, утонет по самый нос всего за неделю. Надо начинать ускоренную разведку. Но как ее ускорить в таких условиях? Считая вчерашний день нулевым, сегодняшнему присваиваю номер первый. Обрато вернулся перемазанный как сто чертей, зато видел курдля. А может, это был Куэрдл или QRDL. Было слишком темно, даже в поле зрения ноктовизора, чтобы толком разобраться. Чудовищная тварь. Он все

проходил и проходил мимо меня и никак не кончался, хотя все время шел рысью. Что ему грязь, если у него ноги как башни. Я оценил его длину в четверть английской мили — или, пожалуй, морской мили, учитывая водянистый характер местности. Выходит, я видел натурального курдля. Курдли существуют. Это животные, а не какие-то там градозавры. Но может ли мое наблюдение служить доказательством? Не зашащу же я курдля на борт ракеты. Надо подумать. Завтра следующая разведка — дневная.

*День второй.* На этой планете творятся невероятные вещи. Вернее, омерзительные. Я еще не оправился от потрясения. Я собственными глазами видел, как большой курдль подошел к курдлю поменьше — это было в чистом поле, довольно даже сухом, заросшем рыжеющей травкой, в какой на Земле водятся рыжики, — так вот, значит, подбежал он к этому малышу, спокойно жуящему травку, тщательно обнюхал его, и тут великана вырвало; тогда тот, маленький, припал сперва на передние, потом на задние ноги, в точности как верблюд (но размерами больше кита), съел все это, облизнулся и завыл. И завыл он так дико, глухо и так тоскливо, так безнадежно и мрачно, словно голосили эти вечно пасмурные просторы, — у меня просто мороз прошел по телу, еще переполненному омерзением. Тогда тот, что побольше, схватил коленопреклоненного за ухо и, оборвав его одним щелчком пасти, начал жевать, методично чавкая и двигая губами вверх-вниз, как корова, обгрызающая молодые побеги. Потом надгрыз тому второе ухо, но сразу же выплюнул, словно оно ему не понравилось. Тогда малыш, припавший к земле, зашевелился. Его явно тошнило. Курдль и курдленок, глядя друг другу в стеклянные вылупленные глаза, зарычали так, что у меня волосы стали дыбом. Затем поднялись, стали рыть землю задними ногами и разошлись без спешки в разные стороны. Что бы это значило? Я осторожно приблизился к истоптанному месту с поистине колодезными ямами — следами их ног; ноги у них расширяются у пятки, и каждая шире небольшого домика. Из зеленоватой лужи величиной с пруд тишком, молчком вылезали низкие, сгорбленные существа, впол-

не человекоподобные двуногие, но сзади у каждого имелась лишняя пара куцых конечностей, по которым стекала не то чтобы вода, а скорее жижа; о ее происхождении я предпочел не задумываться. Они были явно знакомы с цивилизацией, потому что носили одежду, и притом двубортную, с пуговицами спереди и сзади, с широкими хлястиками, скроенную на манер реглана; а их добавочные отростки были вовсе не ноги, но полы этой странной одежды, напоминающей сшитый из двух половин фрак. Я принял их за конечности лишь потому, что они мешкообразно оттопыривались и размеренно покачивались на ходу; но потом кто-то из них сунул туда руку, и в ней появился бурдючок, который был немедленно приложен ко рту. Значит, это у них карманы для еды и питья. То и дело прикладываясь к своим бурдючкам, они понабирали в мешки водорослей, плавающих в луже, затем один, повыше ростом, что-то прокашлял, все выстроились в длинную шеренгу, и откуда-то — понятия не имею откуда — появился письменный стол. Должно быть, складной; видимо, кто-то нес его на спине, как рюкзак. Тот, повыше, уселся за стол, и образовавшаяся на моих глазах длинная очередь начала медленно продвигаться вперед; проходя перед сидящим — каким-то чиновником, в этом я уже не сомневался, — каждый поочередно предъявлял ему белый треугольник, зажатый в руке, то ли удостоверение, то ли просто карточку из плотной бумаги или пластика. Чиновник восседал, широко расставив согнутые назад колени; он вел себя со всеми одинаково: смотрел на карточку, потом на лицо проверяемого и наконец заглядывал в небольшую, но очень толстую, мокрую, грязную книгу или тетрадь, водя пальцем по страницам, как если бы искал там нужный номер. Затем брал треугольник, клал на стол, шлепал печатью и издавал отрывистое покашливание, а я не мог взять в толк, как это он может делать все сразу: ведь чтобы листать книгу, требовалась третья рука, а у него, безусловно, были всего лишь две; но тут я заметил, что сидит он не на стуле, а на одном из своих братьев, и тот, согнувшись под тяжестью чиновника, поминутно подсовывает ему какой-то список или каталог. Шло это довольно глад-

ко, но у меня занемели ноги от стояния в неудобной позе за кучей грязи; наконец проверка кончилась, стол со сложенными ножками взвалили кому-то на спину, все построились в колонну по трое и зашагали к линии горизонта, туда, где синел густой лес. Я все это время сидел пригнувшись, не решаясь высунуть носа. Вернувшись в ракету, долго мылся, чистил и драил одежду, особенно обувь, и размышлял об увиденном.

*День третий.* Многое дал бы я, чтобы понять то, что мне довелось сегодня увидеть. Я отошел от ракеты на добрых пятнадцать морских миль, места там гораздо суше, но из расположенного по соседству болота тянутся над самой землей белые полосы тумана. Сперва я встретил одинокого курдюсамца — он спал на солнце, которое висело еще довольно низко. Должно быть, сны ему снились плохие: он ужасно храпел, а когда вздыхал, из его полуоткрытой пасти вырывался настоящий вихрь, разгонявший влажные испарения. Вонь едва не свалила меня с ног, поэтому я выполнил обходный маневр и зашел с наветренной стороны, чтобы сделать несколько снимков. Это удалось бы как нельзя лучше, но, увы, кассеты при перезарядке упали в яму, заполненную до краев водой и грязью, — след его ног, и я не решился нырнуть в эту липкую лужу. Этот курдюк был настоящий колосс. Издали я было принял его за какой-то корабль, выброшенный бурей на берег, пока не увидел, как раздуваются от дыхания его бока. Со спины свисали лохмотья линяющей шкуры. Большой части хвоста недоставало. Потом в путеводителе я нашел описание таких особей — они теряют хвост, потому что сами его надгрызают. Такой курдюк, чаще всего поседевший и серьезно пораженный склерозом, зовется плешехвостом. Как я вскоре убедился, старик был обитаем. Я снимал его с разных сторон и записывал на пленку его стоны во сне, а после, проголодавшись, подкрепился сухим провиантом, который взял с собой. Уже темнело, когда во все еще разинутой пасти засветились огни. Значит, курдюки все-таки извергают огонь, подумал я, решив, что это самовозгорание; но это были фонарики идущих друг за другом существ, таких же, как встречен-

ные мною накануне. Однако эти одевались немного иначе. На них были треуголки, несколько осевшие от влаги, и короткие фраки, наискось перехваченные разноцветными шарфами. На шарфах что-то блестело, возможно, ордена или медали, но с каждой минутой становилось все темнее, и даже с помощью полевого бинокля я из своего укрытия не смог разглядеть их получше. На этот раз существ вывалилось из курдля очень много, чуть ли не две сотни. У меня на глазах они побежали навстречу друг другу, словно в атаку, но вместо того чтобы сразиться, начали карабкаться друг на дружку, подсакивая и выгибаясь. Выглядело это как акробатический номер: они образовали четыре центра влезания; четыре столба из вцепившихся друг в друга существ сотрясались от напряжения неподалеку от спящего великана, а другие всё прыгали на них и поспешно лезли вверх, словно бы решив, в коллективном помешательстве, соорудить из самих себя лестницу до самого неба, живую Вавилонскую башню; наконец с вершук четырех пирамид они начали перебрасывать арки, сплетая руки и ноги, и тут меня словно током ударило: я понял, что они делают. Из собственных тел они создали подобие курдля! Но безумием это вовсе не было, а если и было, то в их безумии имелась своя система, потому что один из них, покрупнее, весь обвешанный шарфами и знаками отличия, покрикивал в рупор мегафона; он явно руководил их усердным руконожным восхождением. Припомнив о том, что я вычитал в библиотеке МИДа в самых старых экспедиционных отчетах, я решил, что псевдокурдль двинется с места, хотя и сознавал одновременно, что это невозможно физически. Тем временем взошла луна, и, хотя вообще-то я не испытывал к ней симпатии — она напоминала мне о прежнем конфузе, — теперь она помогла мне своим сиянием. При полной луне я до тех пор разглядывал лжекурдля в ночной бинокль, пока не обнаружил в его конструкции любопытные закономерности. У члаков, изображавших ноги, шарфы были довольно узкие, неопределенного темного цвета — вернее всего, просто грязные. Те, что вскарабкались выше, носили шарфы пошире и посветлее, должно быть, желтые или светло-

оранжевые, а члаки, лежавшие на самом верху, изображая лопатки и хребет, были перепоясаны крест-накрест двумя лентами, блестящими так, словно в них были вплетены серебряные нити. Впрочем, эта живая постройка не могла стоять долго — ноги и брюхо все явственней дрожали от напряжения; их командир, или дирижер, окруженный небольшой свитой, все еще властно покрикивал, а затем по его знаку появились трубачи, и в сопровождении труб раздалась приглушенная, но вполне различимая песнь. Впечатление было необычное и очень сильное, и я терялся в догадках, к чему им, собственно, все это. Что это: цирковой номер, государственная церемония, военный парад на месте или, наконец, ритуальный обряд? Впрочем, это могло быть и что-то совершенно иное, чему у нас и названия нет. Время от времени кто-нибудь из актеров отваливался от псевдотуши и украдкой, на четвереньках, уползал в темноту, словно бы пристыженный или испуганный своим мимовольным отступничеством. Продолжалось это с полчаса, а может, и дольше, пока курдль не начал понемногу просыпаться. Тогда четверенная пирамида мгновенно рассыпалась, сотни тел разлетелись в разные стороны, заиграли трубы, и четыре шеренги члаков поспешили к зевающему гиганту, чтобы при свете скачущих фонариков исчезнуть в его пасти. Туча закрыла луну, и я, уже мало что видя, все же успел разглядеть, что градоход постепенно встает сначала на задние, потом на передние ноги и торжественно трогается в путь. В брюхе у него так бурчало и гроыхало, словно он страдал несварением желудка. Я в темноте возвращался к ракете, исполненный изумления. Ведь вот говорят, будто все уже было под солнцем, что нет ничего непонятного, раз законы Природы универсальны; тогда почему они сперва вылезли из этого мерзкого старикана, а потом залезли обратно? Почему такое множество их так старалось на время превратиться в курдля? Что это было? Блуд? Бред? Ритуал? Адаптация? Патриотический долг? Генетический дрейф? Полицейский приказ? Голова у меня раскалывалась, главным образом от любопытства. В путеводителе о чем-либо подобном не было ни слова, ведь сочиняли его специалисты,

не верившие, будто градоходы могут быть курдлями, живыми и обитаемыми одновременно. Впрочем, я уже понял, что больше надо доверять собственным глазам и ушам, чем взятой в дорогу литературе.

*День шестой.* Кратко отмечу, что сегодня наблюдал: а) столкновение двух градозавров; из одного выпала чуть ли не целая семья с парализованным дедушкой; б) нападение четырех малышей на великана; бодая его в слабину, они вынудили его к позорному бегству; по дороге он содрогнулся в судорогах и извергнул курдленка, который тут же вымазался в луже, встрепенулся, взбрыкнул и весело умчался в лес; все это напоминало братскую помощь малышей проглоченному; в) падаль на прогулке.

Последний феномен стоит описать подробнее. Обливаясь седьмым потом, я продирался через высокие камышовые заросли между двумя рядами пологих холмов и на фоне неба, на верхушке одного из этих лысых пригорков, заметил силуэт курдля. Он не привлек моего особого внимания: он ничем не выделялся, а просто шел примерно в ту же сторону, что и я, но на расстоянии в добрую милю. Впрочем, сражаясь с камышом, который цеплялся за рюкзак, кислородный аппарат, футляры с кассетами и камеру, я меньше всего думал об этом одиноком колоссе — скорее уж о том, как выбраться на более твердое место; я просто тонул в тине, вонь которой до самой смерти будет сопутствовать моим воспоминаниям об этой якобы высоко развитой планете. Наконец, совершенно обессилев, я остановился, чтоб отдышаться, и лишь тогда шагающий далеко впереди курдль показался мне каким-то странным. Шел он, правда, довольно плавно, но иначе, чем те, которых я уже видел. Голову на длинной шее держал жестко, словно проглотил палку или, скорее, падающую Пизанскую башню, хвост волочился за ним как перебитый, а ноги он составлял широко и на каждом шагу накренялся, иногда так сильно, словно вот-вот упадет, но в последнее мгновение опять восстанавливал равновесие. Должно быть, больной, ведь у них полжизни уходит на извержение съеденного, подумал я и, вытерев пот со лба, двинулся дальше в камыши —

впереди в них виднелся просвет. Теперь я чаще поглядывал в сторону курдья и не пропустил важного момента, когда он остановился — да так резко, что все четыре ноги у него разъехались, — и начал выполнять полный разворот назад, очень неуклюже, путаясь в собственном хвосте, который только мешал ему, как колода под ногами. Развернувшись, курдль пошел в точности той же дорогой, по которой приковылял, а когда он спотыкался на неровностях почвы, голова у него подсакивала, словно вместо эластичного позвоночника в шее у него была стальная балка или что-нибудь в этом роде. Ну до чего же мертвый у него хвост, подумал я, и где это его так угораздило? Достав из футляра бинокль, я навел его на великана. Тот колыхался, как корабль при сильной боковой волне, а между его лопатками, в широкой пролысине шкуры — там она была совершенно вытерта — виднелось что-то разноцветное и полосатое; наведя на резкость, я остолбенел от изумления. Там, на самой вершине курдельного хребта, между огромными шпангоутами работающих на марше лопаток, загораки на лежаках несколько члаков. Когда же я навел бинокль на голову этого удивительного курдья, мое изумление перешло в ужас: я увидел выглядывающий из-под прогнившей шкуры череп, вместо глаз зияли черные ямы, а то, что я поначалу принял за недоеденный кусок, ветку с листьями или березку, свисавшую у него изо рта, было ужасным обрубок языка. Значит, это был труп, однако он двигался, и притом довольно бодрым шагом; я наблюдал его долго, пока наконец ветер не донес до меня мерные звуки, и вдруг я узнал барабан — или какой-то другой ударный инструмент. В курдле — а где же еще? — играл оркестр. Курдль шагал в такт ударам барабана, разумеется, приглушенным, ведь они доносились из глубины брюха.

Вернувшись на базу, я со стаканом персикового компота в руке (запас которого, к сожалению, уже вышел) принялся составлять план действий. Ракета ушла в землю на треть и больше не оседала, так что я мог оставаться здесь и дальше, ведь благодаря защитной окраске она почти невидима; но похоже было, что в этой местности я разужнаю немного. По-

этому я решил предпринять последнюю рекогносцировку, чтобы добыть языка, — впрочем, не особо надеясь на успех: курдландцы не появлялись в одиночку, и мне ни разу не попался отряд меньше чем в тридцать члаков, а с такой ватагой я предпочитал не вступать в какие-либо разговоры; чутье мне подсказывало, что добром бы это не кончилось. Но я не так-то быстро отказываюсь от исследовательских проектов, за которые заплачено веками ледяного сна, настоящей обратной смерти; поэтому я собрался с силами и приготовил ночное снаряжение, то есть ноктовизор, фонарь, немалое количество шоколада, термос с питьем, а также переводилку — модель, если верить фирменному каталогу, необычайно удобную, но нельзя сказать, чтобы легкую словно перышко, если вам нужно продираться сквозь болотные заросли: весила она почти восемь кило. Зато это была модель «первого контакта», рассчитанная, кажется, на восемнадцать верхне- и нижнекурдландских диалектов, и, если уж я собрался рисковать жизнью и здоровьем, она была в самый раз. Трудно сказать почему, но при восходе луны я направился на северо-запад, туда, где днем увидел шагающий по лысогорью труп. Однако, хотя и шел по азимуту, видимо, сбился с пути и забрался в чашу, о которой могу лишь сказать, что там жутко воняло, а ветки стегали по лицу; если бы не кислородная маска, закрывающая глаза, мне пришлось бы повернуть обратно несолоно хлебавши. Все же я пробрался через эти дебри и взошел на какой-то одинокий курган, чтобы осмотреться при свете полной луны.

Было тихо, над лугами стелился туман, что-то стрекотало — как насекомое, не как птица; и лишь далеко-далеко, почти у черного горизонта, было заметно какое-то движение. Быстро к ноктовизору — и, в который уж раз, сперва с удивлением, а потом со все большим испугом я глядел на вытянувшуюся через эти трясины цепь курдлей, шагающих прямо на меня растянутым полумесяцем; между ними поблескивали огоньки — вероятно, фонариков в руках спешенных члаков. Я почему-то сразу решил, что это облава. На меня или не на меня — об этом я не стал размышлять, такие тонкости сейчас

не имели значения. Надо было укрыться, и притом хорошенько. Курдли, правда, шли шагом, но их шаг стоит моей рыси. А всего опаснее были пешие с фонарями, ведь в проворстве они мне не уступали. До передних оставалось каких-нибудь две тысячи шагов, а то и меньше, так что надо было или немедленно начать отступление, или решиться на встречу — с непредсказуемыми последствиями. Бог весть отчего особенно ужасало меня воспоминание о курдлите, восседающем с печатью в руке на подчиненном.

Именно эта картина словно придала мне крылья. Той ночью я, наверно, установил личный рекорд в кроссе по пересеченной местности. Я несся, падая и снова вставая, прямо на север, где обрывалась линия облавы, рассчитывая обойти ее по большой дуге и до наступления рассвета исчезнуть в камышах. Это мне, к счастью, не удалось. Я говорю «к счастью» по двум причинам: во-первых, я почти наверно не успел бы и очутился в мешке, а кроме того, не встретил бы существо, о котором мне приятно вспоминать и поныне, как о своем Пятнице. Я понятия не имел, что мчусь прямо на заминированную территорию, вдобавок источенную старыми, полусгнившими землянками, и что именно это — единственный путь к спасению; астронавтика, как, впрочем, и многие другие занятия, кроме сообразительности требует еще и капельки везения.

Сопя как паровоз, я несся из последних сил, отчаянно высвобождая ноги из-под каких-то кривых, склизких корней, в полной уверенности, что, если я подверну ногу, хорошего будет мало, как вдруг земля подо мной расступилась, и я полетел в черный провал; илистая грязь смягчила удар, и почти в то же мгновение в этой тьме египетской я столкнулся с каким-то существом, существом разумным, с туземцем: когда оба мы закричали от неожиданности — или от страха, — под рукой у себя я почувствовал промокшую, тяжелую, грубую ткань одежды. Вот тебе и «первый контакт»! Ни я не мог увидеть его, ни он меня. Мы отскочили друг от друга как ошпаренные. Наверное, он тут же сбежал бы — только бы я его и видел (точнее, трогал); он прятался в этих норах давно и знал

их, как собственные карманы; однако моя многолетняя выучка не прошла даром. Я включил переводилку и сказал, вернее, прохрипел в микрофон: «Не убегай, чужое существо, я твой друг, прибыл издалека, но с добрыми намерениями и не сделаю тебе ничего плохого». Что-то в таком роде, потому что с инозвездными существами не следует вдаваться в подробности; нетрудно представить себе, каково пришлось бы высокообразованному люзанцу, который ночью высадился бы, скажем, в Иране или где-нибудь еще в Азии: он мог бы считать себя счастливым, отделавшись полугодом тюрьмы. По правде, я не рассчитывал на благоприятную реакцию соседа, и то, что он вдруг затих, уже было для меня приятной неожиданностью. «Кто ты?» — спросил я осторожно и добавил, что сам я ученый-исследователь и прибыл сюда для изучения жизни курдлей. Он не сразу избавился от подозрений, но в конце концов внял моим уговорам и ощупал меня, проверяя, какое на мне снаряжение; как ни странно, он опознал ноктовизор, хотя такой модели он знать не мог: модель как-никак была японская.

Слово за слово, не без многочисленных недоразумений, мы все же нашли общий язык, и вот что я услышал от своего ночного товарища по несчастью. Он был молодым и многообещающим курдландским научным работником, абсолютно преданным Председателю, а равно идее политохода, поэтому власти позволили ему продолжить учение в Люзании. После каждого семестра он возвращался домой, то есть в своего курдля. На беду, во время последнего возвращения он дал промашку и схлопотал пять лет Шкуры. Он не подал апелляцию, поскольку апелляция, как свидетельство особенного упорства в заблуждениях, ведет обычно к ужесточению приговора. Я ничего не понял. Переводилка работала безупречно, но переводила она слова, а не стоящие за ними общественные явления. Мы сидели бок о бок в непроницаемом мраке, на пне, выступавшем из ила, и ели шоколад, который очень пришелся ему по вкусу. Он заметил, что нечто подобное ел в Люлявите — в университете этого люзанского города он работал над диссертацией по астрофизике. Медленно и терпе-

ливо он объяснил мне, в чем заключалось его несчастье. Курдландская пресса, правда, доходит до Люзании, но «Голос Курдля», который он читал регулярно, о любых неприятных фактах умалчивает; поэтому он не знал, что на родине уже новый Председатель, а предыдущий вместе с двумя другими Суперстарами (Самыми Старшими над Курдлем) образует так называемую Банду Четырех, или ПШИК (Преступная Шайка Извергов и Кретинов). Едва лишь он выкрикнул обычное приветствие «О-ку-ку!» — в честь Отцов и Кураторов Курдландии — и перечислил в правильной очередности их титулы, награды и имена, как был арестован. Объяснения не помогли. Впрочем, он знал, что они никогда не помогают. Он получил пять лет Шкуры (Штрафного Курдля) и сбежал оттуда две недели назад. Курдль, из которого он сбежал, воспользовавшись ротозейством охранников (они очень распустились на службе, говорил он, им все бы только солнечные ванны принимать на хребте), — действительно труп, трупод, или курдыма, как говорят заключенные, которые приводят его в движение собственными усилиями, как галеру. Тут я начал припоминать, что о чем-то подобном читал в архиве МИДа. Однако я ни о чем не спрашивал — пусть выговорится.

Будучи ученым, да еще астрофизиком, весть о моем земном происхождении он воспринял без особых эмоций. Он, впрочем, слышал о Земле и знал, что у нас никаких курдлей нет, в связи с чем выразил мне свое сочувствие. Я было решил, что это горький сарказм, но нет, он говорил совершенно серьезно. Интересно, что он никого не винил в своей участи, не сетовал на приговор и каторжные работы, хотя и жаловался, что масло для смазки суставов охранники почти целиком сбывают налево, несмазанный костяк чуть не лопается, когда его чудовищные мослы приходят в движение, а скрипа и скрежета при этом столько, что можно с ума сойти. Что же касается нациомобилизма, он по-прежнему стоял за него горой. Он лишь считал, что посылаемых за границу стипендиатов следует перед возвращением информировать в курдландском посольстве; разве это по-государственному — за-

ставлять таланты терять столько лет в Шкуре? Никто не должен быть подвергнут незаслуженной ломке карьеры! В Люзании, уверял он, полно энтузиастов политоходственности, особенно среди студенчества и профессорско-преподавательского состава. Они там просто чахнут от всеобщего счастья.

Шоколад или что-нибудь в этом роде, конечно, лучше, чем бррбиций (похлебка из гнилых мхов и водорослей), но отдельные факты нельзя рассматривать в изоляции от Целого. Я осторожно заметил, что, если бы их «Голос Курдля» давал добросовестную информацию, никто не рисковал бы кончить так, как кончил он. Он всплеснул руками. Я не видел этого, но почувствовал: ведь мы прижимались друг к другу на гнилом пне, спасаясь от пронизывающей ночной сырости. Но тогда, сказал он, пришлось бы расписывать и люзанские лакомства, а простой люд, у которого ум за разум зашел бы, пустился бы в повальное бегство из курдлей, и что стало бы с идеей политохода? Допустим, заметил я, ну и что, ведь мир не перевернулся бы? Он возмутился до глубины души. Как же так, повысил он голос, полтора века идейных исканий, дезурбанизации и онатуривания общества — все это пойдет насмарку потому лишь, что где-то есть что-то вкуснее бррбиция?

Чтобы его успокоить, я спросил об облове. Он отвечал своим прежним, ровным, несколько грустным голосом, а переводилка скрежетала мне в ухо его слова. Ну, конечно, он знал об облове, потому-то он и спрятался здесь, раньше это был политический полигон, он прошел здесь курс обучения три года назад, так что изучил местность до последнего бугорка. Знал он, и как пройти через минные поля, ведь он сам устанавливал мины. То, что я не взлетел на воздух, несколько его удивляло, но у него были заботы поважнее. Мы проболтали так полночи. Облава нас миновала; луна зашла, и стало тихо, словно в могиле. Я называл невидимого экс-шкурника Пятницей — его настоящее имя мне никак не давалось, хотя он произнес его по слогам раз шесть. Впрочем, какое это имело значение? Он обращался ко мне «господин Тоблер». Почему Тоблер? Так называлась фирма, выпускавшая шоколад с оре-

хами, которым я его угостил, и он счел это моим именем. Имена собственные доставляют переводилкам больше всего хлопот. Мне показалось, что мое настоящее имя он считал определением моего характера (тихоня, или тихий омут). Я, впрочем, не разуверял его, мне не терпелось услышать побольше о национализме. Как можно заниматься астрономией в курдле? Разумеется, нельзя, ответил он снисходительно, но политоход — это прежде всего *идея*, а одной идеей не проживешь, нужно что-то конкретное на каждый день. В данном случае — курдли. Впрочем, жизнь в курдле — превосходная школа, формирующая *esprit le corps*, дух сотрудничества в тяжелых условиях, и открывающая перспективы на будущее. Какие? Ну, распрощаться с курдлем и поселиться где-нибудь под Кикириксом (или, может, Риккиксиксом); климат там очень здоровый, трясин никаких, курдлей тоже, в центре — правительственный квартал, но сам Председатель, а также Совет Суперстаров живут где-то в другом месте.

У меня создалось впечатление, что ему известен адрес высшего курдландского руководства, но он, хоть и побратался со мною в этой черной глуши, все же не до конца доверял мне. Говорят, сообщил он по секрету, что ни один из Суперстаров в жизни не видел живого курдля, а только Взгромоздентов, то есть красочные макеты этих могучих животных, образуемые гражданами во время государственных праздников перед почетной трибуной, на которой стоит сам Председатель. Видимо, перед тем, ночью, я наблюдал репетицию такого показа, ведь нужно немало потрудиться, чтобы проявить себя во всем блеске перед руководителями, под звуки гимна и шелест знамен. Ему самому посчастливилось когда-то быть верхней частью левой задней стопы такого Взгромоздонта. Он замечтался и тяжело вздохнул. Рискуя навлечь на себя его гнев, я спросил, что прекрасного, собственно, он видит в этой страшноватой твари? Вместо того чтобы возмутиться, он иронически рассмеялся и сказал, что не настолько уж он темен по части земных дел, каким я его, безусловно, считаю. У вас ведь есть государственные гербы, не так ли? Львы, а также орлы и прочие птицы. И что же прекрасного в этих

оперенных тварях? Или вам неизвестно, что орел своими когтями и клювом разрывает всяких невинных зверушек, а также ходит под себя в гнезде? Разве это мешает вам склонять голову перед его изображением? Но мы, возразил я, не живем ни в орлах, ни во львах. Не живете, пожал он плечами, потому что не поместились бы. Нам просто больше повезло. Нациомобилизм — это традиция, освященная временем, курдль — ее воплощение, его биология — наша государственная идеология, а тот, у кого есть шарики в голове, не окончит свои дни в брюхе, и, если бы не роковая случайность, он уже через год сидел бы за отличным импортным телескопом под Кикириксом. Впрочем, в здоровом теле — здоровый дух. Ни один люзанец (он говорил «люзак») не выдержал бы и трех дней в такой яме, питаюсь кореньями, а он вот живет здесь уже две недели и не жалуется, потому что в Шкуре еда была немногим лучше.

Я спросил, как ему показалась Люзания. Ведь там ему жилось хорошо? Конечно, ответил он, и он даже намерен пробраться через границу в Люлявит и продолжить занятия на факультете профессора Гзимкса, его научного руководителя. Он засядет за докторскую — чтобы вернуться, когда объявят амнистию или когда нынешний Председатель окажется демоном и чудовищем. Ибо он патриот и следует принципу: *right or wrong my country\**. Впрочем, какое там *wrong!* Каждый, кто сидит в курдле, живет надеждой поселиться под Кикириксом, а эти люзанцы не ждут уже абсолютно ничего. Приходилось ли мне слышать о синтуре, гедустриализации и фелискалации — фелитационной эскалации? Вот именно. Курдля можно покинуть раз в полгода на 24 часа, получив пропуск, а этикосферу, эти пути и кандалы ошустренного счастья, — никогда, никоим образом, и если бы я только знал, как завидовали ему его молодые коллеги, когда он возвращался в Курдландию на каникулы... Я спросил, что бы с ним сделали, если б его захватила облава, и этим страшно его обидел — или же возмутил. Он назвал меня бесстыдным чуже-

---

\* это моя страна, права она или не права (англ.).

земцем, слез с пня на землю и лег спать. Я посидел над ним какое-то время, потом лег рядом и мгновенно заснул. Проснулся я на рассвете один. Пятницы и след простыл. Он даже не объяснил мне, где проход через минное поле. К счастью, моя собственная тропа застыла в ледяной кашнице, и, осторожно ступая в свои следы, к полудню я добрался до ракеты, встретив по пути лишь курдля-малыша, барахтавшегося в луже. Благодаря Пятнице я знал, что это либо пустующая жилплощадь, либо односемейные домики функционеров среднего звена. Но я уже был сыт по горло курдлями — любой масти, формата и темперамента.

Я устроил стирку, выгладил визитный костюм, слегка перекусил и взлетел на такую высокую орбиту, с которой можно было вернуться на Энцию с космической скоростью, — я не намеревался ставить люзанцев в известность о своем пребывании в Курдландии. Я хотел появиться на их радарах в качестве прибывающего прямо с Земли ее полуофициального посланника. Так было вернее. Установив связь с космодромным диспетчерским пунктом под Люлявитом и приняв пожелания удачного приземления, я приготовился к неизбежным в таких случаях церемониям: мне дали понять, что кроме Председателя и активистов Общества энцианско-человеческой дружбы будут представители государственных органов. Бриллиантом первой величины засияла на моем экране столица Люзании — незадолго до наступления полуночи; так сложилось, что приземлялся я, когда солнце давно зашло. И двумя великолепными изумрудами в одной оправе с этим бриллиантом вспыхнули его города-спутники Тлиталутль и Люлявит. Посадку я выполнил образцово и, сидя в откинутом кресле, уже в своем лучшем костюме, слушал «кошачий концерт», гремевший из бортового репродуктора. Похоже, люзанцы, не разобравшись в моей государственной принадлежности, встретили меня гимнами сразу всех государств — членов ООН. Результат был чудовищен, но я понимал, что этот шаг был продиктован политическими, а не мелодическими соображениями. В три минуты первого я стоял в открытом люке корабля и в пылающем свете прожекторов, бьющем

со всех сторон, под звуки оркестров начал спускаться по ковровой дорожке трапа, улыбаясь собравшимся толпам и ответственно махая руками над головой. При этом я не забыл украдкой взглянуть на корпус ракеты и убедился, что атмосферное трение обуглило ее и скрыло следы грязи, свидетельствовавшие о моей курдландской эскападе. Чуть ли не галопом вели меня мимо шпалер приветствующих все дальше и дальше — наверно, подумал я, чтобы избавить от настырных телеоператоров и журналистов.

От гигантского вокзала в памяти у меня не осталось ничего, кроме гомона и ярких огней. Я даже толком не знал, кто меня окружает; меня бережно вели, направляли, подталкивали, пока я не погрузился во что-то мягкое, и мы тронулись неизвестно на чем, неизвестно куда. Ошеломленный переходом из туманных болотных пространств в водоворот ночного громадного города, я потерял дар речи, с бешеной скоростью несомый куда-то; пандусы, стартовые установки, гул, блеск, визг обрушивались на меня отовсюду, словно я был средоточием хаоса и вот-вот превращусь в какое-то месиво; я уже не отличал крыш от дорог, машин от ламп в этом блеске и в этой гонке, напряженной, как готовая лопнуть струна; я съеживался, словно дикарь, с огромными усилиями притворяясь спокойным. Не знаю, куда меня привезли, там был парк, подъезд, который оказался лифтом, наш экипаж раскрылся, словно разрезанный апельсин, мы вышли, уши у меня заложило, толстый люзанец с совершенно человеческим лицом воткнул мне в петлицу орхидею, которая тут же заговорила, — это была микропереводилка, мы прошли сквозь несколько залов, похожих на дворец и музей одновременно, статуи уступали дорогу — роботы? — нет, богоиды, сказал кто-то; ковры, а может, газоны — это в доме-то? — бронза, алтари (или столы?), кто-то заметил, что у меня нет темных очков, мне вручили их, я поблагодарил, действительно, слишком много было повсюду золотых слепящих поверхностей, двери открывались, словно вытянутые радужки кошачьих глаз, сверху сыпалась розовая пыльца, а может, это был какой-то туман; мебель пела — или это были куранты? — но шляпа

люзанца, идущего рядом, тоже вроде бы что-то мурлыкала, он швырнул ее богоиду, стало тихо; в полукруглом зале, выпуклое окно которого смотрело на город, пылающий в ночи своими галактиками, к нам подлетели маленькие крылатые амурчики с подносами, уставленными закусками, но прежде чем я понял, что это, один из сопровождающих сделал знак — мол, не нужно, — и они упорхнули; еще один зал, сверху темный, зато светились пальмы или кусты. Меня провели в следующую комнату. Я увидел голые стены, в углу — что-то вроде домашней мастерской, белый ковер, запачканный или прожженный химическими реактивами, крюк в стене, ошейник на цепи, и я остановился, неприятно изумленный всем этим, но они упрашивали меня подойти и взглянуть, один из них взял ошейник, надел на себя, повращал глазами будто от восхищения, снял, остальные смотрели внимательно, с напряжением, как-то скованно улыбались — так что же? мне надеть этот ошейник?

В конце концов, это мог быть какой-то местный обычай, но я не хотел. Сам не знаю, что меня остановило. Пожалуй, то, что они не говорили со мной, а лишь выражали жестами самое униженное почтение; у всех у них были переводилки — в петлице, как у меня, и все же они молчали. Я застыл посреди комнаты. Они вежливо подталкивали меня с жестикующей глухих или придурковатых, но я уже уперся, начал от них отбиваться, поначалу не без церемоний, кланяясь: все же такой дворец, надо соблюдать видимость, слишком резкий был переход — почему именно здесь, в чем тут дело, какого черта? — они толкали меня уже почти по-хамски, тем сильнее, чем сильнее я сопротивлялся; не знаю когда, в какой момент почести обернулись побоями. Собственно, не они меня били, а я их тузил; в пухлую морду толстого — погоди у меня! — головой в живот — пусти, хам! да отстаньте же, погодите, тут какое-то недоразумение, я чужеземец, прибыл в качестве дипломата — переводилка пискливо повторяла каждое мое слово, они не могли не слышать и все же по-прежнему подталкивали меня к стене — вот как? что ж, поговорим по-другому, врежем по поющей одежде, а пинка не хочешь? —

переводилка хрустнула и умолкла, раздавленная, они навалились массой; все-таки я сопротивлялся не так, как мог бы: я не знал, насколько велика ставка. Понятия не имею, как и когда, но ошейник защелкнулся у меня на шее, и теперь они хотели лишь вывернуться, отскочить, уйти, ведь я уже был на цепи; но я зажал под левым локтем голову толстяка и охаживал его за всех остальных, те тащили его за ноги, он ревел словно буйвол, и в конце концов я его отпустил, уж больно все это было по-дурацки. Они отбежали от меня подальше, как от злой собаки, тяжело дыша, в разорванной одежде, которая немилосердно фальшивила, — я таки изрядно им наподдал; но смотрели они на меня с радостью — совершенно иной, нежели раньше, на космодроме; это была радость *обладания* мною. Я выражаюсь достаточно ясно? Они насыщались моим видом, словно я был крупным хищником, угодившим в капкан. Это чертовски мне не понравилось. Наглядевшись на меня вволю, они гуськом ушли.

Я остался один, на цепи, и еще раз оглядел комнату. Я с удовольствием сел бы, ноги еще дрожали от напряжения, ведь одному из них я надорвал ухо, а толстому попортил нос; но сесть просто так, у стены, с ошейником на шее, я не мог — во всяком случае, пока. Ходить мне тоже не хотелось, это было бы чересчур по-собачьи. Перед глазами у меня все еще стояло золотое великолепие дворца, несколько амурчиков с подносиками слетелись под потолком, но потчевать меня снедью уже не пробовали. Напрасно я пытался внушить себе, что это какое-то грандиозное недоразумение. Всего подозрительнее было даже не то, что меня посадили на цепь, но радость, с какой они смотрели на меня перед уходом. Я размышлял, как вести себя дальше, чтобы не утратить достоинства; в таком положении в голову приходят совершенно идиотские мысли, к примеру, заслонить ошейник воротничком рубашки, а цепь прикрыть телом. Однако глаза сами устремились к подобию мастерской в углу: там лежали какие-то ножи и шипцы, а выше, под потолком, проходил прут, по которому передвигалась штора на колесиках, но теперь она была раздвинута. Ножи что-то напоминали мне — немного похожи

на пилы, но без зубьев, острие полукружем, с ручками — ну да, в точности, как кожевальные ножи. Для обработки кожи. Но что же общего они могли иметь со мной? Да просто ничего общего! Я повторил это себе раз десять, но вовсе не убедил себя. Позвать на помощь я стыдился. В перочинном ноже у меня был напильник, но не на такую цепь — эта выдержала бы не то что сторожевого пса, а шестерную упряжку.

Примерно через час радужные двери вдруг растворились. Вошли мои похитители с каким-то новым люзанцем, высоким и очень плотным. Он носил розовые очки, держался величественно, хотя задыхался так, словно опаздывал на поезд. Он низко поклонился мне от самого порога и включил пение своей одежды. А может, шляпы. Остальные, показывая на меня, галдели наперебой все с тем же радостным удовлетворением. Неужели я был заложником? Может быть, политическим? Или речь шла о выкупе?

Разглядывание заняло несколько секунд, но величественный люзанец заметил незанавешенную мастерскую и начал орать на сообщников, а одному даже пригрозил кулаком. Они наперегонки бросились задвигать занавеску. Кретины — горчица после обеда; но то, что они заслонили эту лавку с ножами, окончательно заморозило мне кровь. Высокий скомандовал, двое выбежали из комнаты и почти сразу вернулись со статуей, из тех, что они называли богоидами. Выглядел этот богоид в точности как наш земной, церковный ангел, только что двигался. Принесли кресла, ангел пододвинул одно из них мне, встал рядом и принялся тараторить неслыханно быстро: я понял, что это переводчик; вдобавок он обмахивал меня крыльями, что тоже было нелишним: после всех этих разговоров и покушений на мою жизнь я буквально обливался потом. Они сели кружком, но не слишком близко — за пределами досягаемости цепи, — ну, и началось. Что именно, трудно сказать. Сперва они представились мне, но не все. Те, что пошвейнее, уселись между креслами на корточках и воодушевляли ораторов воем, визгом, взрывами сатанинского смеха, а выступающие поочередно занимали свободное место прямо

напротив меня и давали волю своему чувству ненависти — не столько ко мне, сколько ко всему свету.

Когда-то меня уже похищали ради выкупа, об идейных похитителях мне тоже немало довелось слышать, и эти изображали из себя как раз идейных; но что-то тут было не так. Не знаю, черт подери, как это выразить. Не то чтобы я сомневался в искренности их недобрых намерений. Я узнал, что величественный, в розовых очках, — председатель или, точнее, антипредседатель их Союза писателей, что один из них занимается антисвященничеством, другие были пантожниками (панантихудожниками), на ковре сидел на корточках неонист (он не светился неонами — просто так называли неонигилистов), рядом с ним двое социократов (укокошников), а возле ангела — один апокалиптик (эсхатист), двое противленцев, с чем-то там борющихся, один кромешник и несколько экстремистов помельче, выполнявших функции клакеров. Угрожая мне, они переходили от ярости к энтузиазму, их чувства казались искренними, но... словно бы не удовлетворяли их самих. Чем-то они напоминали переволновавшихся перед спектаклем актеров, чем-то — индейцев, танцующих вокруг пыточного столба, но индейцев, которые не очень-то верят в своего Манитоу и Страну Вечной Охоты и танцуют, как танцевали их деды, однако с какой-то тревогой... не то чтобы их что-то сдерживало, никакой жалости, отнюдь, скорее уж крупница сомнения, заглушаемого хоровым воем... или вот еще плакальщицы на похоронах — не те, кому платят за причитания и посыпание главы пеплом, но родственники, которые селятся подогреть температуру отчаяния выше, чем на это способны... и потому им приходится вырывать на голове больше волос, чем нужно, и так рыдать, чтобы было слышно за кладбищем. Словом, что-то они чересчур старались. Лица у них были человеческие, однако не маски, хотя было видно, что это не обычные их лица. Тогда я еще не знал, как они это делают, и, по правде сказать, это не слишком меня заботило. Ангел, стоявший рядом, бил космические рекорды скорости перевода. Он переводил даже хоровой визг: «Свобода и Благоденствие! А чтоб вас всех! В ежовые рукавицы паскудни-

ков, кибродяг, наукиных детей, состряпанных в колыбели-колбе, чмавкающих в повсюдной кремоватости, брюзглых дряблых блевунчиков-губохлюпов». Таким вот манером они себя распалили, а потом один из них растолкал остальных и, подпрыгивая на месте по-петушиному и размахивая руками, словно хотел вознестись под потолок, к амурчикам с подносами, заревел:

— Слышь, землец, курьерскую твою дипломать! Ведь правда же, что всякий, мал он или велик, безобразен или красив, подл или благороден, кривобок или строен, пока горе мыкает и, пополам согнувшись, разматывает нити жить, то бишь жизни нить, пробуждает в нас сердоболие, жалость, участие, трепет, благость, сочувствие, святость, амины! А заблеванная блудолоб, потаскунчик паскудный, мордovorотистый брюхан-ненасыт, губошлеп лупоглазый, лягатель цветов, миров попиратель — не более чем двуногое загрязнение бытия, прорва-прожора, циник-зловред, тошнотворный и муторный засморканец, ведь верно же? Ежели встретишь на болоте, в ненастье, горемыку в дырявой сермяге, желчь у тебя разольется от жалости неизбывной и сердце тебе припечалит бледная искра забот. Ах, гвоздяга, когда б я фактически встретил где-нибудь детинушку-сиротинушку, двугорбого или хоть поплоче сортом калеку либо увечника какого ни есть, побирушку косноязыкого, продрогшего, без подштанников, как бы я его пригрел, приласкал, к сердцу прижал и прошебетал в немытое его, грубое, но народное ухо песнь свою! Да только черта с два — не выйдет, синтура не даст, шустры ей мать! Пошел я к кибер-исповеднику — душу излить, а тот угостил меня синтесантами — синтетическими сантиментами, вместо Жалости Настоящей, слышь, ты, млекосос землистый?! Ох, тогда побежал я немедля домой за канистрой с бензином, чтобы собственноручно этого кибера подпалить, в чем, как ты без труда догадаешься, мне никто не препятствовал. Назавтра там установили нового, стоканального кибер-духовника, для сеанса одновременной исповеди. Тут я понял, что пришло уже время взять *народ* за рога и что это — Единственное Спасение. О! Как же меня ободрило великое это открытие!

Спасителем масс, понял я, может стать единственно террорист-зубодробист, который свободы паскудные, захватанные миллионами сальных лап, приструнит, обкорнает, зашпунтует и наглухо заклепает, и из всеобщей развинченности, после жалких стенаний и сетований, восстанет с ужасным ревом Желанный Призрак, что был мне зарею надежды в ночи прогнившего либерализма... О, либералов ошметки, груды эгалитаристов поганых под пятою праведного моего гнева! О, лучезарная даль и оборванцы в струпьях! Гряди, сладчайший дом неволи, сказал я себе, неволи самой что ни на есть простецкой, сермяжной, дубиночной, зубодробительской, зацветайте, цветики, в садочке! Сколько на небе звезд, столько синяков пусть будет на теле дарителей вредоносных благ! Так я ушел в подполье. Конкретно к тебе я не имею претензий, и друзья мои тоже, и все же ты должен погибнуть, ибо нельзя начинать великое дело с первого встречного. Хорошее начало — половина дела, а для высокой цели и силы найдутся! Если не мы, все утонет в киберсале с сахарином. Ничего не попишешь — надобно резать! Каждый великий переворот начинался с этого, даже без всякой идеи, что уж говорить о нашем. Короче, больше дела, меньше слов!

— Неужто вы, сударь, — закричал я так, что цепь на мне зазвенела, — вознамерились лишить меня жизни?!

Сам не знаю, почему я сказал это как-то ненатурально. А тот субъект, вместо того чтобы приступить к исполнению кровавых своих обещаний, побледнел, зашатался и упал на руки товарищей, которые принялись его утешать, а он только тяжело дышал, словно с непривычки. Следующий оратор вошел в круг и, воздев руки к амурчикам с закусками, мистическим шепотом произнес:

— Погибаем, господин Тихий!

Так он это горестно прошипел, что, несмотря на ошейник, мне как-то стало его жаль, и я спросил:

— Это отчего же и почему?

— Из-за благоденствия...

— А разве оно обязательное?

Он прямо-таки зашелся ядовитым саркастическим смехом; этот смех незаметно перешел в рыдание. Прочие похитители тоже украдкой утирали глаза.

— Нет, отнюдь, — простонал он, — но хоть бы даже райский хлебушек комом в горле застрял, по доброй воле никто его не отдаст. Абсолютное блаженство развращает абсолютно! От народа спуска не жди! Можешь рассчитывать на него, когда его нужда докучает, но не тогда, когда его роскошь насилует. Не хочет он, чтобы было иначе, ведь иначе — значит уже только хуже, а не лучше! Конечно, был некогда в моде аскетизм — похлебка из корней лесных, избушка под соломенной крышей, курдль в хлеву, соха да сермяга, богач босиком, но все это синтетическое, корни трюфельные, курдль на колесах, из нейлона солома, соха-самоходка на транзисторах, липовый это был аскетизм, и приелся он быстро. Ах, чужестранец, знал бы ты, как народ мучается! При одном только виде выборокибера, расхваливающего очередную усладу, граждан сотрясает буриданова дрожь, и многие разбирают или разбирают его, да что толку — он тут же саморемонтируется. Страшнее всего то, что нас, радетелей за народное благо, народ ненавидит, не желая понять, что завис на крючке гибели. Поэтому мы, к сожалению, должны прикончить тебя, почтеннейший чужестранец...

Возможно, это был их представитель по делам печати — не знаю, во всяком случае, он не удовлетворил их этим коммюнике. Ты забыл добавить, наперебой кричали они, что великое дело требует великой жертвы! Ты недостаточно заострил историческое значение того, что сейчас наступит! Что же именно? Шкурничество. В том смысле, что с меня снимут шкуру. Перспектива Тихобития (повторяю за ангелом, который с ходу переводил), собственно, не заставила меня испугаться сильнее, конкретную угрозу я предпочитаю смертоносным намекам, щекочущим позвоночник; мышление мое обострилось, я весь собрался, прикидывая возможности обороны, ибо я не намерен был дешево продать свою шкуру; одновременно я вдался в дискуссию с ними, упирая на то, что возвышенная идея несовместима с убийством, но это был

диалог с глухими. В их идеалистически вытаращенных глазах горел такой фанатизм, что легче было бы рождественскому индюку убедить кухарок отказаться от своих кровожадных намерений, чем мне разубедить этих энтузиастов, которые, убив меня, хотели отвоевать неведомо что, неведомо как; я потянулся за перочинным ножом в брючный карман, но тут меня ждал новый сюрприз: то, что я считал эпилогом, оказалось всего лишь прологом настоящего разбирательства. Они по очереди требовали слова, председатель — теолог или антипастырь — составил список ораторов, затем была принята повестка дня и утвержден состав комиссии по рассмотрению предложений; вслушиваясь в их выступления, я наконец уяснил существо дела. Само по себе убийство было делом решенным — но не его толкование. Теперь обсуждалось, с каких позиций свершится то, что должно было свершиться. После бурных дебатов на середину вышел Портретист-Экстремист, поклонился и заголосил:

— Достопочтеннейший Пришелец, да погибнешь ты от моей руки! Почитаю долгом своим объяснить, почему я бросил любимую палитру ради тебя. Крови ли я хотел? Никогда! Так чего же я жаждал? Творить. Живописать! На грубый холст накладывать краски, исповедуясь в собственных снах, и чтобы кто-нибудь, кто угодно, хоть раз взглянул бы и вскрикнул от восхищения. И это все, клянусь честью. Но взгляни: как тут писать картины, если достаточно захотеть — и стена, благодаря своему орнаменту на интегральных схемах и читчику желаний, сама, живо и ловко, фресками себя покрывает?! По-этому, когда я ребенком выказывал охоту к живописи, меня ставили носом к стене. Что было делать? Я поручал это ей, но жалость жгла сердце. Впрочем, вскоре стенам пришел конец, возобладало новое течение — картиноречие. Течение было не хуже других, но что же? Не успел я в это дело втянуться, как оно всего за квартал самокомпьютеризировалось. А потом, в каких-нибудь шесть недель, родился у нас дублизм. Ну если картина может сама с собой вести разговоры, то может и сама себя написать, так ведь? Но я был человек упорный, я ждал, и вот возник экскрементизм. Столовая ложка

растительного масла на одно полотно или четыре — на шесть. Если вдохновения нет — касторка. Как устоять перед Тиранией Искусства? Вот мы и травились цинковыми белилами и слоновой чернью, все как один, однако это быстро вышло из моды. И пришел суицидизм, называемый также самизмом. Сперва было брюхачество — художник шел и выставлял свой живот, лакированный и с разными штуковинами, которые держались на пластыре или вживлялись, но и это приелось публике; поэтому на вернисаже стали оставлять голую бетонную стену, а художник, обильно полив себя фиксауаром, брал хороший разбег и головой в стену, чтобы так уже и остаться — натюрмортом в суицидальном стиле. Хотя удавалось это только один раз, нашлись мученики искусства! У меня, однако, череп был слишком крепкий, впрочем, бетон вскоре размяк, известное дело, — шустры о нас пекутся... А когда пошел мне двадцать восьмой годочек, был уже в моде генизм. Берем, значит, миксер и смешиваем разные гены, от гуся до гиены, чтобы получился *monstre pittoresque\**, но и это прошло, скотинокартины вышли из моды. После был деструкционизм, или угробианство коллег, но и оно уступило место новому течению, креационизму, иначе говоря, сотворенчеству. Это вам не какое-нибудь ковыряние в глине и гипсе, но творения, достойные своей эпохи, — спутники в виде золотых алтарей с аквариумами, в которых каждой акуле самочист зубы чистит, или полицерковная безгравитационная урбанистика, когда орбитальные храмы вытягивают свои телескопические башни и колокольни в пустоте, как омары; но все это, увы, без наития, без веры и совершенно приватное, единоличное; каждое такое творение надо было немедленно залить черной стекловидной массой, чтобы уберечь от чужого глаза, а еще лучше — пустить в распыл. Но и это плохо крепило расслабленную волю к творчеству...

— Кситя, не мелочись! — надсаживались они. — Лепи сразу в девятку! Ну же! Смело, без деталей, всюю! Мы с тобой! Держись, кореш, не лопайся прежде времени!

---

\* живописный урод (*фр.*).

— Я и не лопаюсь, — уже рычал он, — *ars pro arte\**, ланца, ты сыграешь мертвеца, богоид, ату его, землеца-подлеца, я уж его разукрашу!!!

— Шкуру драть, шкуру драть! — загремели остальные, вскакивая; верно, это был их гимн; они побежали за занавеску, должно быть, за инструментами, я тоже вскочил, и цепь зазвенела.

— Вы что, спятили! Стой! — закричал я, заметив краешком глаза, что ангел перевел приказание, отданное ему художником, но не двинулся с места. Он стоял, возвышаясь над нами на две головы, мерно шелестя крыльями. Несмотря на такую усиленную вентиляцию, мне стало душно.

— Богоид, что это? — кричали они. — Держи землеца... не хочет?... Кримистор сгорел? Тогда мы сами поможем! Кситя в форме, эй, ухнем, навались, ребята пернатые, стройся клином!

И правда, они построились треугольной фалангой и ринулись на меня, но, странное дело, задом, толкая перед собой художника с ножом в руке. В моей руке блеснул перочинный нож. Если мне память не изменяет, похожее построение использовал Александр Македонский, но с лучшими результатами, потому что у тех ноги на полпути разъехались, словно ковер был катком, и они покатались к моим ногам один за другим. Первым с визгом вскочил толстый председатель антиписателей — падая, он зацепился брючиной за острие моего ножика. Я лишь слегка оцарапал ему седалище, да и то, в сущности, неумышленно, но вопил он как зарезанный. Остальные были в таком отчаянии, что даже не спешили вставать. Лежа кто где грохнулся, они тихонько стонали:

— Не было веры...

— А все из-за Ксити. Трус, мокроштанник!

— Неправда! Это из-за вас! Из-за вас! — зашелся рыданиями экстремальный художник.

— Что-о? Убирайся немедленно, мокрая курица! Да поживее!

— Чуял я, что мазила дело угробит, сойка его забодай!

---

\* искусство для искусства (*лат.*).

Художник вскочил и начал срывать с себя одежду.

— Кситя, брось! — рявкнул их представитель по делам печати. — А вы от него, от бедняги, отцепитесь. Гагусь, выходи — твой черед!

— Да-да, Гагусь! — закричали они с энтузиазмом. — Ну-ка, вдарим по старому миру! Гусик, заткни за пояс артиста-портретиста! А мы тебе на растопку дровишек подкинем!

— Врежь ему, Гусенок, до самых печенок!

— Попробуй с канифолью, чтобы не сковырнуться с копыт...

— Канифоли мало, тут виброподошвы нужны...

Ангел переводил вздох, экстремисты перегруппировались, опозоренный художник исчез, а ко мне подошел тот, кого называли Гагусем, плечистый урод отвратного вида — нос у него сплющился и съехал куда-то под левый глаз, должно быть, во всеобщей свалке. Значит, это все-таки маска, подумал я, и у других — тоже; но надо было сосредоточить внимание на новом противнике.

— Тихо! — рявкнул он, хотя все уже и так замолчали. Он переступил с ноги на ногу и качнулся на пятках взад и вперед; тем временем его нос возвращался на прежнее место. — Ты, млекосос! — продолжал он гробовым голосом. — Пупочный пупон, состряпанный брызгалкой, волосатая твоя топь, узнай на те несколько минут, которые тебе еще суждено хрипеть, с кем ты имеешь дело! Я курдлист-идеалист, автор гимна, что славит Великоход. Да здравствует курдль, строй до упора социальный, и притом натуральный! Я знаю, если б ты мог дать деру, то помчался бы доносить на меня, но ошейник исторической справедливости, цепи прогресса держат тебя мертвой хваткой, и никакие шустры тебе уже не помогут, ты, приبلудный козел! Оковы позорного благоденствия падут с моего народа, подобно тому, как отвалится от твоих костей человечина; и двинется он на коллективных ногах в светлое будущее! Близится час расплаты за все поклепы, возводимые на священные идеалы, за ведра омерзительной лжи, вылитой на головы политоходов, и ждет тебя святая месть, святая месть

за нашу честь! Дайте мне силу, дружки-ястребки, спровадить в моги...

— Слабовато что-то, — сказал я.

Даже кирпич не огорошил бы его до такой степени.

— Что? — гаркнул он. — Да как ты смеешь?.. Цыц, недотепа!

— Ти-ли ти-ли травка, — возразил я, — сбоку бородавка. А твоя кухня вымыла пингвина...

Он весь затрясся, а прочие просто застонали от ужаса. Не так-то легко объяснить, как я додумался до такой импровизации: в сущности, я понятия не имел, что именно мешает им провести скорую и кровавую экзекуцию; но чутье мне подсказывало, что им надо взвинтить себя коллективной самонакачкой, словно успех их убийственного предприятия зависел от нагнетаемой до нужного уровня атмосферы кошмара.

— Подойди-ка сюда, господин птенчик, — добавил я, — я тебе кое-что на ушко скажу...

— Кляп ему в рот! Живее! — взвизгнул Гагусь-курдофил. — Я так не могу, этот висельник сбивает меня с панталыку...

— Зачем тебе кляп, — с отчаянием в голосе отозвался антипредседатель писателей. — Врежь ему пониже спины, и дело с концом...

— Я, Гагусь, ничего не боюсь... — прошипел курдофил, выхватил из-за пояса кожаный нож и бросился на меня. Цепь резко звякнула и задрожала, словно струна, — это я отпрыгнул за спину ангела, тот покачнулся, задетый ножом, Гагусь споткнулся и осел на колени перед ангелом.

— Я сейчас... я еще раз попробую... — потерянно бормотал он.

Он был настолько ошеломлен, что мне ничего не стоило бы забрать у него нож или захватить в его птичье ухо, но я даже не шевельнулся. Теперь я присматривался к трем молодчикам, которые, потихоньку отворив радужные двери, слушали нас, стоя на пороге. Никто, кроме меня, их не видел — все остальные смотрели в мою сторону, — а я, вынуждаемый к этому ошейником и общим положением дел, подпирал сте-

ну. Поначалу я было решил, что это еще какие-то артисты-экстремисты, но я ошибался.

— Ни с места! Это налет! — бросил самый высокий из них, входя в комнату. Курдофил осекся и замер, и только две толстые слезы — как бы финальный аккорд неудачи, его постигшей, — стекли по его лицу. Одна расплылась на лацкане пиджака, вторая капнула на ковер. Бог знает почему память удерживает такие дурацкие мелочи — при таких обстоятельствах. Мои похитители вскочили, протестуя; разгорелась жаркая ссора. Ангел по-прежнему переводил каждое слово, но они так остервенело лезли друг на друга и так вопили, что я перестал что-либо соображать. Суть спора дошла до меня лишь в самых общих чертах. Чужаки были экстремистами из какой-то другой группировки, не имевшей ничего общего ни с искусством, ни с теологией, ни с общей теорией бытия. Драка (они уже дали волю рукам) шла из-за меня. Превосходство профессионалов над любителями, которыми в силу вещей были люди искусства и прочие гуманитарии, сказалось немедленно. Дольше всех защищался председатель Союза антиписателей, загнанный в угол с инструментами, — там он вооружился шкуросдиральными шипцами и действовал ими как палицей; тем не менее всего через несколько минут пришельцы оказались хозяевами положения. Сразу было видно специалистов. Они ничего не обосновывали, не теоретизировали, не церемонились, каждый, видимо, имел заранее намеченное задание, которое выполнял на удивление четко, и в других обстоятельствах я, быть может, пожалел бы своих экстремальных художников. Затихшие, в истерзанных костюмах, из которых вместо камерной музыки изливалась жалкая какофония, они были усажены на пол лицом к стене, совсем рядом со мной, — поистине, удивительная перемена участи. Только антипредседатель еще отражал атаки, но и он терял силы. В схватке кто-то долбанул ангела, тот свалился в угол и перестал переводить. Зато на его неподвижном доселе, небесном лице появилась странная улыбка, а чуть пониже груди, на алебастровом торсе, неведомо как начали зажигаться и гаснуть разноцветные надписи: «Дидр бенус генатопрк-

сул? Форникалориссимур, Доминул? А дрикси пикси куак супирито? Милулолак, господин начальник?»

Одновременно ангел взял меня за руку и потянул с таинственным выражением лица так сильно, что я чуть не задохся, когда цепь кончилась. «На помощь!» — хотел я крикнуть, но не мог: ошейник сдавливал горло. К счастью, победитель председателя поспешил мне на выручку. Уж не знаю, что такое он и его высокий товарищ сделали с ангелом, но, когда я открыл глаза, тот снова стоял по стойке «смирно», помахи-вал крыльями и переводил. Хотя переводить было в общем-то нечего — мои новые похитители оказались людьми действия. Они отодвинули меня от крюка, из принесенного с собой портфеля достали необходимые инструменты, и крюк — без малейшего жара, чада и дыма — вышел из стены, словно из куска масла. Я воздержался от слов благодарности, и правильно сделал; потому что дальнейшее их поведение ничуть не походило на поведение освободителей. Один тянул меня за цепь, двое других подталкивали, без малейшего намека на деликатность, к которой я начал было привыкать в обществе художников. Из дворца мы выбрались не через анфиладу покоев, но скорее всего через шахту кухонного лифта, и мне было трудно ориентироваться. Снаружи царила кро-мешная тьма, ночь была холодная, я угодил в какую-то лужу и сразу промочил ноги — на них были только шелковые носки. Я по натуре необычайно чувствителен, прямо-таки безоружен против неразношенной обуви, а перед самой посадкой, в предвкушении банкета, переобулся в новые лаки-рованные туфли; но, как видно из вышеизложенного, не все пошло так, как я ожидал. Пока я сидел на цепи, туфли немилосердно впивались в ступни; почти по шиколотку утопая в пушистом ковре, я незаметно стащил их с себя, решив, что раз уж предстоят, в некотором роде, мои похороны, вряд ли стоит любой ценой придерживаться этикета; а потом, ошеломленный новым налетом, совершенно об этом забыл. При свете луны я заметил в петлице у одного из налетчиков розетку-переводилку и воспользовался этим, чтобы попросить о небольшой отсрочке: мол, только заскочу на минутку за туф-

лями. Что-то я ему объяснял об опасности насморка, но этот малокультурный (что ощущалось совершенно ясно) тип хрипло засмеялся и сказал:

— Какой еще насморк? Ты не успеешь его схватить, зрз ты этакий.

Как видно, прозвища из мясного меню имели здесь не меньшее хождение, чем в Италии. Меня запихнули в какой-то ящик, а может, сундук, и вот, позванивая на ухабах цепями, — как видно, мы ехали по бездорожью, — через четверть часа, не раньше, я оказался в бетонном подвале, полуудушенный. Не знаю, как въехал туда самоезд похитителей. Его и след простыл. Низкие голые стены настраивали на мрачный лад. Все убранство состояло из нескольких трехногих табуретов, колоды для рубки дров с вбитым в нее наискось топором, груды поленьев, простого деревянного стола на крестовине и, разумеется, вцементированного в стену кольца, в которое сразу же была продета моя цепь. Значит, я поступил правильно, не раздувая в себе искру надежды. У стола стояла лавка; я сел и снял промоченные носки, прикидывая, где бы повесить их для просушки; но мой похититель, тот самый, что уже успел нагрубить мне, буркнул:

— Напрасный труд.

Он скинул с себя суконную куртку, достал из печи пригоревшую лепешку и жадно впился в нее зубами. Странное дело: я знал, что лица энциан не похожи на наши, но, привыкнув к человеческому обличью первых похитителей, не мог отделаться от мысли, будто охранявший меня грубиян был в маске — хотя на нем-то как раз ее не было. Облик энциан столь же противен человеку, как им — человеческий облик. В их вытянутом вперед лице, с ноздрями, расставленными так же широко, как и их круглые глаза, больше, пожалуй, сходства с клячей или тапиром, чем с птицей. Впрочем, никакое описание не заменит очного знакомства. Насытившись, мой стражник несколько раз постучал по своей бочкообразной груди, поистине гусиной или страусиной — ее покрывал белесый и плотный, как шерсть, пух — и начал чесаться под мышками, выщипывать у себя мелкие перышки (похоже, они шекотали

ему ноздри), а напоследок — сосредоточенно ковырять в носу. В конце концов он — верно, со скуки — разговорился, причем сперва обращался как бы не ко мне, а неизвестно к кому, расставляя акценты ударами кулака по столу. Я продолжал молчать, а этот энцианский мужлан, выпрямившись, заявил, что традиция требует объяснить похищенному, кем и за что он будет пущен в расход, и, хотя я особенно вредоносная тварь, недостойная его слушать, он снизойдет до меня, ибо я чужеземец. Сообщники все еще не приходили, а он вынул из кармана листок и, поминутно заглядывая в него, приступил к делу.

### **Заявление главаря вторых похитителей**

Слушай в оба, Землистолицый, — я ведь долго говорить не привык. Столетия назад никакой тут Люзании не было, только Гидия, но пришли чужаки и отняли землю предков. Мы красноперые гидийцы, а не видать того, затем что выцвели мы от подземного прозябания. Зёмли над нами все были наши, по правде и по закону. Великий Дух повелел нам подстергать Злых, и мы их ловили, и на последний танец их приглашали. А теперь — ничего, только лучшего чаем, считаем часы да газеты читаем. И намедни дошло до нас, будто брат прибывает на наше тело небесное, чужой, издалече, однако же брат по разуму. И спросили мы ученых родичей наших, сидящих в приказах, что-де за брат такой является гостем в страну наших предков? Они же, хоть пух у них побелел, по-прежнему красноперы душою, и поведали как на духу, кто такой прибывает и откуда. Что чествовать будут его с великою славой, оттого что со звезд он, и не птичьего рода, а будто совсем напротив. А за что таковые почести и слава великая, за какие заслуги? Пишут: посланник, а посланничество его от кого? И открыли они нам, кто вы такие. Войны любите, оружие копите, на устах мир, а в груди измена. И все-то воевание ваше — сплошное коварство, выковали вы восем-

надцать атомных топоров на каждую свою голову, и вам того мало. Дальше вооружаетесь, яды смертельные варите, без роздыху, без перерыву, а ежели что, усмехаетесь, мы-де людишки мирные — затем что на уме у вас не честное ратоборство, а козни да каверзы. Соседей мучаете, самих себя травите, а ныне вздумалось вам в гости пожаловать ради подглядывания, вынюхивания да выслеживания, где какая добыча. А мы что на это? Мы (он уже ревел, колотя кулаком по столу) тоже собрались тебя поприветствовать, разбойный посол! Слышал ли кто в целой Галактике, млечная ее гать, чтобы Землистолицы, те самые, что пускают в расход соплеменников и даже малых детишек, по расстеленному ковру мира лезли к гидийцам доблестным, которые наставлений отцовских о врагах чужеземных не забыли? Думали кротостью мнимой люзанцев-олухов поймать на крючок, да мы-то не таковы! Нас на этой мякине не проведешь! О, жестоко обманется разум твой высший, падалью вскормленный! Что, не хватает уже у себя желтолицых, зеленолицых, чернолицых для истребления? Сидел бы ты в своей тундре, у этих своих могил, тогда, глядишь, и уберег бы свою лысую, не стоящую выделки шкуру, но не здесь, где бдит красноперый муж! Побили, порезали, пограбили соплеменников, а после — покойников в землю, одежонку получше — на себя и айда на посиделки с «братьями по разуму», так, что ли? Ну так красный братишка по разуму тебе растолкует, уж брат постарается, выкопает военный топор и закопает мертвеца-землеца, выпишет на братской шкуре счет и засушит ее на память... Ну что, Землистолицый, слушаешь красноперого брата по разуму? Вижу, что слушаешь... И молчишь?.. Слышу, что молчишь... Так вот: теперь красноперый брат своими руками прикончит брательника-висельника и спровадит его в Страну Вечного Бесчестья; немало мы туда отправили Злых, но такого, как Землистолицый, покамест не было...

Сам не знаю, как и когда он опрокинул лавку вместе со мною, прыгнул через стол, отшвырнул листок с диспозицией и, путившись вприсядку, жутким, диким голосом грянул:

Млекопита мы словили,  
Эх, били его, били,  
Босиком ужо попляшем,  
Эх, на его могиле...

Забившись в угол у дымохода, я ни разу не звякнул цепями ему в такт — я знал, что дело плохо. Хуже и быть не могло. Этот похититель не был, к сожалению, настолько темен, как мне поначалу показалось, раз до него дошли обрывки нашей всеобщей истории, а дистанция между нашими мирами заранее обрекала на неудачу любые попытки защитить себя: он считал меня шпионом уголовной звездной расы, и я не представлял себе, как втолковать ему тонкости, убедительные для любого земного суда, но не здесь, в чужепланетном подвале. Я был словно в параличе, не имея ни сил, ни охоты снова лезть за перочинным ножом. Вдруг послышались бессвязные крики, топот, и в двери ворвался орущий клубок энциан. Я узнал художника Кситю, антипредседателя и Гагуся — они все еще имели человеческий облик, но некоторых я до сих пор не видел, возможно, это были товарищи моего стража: я их не мог рассмотреть в темноте, когда меня запихивали в сундук. В первое мгновение мне показалось, что они дерутся друг с другом, но это было нечто иное, гораздо более удивительное: каждый из них словно боролся с самим собою. Мой стражник вскочил с пола, ничуть не удивленный, и закричал:

— Сымайте одёжу, мигом: вас уже схватывает, вот зараза, не иначе криминофильтры пробило! Кальсонами нас повяжет! Ну, живо, а то уже застывает...

Он и сам стаскивал с себя штаны, но шло это у него все тяжелее, все медленнее, а те, дергаясь и выгибаясь, как рыбы на берегу, тоже боролись, кто с курткой, кто с рубахой или, может, туникой, и все же двигались они все медленнее, словно их заливал какой-то невидимый, быстро схватывающий клей, какой-то густой сироп — и через каких-нибудь полминуты едва подергивали руками и ногами, прямо как мухи в невидимой паучьей сети. Мой цербер перед пляской сбросил с себя куртку, но штаны так сковывали его, что он мог лишь ползать по полу на спине, задрав ноги к бревенчатому

накату; он рвал перья на голове и ругался ругательски. Так что же, выручка? Помощь? Никого, однако, не было, кроме меня, по-прежнему ничем не стесненного в движениях, хотя и на цепи... А они, валяясь кто на боку, кто на животе, кто навзничь, кричали с яростью и отчаянием:

— Зараза... фильтр криминальский пробило... Ох, задыхаюсь... Гургакс, помоги же, у тебя рука свободна... Куда ты своими ножищами, кретин... Это не я, это штаны... Председатель, есть у тебя кримистор?.. Откуда!.. Ох, повязали нас без фараонов... Погибаю-ю-ю!!!

Их жалостливые стоны и визги так меня заморочили, что я, совершенно забыв про цепь, встал с лавки. Ошейник сдавил мне горло, я упал, горло сдавило еще раз, но как будто бы мягче, и, к моему изумлению, звенья цепи разошлись... Голова у меня шла кругом, я опустился на колени, все еще в ошейнике, но когда я инстинктивно просунул палец между ним и шейей, то почувствовал, что ошейник словно из теста... С необычайной легкостью я разорвал его и выпрямил подгибающиеся ноги, глядя на своих похитителей первой и второй очереди: они все еще барахтались на полу — вяло, беспомощно; я уже понял, что это не агония, что им, собственно, ничего не грозит и держит их только одежда, затвердевшая, как гипсовая отливка, сковывающая руки, ноги, тела...

— Млекопит уходит, млечный его помет, держи его, кто в честь верует... — захрипел Гургакс, тот самый, что минуту назад распевал и отплясывал мне на погибель.

Как видно, он был неистовее остальных — те старались словно бы вовсе не замечать меня в позорном своем положении... А я стоял над ними, тяжело дыша, с размякшим обломком ошейника в руке, не зная, бежать ли куда глаза глядят или заговорить с ними... Уж не напрашиваться ли со своей помощью? Признаться, на это я не был способен. Я поочередно прошел мимо застывшего Ксити, Гагуса с задранными кверху руками в окаменевших рукавах куртки — и тишком, молчком выбрался через дверь, ожидая все время, что и моя одежда вдруг взбунтуется все тем же, непонятным мне образом; но страхи оказались напрасны.

Я нашел лестницу, массивные стальные двери были открыты, их громадные задвижки свисали, словно растопленные огненным жаром, хотя они были совершенно холодные; стараясь почему-то не прикасаться к косякам, поднялся по лестнице, увидел усыпанное звездами небо, ощутил холодное дуновение ветра... Я был свободен. Луна исчезла бесследно. Черная, крошечная тьма. Вытянув перед собой руки, я осторожно ступал под звездным небом; вдруг какая-то звезда изменила цвет и начала ко мне приближаться. Прежде чем я понял, что это значит, послышался гул, звезда превратилась в пульсирующий сгусток света, который залил меня и все вокруг ртутным блеском, я бросился бежать, споткнулся и рухнул в какой-то колючий кустарник. Что-то мягкое упало на меня сверху, я вскрикнул и, должно быть, тогда же потерял сознание. Не знаю, как долго я оставался в таком состоянии. Очнувшись, я услышал непонятные голоса, но не смел приподнять веки. Я лежал на чем-то прохладном и очень легком, словно на воздушном шаре. Руки и ноги были свободны. Я приоткрыл щелочкой один глаз. Надо мною склонялся энцианин в серебряном плаще с маленьким огоньком на лбу.

— Кси, кса, — произнес он.

В ту же минуту что-то подо мной — словно из глубины этой надутой подушки — заговорило:

— Любезный господин Тихий, воспрянь духом. Ты в окружении одних лишь друзей, под наблюдением искушенных медикаторов и медикансов, и ни один волос не упадет у тебя с головы. В силах ли ты говорить? Сблаговоли издать земной голос из своего естества, дабы знали мы, что ты нас уразумел.

— Уразумел, ох, уразумел, — простонал я и сам удивился этому, потому что чувствовал себя превосходно.

— Ксу, ксу, — сказал все еще склонявшийся надо мною серебряный энцианин и погасил свой лобовой огонек, а голос из подушки с нежными модуляциями произнес:

— Официальная часть чествования любезного господина Ийона Тихого наступит не прежде, нежели Он насладится заслуженным отдыхом. Покои правительственной гостиницы в

полном Его распоряжении, и Ему — Тебе — ничто не угрожает. Беда стряслась по причине засады двойственной. Однако мы выясним все, дело уладим, конфуз изгладим. Пусть же Вашевысокоблагостное Естество уснет себе с миром...

«Только бы не навеки», — успел я подумать, но тут серебряный энцианин сказал:

— Ксо, ксо... — И сразу же меня одолел сон.

В этой клинике меня держали всего одни сутки, после чего решили, что я уже достаточно окреп, чтобы перебраться в гостиницу. Бог знает почему больничные переводилки так чудно изъяснялись — больше я нигде таких не встречал. Я узнал, как ловко подобрались ко мне похитители группировки Гагуся и Ксити, а также Союза антиписателей. Да и то сказать, я мог бы быть поосторожнее. Переход от туманных болот и резвящихся курдлей к мегаполису был настолько внезапным, что я слегка растерялся и, когда на космодроме ко мне подошли четверо элегантных люзанцев, принял их за делегацию Общества энцианско-человеческой дружбы. Одурманенный блеском встречи и необычайной любезностью этих субъектов, я позволил посадить себя в самоезд, и меня даже не насторожила хищная торопливость, с которой они запихивали меня внутрь. А пока меня везли в особняк, где глаза слепила яшма, золото и бог знает что еще, пока я давал вести себя как барана среди мебели-алтарей неизвестно куда, заранее приготовленный дубль-Тихий водил за нос настоящую делегацию и при первой возможности дал стрекача, так что официальные органы не имели ни малейшего понятия, где меня искать. Похищение совершилось на космодроме, потому что этикосфера, как мне объяснили, еще не знала меня и оттого не могла своевременно прийти мне на помощь. Мне в голову вдалбливали множество вещей, для меня не понятных, но я, не желая выставить себя дураком — и без того я по-глупому поддался на трюк с ошейником, — предпочитал хранить дипломатическое молчание.

Переезд в гостиницу оказался переселением на настоящий Олимп. Эти бедняги сами уже не знали, как меня ублажить, чтобы вознаградить за пережитые неприятности. Мало того,

что спальня у меня золотая и золото можно заставлять светиться или гасить его при помощи выключателя (я ношу его в кармане), мало того, что в кессонах потолочного свода сидят амурчики (вызывающие, впрочем, не слишком приятные воспоминания), которые, стоит мне только открыть рот, слетаются и подсовывают вазы с лакомствами, но к тому же моей одеждой занимается сам Меркурий, а в нишах между хрустальными колоннами кровати (сплю я под балдахином) стоят начеку две Афродиты — Анадиомена и Каллипигос. Не очень-то ясно зачем, ведь они ничего не делают, а спрашивать как-то неловко. Туфли чистит мне Зевс, чем-то вроде веретена. В стене напротив кровати — зеркальный щит с головой Медузы, довольно-таки несимпатичной, и притом змеи у нее на голове шевелятся и смотрят, все как одна, на меня, куда бы я ни пошел; но вряд ли стоит лезть к хозяевам с жалобами, я же вижу, как они стараются. Весь этот Олимп, изготовленный для меня одного, чтобы я чувствовал себя как дома, досаждаст мне страшно. Но привередничать не придется — и без того я чувствую себя глупо; председатель Общества дружбы явился ко мне в сопровождении двух носильщиков, тащивших мешок — как оказалось, с пеплом, которым он посыпал себе голову, пав предо мной на колени. В довершение всего этот председатель похож на меня как две капли воды. Открыв шкаф, чтобы повесить туда рубашку, я остолбенел — там стоял кентавр, правда, маленький, как пони. Он что-то продекламировал мне, должно быть, по-древнегречески. Он к тому же и массажист, и знает толк в винах. Утром меня разбудило душное облако амбры, нарда и мускуса. Обе Афродиты стояли возле кровати с камильницами в руках; я живо прогнал их обратно в ниши, давясь кашлем и с глазами, полными слез. По моему приказанию Меркурий проветрил комнату. Но все же я предпочел бы несколько умерить гостеприимство хозяев — и чтобы эти Афродиты в конце концов во что-нибудь оделись. Начинаю догадываться, как они все это запрограммировали: на основании фотограмм из Лувра и прочих земных музеев. Кроме кентавра, в шкафу сидит

Аполлон. Он уже не поет — по моему недвусмысленному приказу.

Переход от курдлянских болот и подвала с ошейником к этой фантастической роскоши был внезапным, словно во сне. Еда превосходная, если не считать темного соуса, которым все поливают. Я в столице, именуемой Спр. Одна переводилка переводит это как Эспри, другая — как Гесперида. Пусть будет Гесперида. Отныне начинаю указывать даты. Сегодня пятое грязняря. Это не соус, это нектар. Откуда им было взять рецепт, если даже *нам* он неизвестен? На вкус — майонез с лакрицей. Выливаю, а остатки соскребываю со шницелей ложечкой. Председатель пришел опять, чтобы обсудить программу моего пребывания. Завтра у меня встреча с верховным фелицейским. А может, его называют иначе, не запомнил. Председатель уже не так похож на меня, как в первый день. Такой у них, наверно, обычай. Гоню амурчиков прочь изо всех сил, опасаясь за свою тушу. Надо еще подумать, как, не обижая хозяев, избавиться от этой олимпийской толпы. Медузу я прикрыл полотенцем, Каллипигос дал свой купальный халат. Но это лишь полумеры.

## Первый ингибитор

Не знаю, какое нынче грязняря: потерял календарик. Слава богу, избавился от Олимпа, а заодно — от Председателя Дружбы, который стал уже просто невыносим. Он уверял меня, что мое лицо почти не вызывает отвращения. Своим освобождением я обязан Кикериксу. Это молодой историк и в то же время людист (гомовед). Он пришел ко мне в гостиницу, прослышав о прибытии человека. Между прочим, он показал мне, как включить Медузу (я ее занавешивал полотенцем), чтобы все боги окаменели и рассыпались в белый порошок, который самостоятельно прячется под кроватью. Не знаю, что его туда втягивает, но спрашивать не стал. Вообще стараюсь задавать поменьше вопросов: ведь что поду-

мали бы в «Хилтоне» о постояльце, который стал бы выяснять, почему светится лампа и как размножается горничная? Мой новый знакомый так со мной подружился, что я зову его просто Киксом. Он привел меня в социомат, на наглядную лекцию по истории.

Аппарат настраивают на любое общество, с параметрами, скажем, романтическими или средневековыми, и управляют им — обычно на пару. Один игрок правит, второй играет за управляемое общество. Играть могут и несколько человек, заведая партиями, армией, средним сословием и так далее. Выигрывает тот, кто получает перевес к концу получасового сеанса. Все это, включая общественные движения, протекает с тысячекратным ускорением, и здесь нужна порядочная сноровка. Я был императором, а Кикерикс предводителем масс. Он сверг меня с трона за пять минут, включив себе сильную харизму. Напрасно пытался я помешать ему эдиктами, а видя, что дело плохо, сделал решающую ошибку, снизив подати. Теорию надобно знать. Устранение нужды немедленно ведет к непомерному росту appetitов и угрожает волнениями более опасными, чем при нищете. Социоматика — непростое искусство. Я не знал, например, что отсутствие нехваток — вовсе не плюс, а ноль и что всего важнее ненаблюдаемые параметры — параметры переживаний. Чем выше твое положение в обществе, тем меньше ты ощущаешь беды своей эпохи, катаясь как сыр в масле, однако для аристократки неприглашение на придворный бал будет таким же несчастьем, как для бедной поселянки — отсутствие хлеба для детей. Все это, казалось бы, общеизвестно, но лишь у кормила социомата убеждаешься в этом воочию. Общество ведет себя как живое; можно влиять на него, формировать общественное мнение, успокаивать обещаниями, но в меру и лишь до времени, потому что общество помнит все и реагирует по-своему. Исторические игры бывают разной степени сложности. После включения научно-технической революции власть либо совершенно размягчается, либо, напротив, отвердевает: чертовски трудно балансировать посередке. Зависть низов, говорил Кикерикс, поддержанная идеализмом реформа-

торов, подталкивает историю к эгалитаризму, который приносит больше разочарований, чем радости, поскольку и в обществе равных кажется, что лучше всего живется другим.

Странно, но факт: в Швейцарии я ухитрился прошляпить историографию предшустринного века. У них были те же заботы, что и у нас: кошмар моторизации, энергетический кризис, монетарный хаос, политическая сумятица — и подобно нам, они полагали, что летят в пропасть. Когда энергетическое сырье все вышло, удалось синтезировать микробы, перерабатывающие любой мусор в топливо. *Bacillus benzinogenes*, *Spirocheta oleorpoetica*\* — их покупали в таблетках, как винные дрожжи, бросали в мусорный бак и заливали водой; так пришел конец нефтяным крезам. Весь вчерашний день ходил вместе с Киксом по музеям. В Музее Техники видел бактериальный ткацкий станок. Нужно раздеться догола и залезть в контейнер, весьма похожий на ванну. Лежишь себе в теплом растворе, а когда через четверть часа выходишь, на тебе уже готовая одежда, изготовленная портняжной бактерией (*Bacterium Sartoriferum*); остается только этот костюм разрезать, снять, выгладить и повесить в шкафу. Пуговиц пришивать не надо, они образуются из затвердевающих выделений маленькой моли в шкафу — разумеется, не обычной моли, но генетически перестроенной. Если нужен зимний костюм, добавляют *Vibrio Pelaginae*\*\* или какой-нибудь родственный штамм, и получается нечто вроде ватина. Есть даже подкладочные вибрионы, в соответствии с пожеланиями клиентов относительно края, цвета, фактуры ткани и так далее. Правда, эти портняжные новинки вызвали единодушное отвращение и умерли естественной смертью, так и не войдя в быт. Тем не менее ткацкие бактерии почти целиком ликвидировали упаковочную промышленность, а их мусороядные и ядопоглощающие разновидности очищали окружающую среду.

---

\* Бензинородная бацилла, маслотворительная спирохета (лат.).

\*\* Пелеринные вибрионы (лат.).

Между тем наряду с биотической микроинженерией по-прежнему развивалась автоматизация, и число безработных росло в геометрической прогрессии. Занятость становилась исключением, безработица — правилом, начались мятежи, уничтожение индустриальных роботов, уличные бои; казалось, что это уже конец. Ученых-исследователей, а особенно изобретателей и рационализаторов, приходилось прятать в подземных бункерах, прикрывать и спасать их, когда народ ополчился на них как на виновников столь катастрофического прогресса. Однако ничто уже не могло заставить люзанцев свернуть с этого пути, и следующее поколение отказалось от преследований.

Как раз тогда открылся неистощимый источник энергии, черпаемой прямо из космоса (хотя я по-прежнему не знаю, как они это делают). Кикерикс называет эту эпоху потребительским потопом. С конвейеров сходили миллионы автомашин, причем началась настоящая эскалация их бронезащиты по причине роста уровня агрессивности. Тогда еще эти машины (довольно похожие на земные) изготавливали из стали штамповкой, и по желанию покупателей производители принялись сперва укреплять кузов, затем монтировать в буферах специальные клыки и шпоры наподобие петушиных, а тот, кто отказывался от бронемашины, рисковал быть разбитым вдребезги на ближайшем перекрестке. Суды по делам об автомобильных преступлениях были погребены под лавиной дел, и таран стал совершенно легальным; ущерб возмещали страховые компании. Молодежь развлекалась охотой на автоматы сферы услуг, особое предпочтение оказывая телефонным кабинам; не помогали ни бронированные стекла, ни сталь, в которую заковывали телефонные книги. Что же касается изготавливаемых домашним способом бомб, то их подкладывание было настолько в порядке вещей, говорил Кикерикс, что, когда улицу сотрясал очередной взрыв, на землю падали лишь те прохожие, что поближе. Остальные даже не поворачивали головы, впрочем, тогда уже носили индивидуальные защитные коконы, которые при грохоте взрыва наполнялись противоосколочной пеной — предосторожность

совершенно необходимая, ведь если клиент имел претензии к пекарне, почте или ремонтной мастерской, он не утруждал себя жалобами, а просто взрывал ненавистное заведение. Жилось все богаче и все опаснее; вместе с ассортиментом даровых утех росло ощущение всеобщей угрозы. В музее я видел вечерние костюмы с подкладкой из сверхпрочного танталового волокна; мода, подчиняясь диктату необходимости, узаконила бронированные котелки, но число жертв все увеличивалось.

Автоматику самозащиты первыми применили учреждения сферы обслуживания, что привело к появлению новых источников опасности; как объяснил мне Кикерикс, если в телефонной будке ты почесал себе голову слишком резким движением или недостаточно плавно протянул руку к трубке, тебя немедленно хватала за шиворот стальная ладонь и вышвыривала на улицу, а при оказании сопротивления, бывало, хрустели и ребра. Тогдашние датчики были еще недостаточно избирательны. Целый день на улицах выли сирены «скорой помощи», а вечером тяжелые мусороскребы очищали мостовые от останков автомобилей. Изменилась и архитектура — нежданный гость не мог попасть в чужой дом, а нажимая кнопку звонка у подъезда, следовало отодвинуться в сторону и полуприсесть, чтобы успеть отскочить, если по недоразумению дверь со страшной силой распахнется наружу, стараясь трахнуть прищельца по лбу. Любую прихожую можно было за пару минут затопить быстро загустевающей жидкостью, и немало незваных гостей утонули, как мухи в смоле. В дверных ручках были упрятаны магнитомеры, и, чтобы подложить бомбу соседу, приходилось брать пластиковую; но и это не гарантировало успеха: появились универсальные датчики, настолько чувствительные, что достаточно было иметь в кармане старую зажигалку, чтобы у самого входа провалиться в западню, которая находилась под постоянным телевизионным контролем полиции. Открытые сцены и эстрады канули в прошлое, ибо при первом же петухе тенора, фальшивой ноте скрипача и даже спорной исполнительской трактовке адажио возмущенный меломан вытаскивал из-под

кресла припасенный заранее автомат; поэтому все места, и в партере, и на балконах, были накрыты прозрачным колпаком, который открывался лишь по звонку о начале антракта. И если вам даже приспичило по неотложной потребности, вы должны были что-то придумать, не покидая зала, — с тех пор как удовлетворение этих потребностей стало излюбленным прикрытием динамитчиков. В метро и трамваях разгорались настоящие битвы, пока наконец в вагонах не установили донные катапульты; из мчащихся по рельсам трамваев, бывало, целыми группами вываливались сцепившиеся друг в дружку пассажиры и клубком катились по мостовой, а бронированные прохожие старательно их обходили.

Я осмелился заметить, что это ужасно, смешно и просто невероятно; коса, однако, нашла на камень: ведь Кикерикс людист, и он тут же напомнил мне о нашем бандитизме по отношению к дипломатам; между тем послов, даже самых вкусных, на Земле не трогали и людоеды. Особенно много хлопот было с роботами, которые стали излюбленным объектом городской охоты. Улицы были завалены трупами; и хотя, пытаясь уберечь своего кибер-камердинера от пули, хозяева нередко одевали его в собственный костюм, наиболее рьяные охотники, вместо того чтобы выпытывать да выспрашивать добычу, предпочитали уложить ее метким выстрелом, а после оправдывались, что приняли жертву за робота. Несмотря на строгий запрет, некоторые все-таки вооружали своих роботов, чтобы те могли отвечать огнем на огонь; а идейные противники роботоубийства умышленно высылали на линию огня ловушечных роботов, не способных ни к уборке, ни к мытью посуды, зато поливающих охотников пулеметным огнем, или особые модели, которые нарочно падали при звуке выстрела, а когда стрелок, счастливый и гордый, ставил ногу на поверженную добычу и подносил к губам рог, дабы возвестить о своем триумфе, мнимый трофей вонзал ему в ляжку стальные клыки. Что, в свою очередь, приводило в бешенство членов охотничьего клуба и склоняло их к применению управляемых ракетных снарядов. Другие, напротив, считали эскалацию охотничьих вооружений не только совершенно

естественной, но даже пикантной: дескать, чем рискованнее спорт, тем увлекательнее, и охота на тигра не в пример почетнее умерщвления зайцев. Когда же в моду вошла охота с автомобилями, все более похожих на броневики с огнеметами, а пол-Геспериды уничтожил пожар, вызванный столкновением двух охотничьих обществ, правительство склонилось на сторону глашатаев этикосферы — буквально в самый последний момент, как утверждают ныне ее защитники.

Сознавая, что с накопившейся в обществе агрессивностью нельзя покончить одним махом и надо позволить ей разрядиться, этификаторы не поскупились на финансирование поглощающих общественных институтов. Многие из них существуют по сей день. Упомяну лишь о некоторых — они, я уверен, не помешали бы и нам. Начну с малого: у люзанцев существует обычай ставить памятники выдающимся и вместе с тем ненавидимым лицам — «монументы беславия»; вместо бронзовых урн постамент окружают объемистые плетельницы. Первую такую аллегорическую группу с вычеканенными в бронзе проклятиями воздвигли еще в прошлом веке трем Лже-Ксиксарам. Кроме того, каждый политик, внесший особенно крупный вклад в дело всеобщего неблагополучия, имеет свой монумент или хотя бы бюст. Кикерикс уверял меня, что этот вид пластических искусств предъявляет особенно высокие требования как к авторам проекта, так и к исполнителям. Дело в том, что изображения бесславных мужей выполняются в материале, который легко поддается деформации, но за ночь восстанавливает прежнюю форму. Впрочем, как показала практика, вполне целесообразно из тех же материалов воздвигать памятники вполне заслуженным деятелям: всегда найдется кто-нибудь, кто ставит их заслуги под сомнение, а расходы на ремонт монументов, особенно крупногабаритных, весьма значительны. Для провинциалов (а заодно и для школьников), организованно осматривающих Старый город, на задах каждого «монумента беславия» приготовлены ящики с соответствующими орудиями. Они укрыты в живой изгороди, а сила их поражения точно соответствует сопротивляемости монумента. Исключение из правила, раз-

граничивающего славу и бесславие, сделано лишь для отцов-основателей этикосферы. Чтобы покончить с вечными ссорами и распрями у их пьедесталов, пришлось увековечить этих мужей двумя удаленными друг от друга мемориальными комплексами; каждый желающий в соответствии со своими убеждениями может направиться либо к первому, либо ко второму — с букетом цветов или с чем-то совершенно противоположным.

Так удачно сложилось, объяснил мне Кикерикс, что автоматизация положила конец физическому труду как раз тогда, когда появились первые шустресты, и, хотя шустрам далеко еще было до совершенства, уже на третий год число скоропостижных смертей пошло на убыль. И это несмотря на то, что преступный мир вкупе с охотничьими обществами и бандами хулиганов, а также экстремисты и прочие группировки, для которых жизнь без пролития крови не имела ни малейшего смысла, массами мигрировали из городов в неошустренную пока что глубинку. В свою очередь, толпы беженцев из глубинки хлынули в крупные города; словом, началось сущее переселение народов.

То была эпоха смелых экспериментов. В одном из округов неподалеку от столицы для опыта ввели неограниченное дармовое потребление — несмотря на протесты парламентской оппозиции, выразившей интересы крупных промышленников. Они продолжали отстаивать законы рынка и товарного производства, хотя себестоимость любых изделий явно стремилась к нулю. Энергия не стоила уже ничего, доступная как воздух, и даже еще доступнее, поскольку черпалась она из космического пространства.

Увы, бесплатность благ и услуг привела к ужасающим результатам. Все наперебой принялись нагромождать горы ненужного добра, выдумывать отчаянные экстравагантности, чтобы перешеголять родственников, соседей, знакомых, а те тоже не покладали рук. К семейным особнякам пришлось пристраивать склады одежды, сокровищ, съестных припасов, часть их гибла без всякой пользы, а труд накопительства становился попросту непосильным; это погрузило нуворишей в

такое уныние, что они, бывало, перенастраивали мирных роботов и формировали из них частные штурмовые отряды, чтобы допекать окружающих; разгорелись стычки и даже целые войны, в буквальном смысле слова гражданские — между отдельными гражданами. Из-за чего? Просто так. Пришлось обложить заставами и разоружить целый город, охваченный огнем пожаров, сотрясаемый взрывами бомб.

Вроде давно известно, что абсолютное благоденствие разворачивает абсолютно, однако нашлись идеалисты-оптимисты, верившие, что народ вскорости перебесится. Существующая ныне система, сложившаяся более ста лет назад, развеяла эти ребяческие мечты. Каждому гражданину на год выделяется строго определенная квота энергии. Он может употребить ее на что хочет. Например, на триста тысяч пар брюк с золотыми лампасами, или шоколадную гору с марципановыми ушелями, или девятьсот платиновых летающих проигрывателей такой мощности, что, даже когда они исчезают за горизонтом, еще слышна их иерихонская музыка; но никто уже не расточает своих запасов так сумасбродно: приходится считаться с расходами, а квоту нельзя накапливать или объединять с квотами других лиц, чтобы не возникли тайные коалиции или иные подрывные ассоциации. Все, что нужно, создают на какое-то время, а потом выключают, как мы — электрический свет. Нет уже уникальных предметов, и подарком может стать только оригинальная информация о чем-нибудь таком, чего ни у кого пока нет, потому что он об этом не слышал, а сам не додумался. То есть презентом может быть лишь нечто вроде рецепта или инструкции. По существу, истинно новой информации подобного рода не существует: любая возможная информация содержится в компьютерных инвентарях благ, а ее недоступность обусловлена лишь ужасающей избыточностью накопленных сведений.

Вместе с Кикериксом я был в художественной галерее; на почетном месте здесь стоит статуя Даксарокса, политика, который первым стал пропагандировать сооружение дебоширен, или буялен. В этих заведениях, открытых для всех совершеннолетних, можно дать волю агрессивным страстям.

Немало энциан считают Даксарокса крупнейшим государственным деятелем эпохи всеобщей бездеятельности, но есть у него и хулители.

По совету своего наставника я посетил автоклав. Это огромное сферическое здание, похожее на велодром. В огромном подземном паркинге ты выбираешь машину, а затем по пандусу въезжаешь на обычную городскую площадь, под открытое небо. Там разрешено все — таранить другие машины, гоняться за пешеходами, усеивая трассу трупами и разбитыми автомобилями, и даже въезжать в дома, превращая их в груды обломков и тучи известковой пыли. Не знаю, как делают эти миражи, но ощущение реальности происходящего — полное. Некоторые клиенты, говорят, не выходят из автоклавов, испытывая ужас при мысли о возвращении под опеку этикосферы, настолько она им осточертела. Имеются также дебоширни иного типа — там можно безнаказанно убивать, поджигать, грабить и мучить кого угодно до сотога пота и до потери дыхания, но мне что-то не захотелось.

Кикерикс полагает, — может быть, и справедливо, — что между завсегдатаями этих заведений и ценителями кровавых зрелищ вроде боя быков или фильмов, напичканных уголовщиной, разница не в сути, а только в степени. Одни знатоки проблемы видят в буяльнях усилители низменных инстинктов, обостряющие ощущение угнетенности у лиц, по природе жестоких, но другие называют это сбросом дурной крови, предохранительным клапаном, который дает разрядку слишком настойчиво умиротворяемой психике граждан. Ходят слухи, будто дебоширни находятся под тайным контролем Министерства Превентивных Мер и каждый, кто перебесится фиктивно и понарошку, попадает в картотеку лиц с порочными склонностями, а после к ним подсылают душеумягчающие шустры. Оппозиционеры избегают этих заведений как черт ладана и отзываются о них с величайшим презрением. Нет недостатка в фата-морганных имитаторах и за городом, в специальных охотничьих угодьях, где страстные охотники выслеживают самого крупного зверя — курдля, и даже тысячетонных огнемечущих пирозавров. Должно быть, отсю-

да и взялись в земных материалах противоречивые сообщения об огнедышащих горынычах: будучи фантомами, они существуют и не существуют одновременно. Не я один оплошал, приняв развлечения чужепланетной цивилизации за повседневную реальность. То же самое относится к пресловутой манекенизации; манекены в натуральную величину, с виду неотличимые от оригиналов, действительно можно заказать в филиалах фирмы ЛЮТОНД (Любые Товары На Дом); ЛЮТОНД производит все необходимое для домашнего хозяйства, в том числе по индивидуальным заказам, и никто не спрашивает клиента, что он намерен делать с заказанными товарами, ведь земной продавец платья тоже не особенно любопытствует, зачем оно понадобилось покупателю. Это просто никого не заботит, а разница лишь та, что на Энциии заказать андроида не сложнее, чем холодильник.

Кикерикс говорит, что работают не больше 10% всех энциан, однако это число постоянно растет; несмотря на всеобщую роскошь и бесчисленные развлечения, безработица докучает сильнее, чем можно было себе представить в прежнюю эпоху нужды и изнурительного труда. Главной проблемой остается, по его мнению, вседоступность благ и утех. Что задаром дается, не ставится ни в грош; блаженное ничегонеделание приводит слишком многих в отчаяние, и уже начинают подумывать, как бы сделать жизнь потруднее. Ах, если бы общество согласилось одобрить такие проекты! Да вот беда — не желает, и все. Свое нежелание оно подтверждает в регулярно устраиваемых плебисцитах, и единственным выходом было бы создание каких-то совершенно новых препятствий на жизненном пути. Ведь не о том речь, что в один прекрасный день просто не хватило бы продуктов и народ, вместо того чтобы идти в дебоширню, встал бы в очередь за сыром. Но как на деле исполнить подобные замыслы? Любые изменения требуют согласия большинства, и трудности нового типа должны быть приняты добровольно, а не навязаны. Крайне сложный вопрос, тряс своей птичьей головой мой наставник, эти колебания между искушениями тайнокрапии и гедонизации; и немало расплодилось таких, что ведут жизнь

анахоретов: из дому не выходят, носят одну и ту же одежду, пока не истлеет, а все потому, что необходимость выбора при царящем переизбытке совершенно парализует их волю.

Я спросил про Черную Кливию, и мне показалось, что вопрос пришелся ему не по вкусу. Вместо ответа он принялся выпытывать, что я знаю о Кливии, после чего заявил, что на 98% это ложь, состоящая из недоразумений и передежек, а остальное сомнительно. Как же было на самом деле? На самом деле, ответил он, мы делали для кливийцев все, что могли. Из-за неблагоприятных климатических условий у них часто случался неурожай, мы снабжали их продовольствием (так же, впрочем, как и Курдландию), а они, то есть их власти, по-прежнему морили народ голодом, накапливая стратегические запасы на случай войны, которую они собирались против нас развязать; и даже если в экспортируемые продукты добавлялись субстанции, делающие невозможным их длительное хранение, с нашей стороны это была элементарная предусмотрительность, не более того. А что могло быть «более», спросил я; он неопределенно улыбнулся и сказал, что на этой почве возникло множество измышлений и инсинуаций, о которых я рано или поздно услышу. Разговор о Кливии привел к заметному разладу между нами.

\* \* \*

От езды в Институт Облагораживания Среды в памяти у меня осталось лишь удивление, вызванное взлетом лифта: он тронулся вертикально, а потом щелчком вставляемого в магазин патрона перескочил над крышей гостиницы на колею, которая плоской радугой, без единой опоры, выгибалась над городом и подобно радуге сияла семью цветами солнечного спектра. Потом наступила темнота, пол мягко провалился подо мною, кабина застыла неподвижно, ее стена раскрылась по невидимому шву, и на фоне растений с большими белыми цветами я увидел высокого люзанца с человеческим лицом, в однобортном костюме и белоснежной рубашке, словно он только что вышел от парижского портного: даже лацканы пиджака и воротничок рубашки скроены по последней моде —

моде двухвековой давности! Это тоже было частью оказываемого мне повсюду почтения, ведь сами они одеваются по-другому. Люзанец ждал меня, заранее протянув руку, словно боялся забыть, как положено приветствовать человека; при рукопожатии его ладонь исчезла в моей вместе с большим пальцем. Это был Типп Типпилип Тахалат, директор ИОСа, черноглазый блондин. Я бы не прочь узнать, как они это делают. Взамен переводилки — на лацкане — у меня было по маленькому металлическому кружочку на раковине каждого уха; земная речь словно выплывала изо рта встречающих. Они, наверно, слышали меня так же. Заметив неловкость, проявленную Тахалатом при встрече, я почувствовал некоторое облегчение: в его знании земных обычаев оказались пробелы, а ничто так не угнетает, как чужое совершенство.

Тахалат провел меня в поистине удивительное помещение. Это была точная копия зала собраний старинного земного банка — примерно конца XIX века. Длинный, покрытый зеленым сукном стол между двумя рядами чернокожих кресел, матово-молочные окна, между ними — остекленные шкафы; одни были уставлены толстыми книгами — среди них я заметил тома ежегодников Ллойда, — в других стояли модели парусников и пароходов; и я опять подумал, что они, ей-богу, уж слишком стараются, устраивая такое представление ради одной-единственной беседы с землянином! Мы сели за маленький столик у окна, под рододендрон в майоликовой кадке, между нами дымилась кофеварка с мокко, стояла одна чашка — для меня — и серебряная сахарница, кажется, с британским львом; а для хозяина было приготовлено что-то вроде груши на ножке или гриба с лазоревой шляпкой. Тахалат извинился, что не будет пить того же, что я; он к этому не привык и рассчитывает на мою снисходительность. Я заверил его, что он оказывает мне слишком много внимания; так мы состязались в учтивости, я — помешивая сахар в чашечке, он — вертя в руках грушу-грибок, у которой вместо черенка была трубочка, а внутри — какая-то жидкость. Тахалат заговорил о моем злосчастном приключении. Он напомнил, что уцелел я благодаря этикосфере, хотя, возможно, не отдаю себе

в этом отчета. У антихудожников мне ничто не угрожало, добавил он, что же касается гидийцев, то они живут в резервате, ошустренном только поверхностно. Поэтому, когда стало известно о моем похищении, усилили локальную концентрацию шустров, и тогда они просочились в подвал.

— Наконец-то я узнаю от вас, как они действуют, эти шустры, — сказал я, удивляясь про себя превосходному вкусу люзанского кофе.

— Лучше всего — на опыте, — ответил директор. — Могли ли вы попросить дать мне пощечину?

— Что-что, извините?

Я подумал, что в переводе ошибка, но директор с улыбкой повторил:

— Я прошу вас оказать мне любезность, ударив меня по щеке. Вы убедитесь, как действует этикосфера, а после мы обсудим этот эксперимент... Я, пожалуй, встану; вы тоже встаньте — так будет удобнее...

Я решил ударить его, раз уж ему так хотелось. Мы встали друг против друга. Я замахнулся — в меру, потому что не хотел свалить его с ног, — и застыл с отведенной в сторону рукой. Что-то меня держало. Это был рукав пиджака. Он стал жестким, словно жестяная труба. Я попытался согнуть руку хотя бы в локте и с величайшим трудом согнул ее — но только наполовину.

— Видите? — сказал Тахалат. — А теперь попрошу вас отказаться от своего намерения...

— Отказаться?

— Да.

— Ну хорошо. Я не ударю вас по...

— Нет, нет. Не в том дело, чтобы вы это сказали. Вы должны внушить себе это, дать торжественное внутреннее обещание.

Я сделал примерно так, как он говорил. Рукав размягчился, но не до конца. Я все еще ощущал его неестественную жесткость.

— Это потому, что вы не вполне отказались от этой мысли...

Мы по-прежнему стояли лицом к лицу. Минуту спустя рукав уже был совершенно мягким.

— Как это делается? — спросил я.

На мне был пиджак, привезенный с Земли, — шевиотовый, пепельного цвета, в мелкую серо-голубую крапинку. Я внимательно осмотрел рукав и заметил, что ворсинки ткани лишь теперь укладывались, словно это была шерсть сперва насторожившегося, а потом успокоившегося животного.

— Недобрые намерения вызывают изменения в организме. Адреналин поступает в кровь, мышцы слегка напрягаются, изменяется соотношение ионов и тем самым — электрический заряд кожи, — объяснил директор.

— Но ведь это моя земная одежда...

— Потому-то она и не защищала вас с самого начала, а лишь часа через три. Правда, недостаточно успешно — хотя шустры и пропитали ткань, вы остались для них существом неизвестным, и по-настоящему они отреагировали лишь тогда, когда вы начали задыхаться — помните? — в том подвале...

— Так это они разорвали ошейник? — удивился я. — Но как?

— Ошейник распался сам, шустры только дали приказ. Мне придется объяснить вам подробнее, ведь это не так уж просто.

— А что было бы, — прервал я его, — сними я пиджак?

...И сразу вспомнил, как там, в подвале, похитители отчаянно пытались раздеться.

— Ради бога, пожалуйста... — ответил директор.

Я повесил пиджак на спинку стула и осмотрел рубашку. Что-то происходило с поплином в розовую клетку — его микроскопические волокна встопоршились.

— Ага... рубашка уже активизируется, — понимающе сказал я. — А если я и ее сниму?..

— От всего сердца приглашаю вас снять рубашку... — с готовностью, прямо-таки с энтузиазмом ответил он, словно я угадал желание, которое он не смел высказать. — Не стесняйтесь, прошу вас...

Как-то странно было раздеваться в этом изысканном зале, в светлой нише возле окна, под пальмой. Это, наверно, выглядело бы не так необычно в более экзотическом окружении; тем не менее я аккуратно развязал галстук; раздевшись до пояса, подтянул брюки и спросил:

— Теперь можно, господин директор?

Он как-то даже чересчур охотно подставил лицо для удара, а я, ни слова более не произнося, развернулся, стоя на слегка расставленных ногах, и они разъехались так внезапно, словно пол был изо льда, да еще полит маслом; как подкошенный я рухнул прямо к ногам люзанца. Он заботливо помог мне подняться, а я, распрямляясь, будто бы нечаянно двинул ему локтем в живот и тут же вскрикнул от боли: локоть ткнулся словно в бетон. Панцирь, что ли, был у него под одеждой? Нет — между отворотами его пиджака я видел тонкую белую рубашку. Значит, дело было не в ней. Сделав вид, будто я и не думал ударять его под ложечку, я сел и принялся разглядывать подошвы туфель. Они вовсе не были скользкими. Самые что ни на есть обыкновенные кожаные подметки и рельефные резиновые каблуки — я предпочитаю такие, с ними походка пружинистее. Я вспомнил, как попадали художники, когда всей оравой пошли на меня, стоящего под крылышком ангела. Так вот почему! Я поднял голову и посмотрел в неподвижные глаза собеседника. Тот добродушно улыбался.

— Шустры в подошвах? — отозвался я первым.

— Верно. В подошвах, в костюме, в рубашке — везде... Надеюсь, вы ничего не ушибли?..

Скрытый смысл этих слов был менее вежлив: «Не замаяхнись ты так сильно, не свалился бы с ног».

— Пустяки, не о чем говорить. А если раздеться догола?..

— Что ж, тогда бывает по-разному... Не могу сказать точно, что произошло бы: просто не знаю. Если б можно было знать, возможно, и удалось бы обойти уморы, то есть усилители морали... Учтите: фильтром агрессии является все окружение, а не только одежда...

— А если бы здесь, где-нибудь в укромном месте, я бросил камень вам в голову?

— Думаю, он отклонился бы в полете или рассыпался в момент удара...

— Как же он может рассыпаться?

— За исключением немногих мест — например, резерватов, — нигде не осталось необлагороженного вещества...

— То есть как: и плиты тротуаров тоже? И гравий на дорожках? И стены? Все искусственное?

— Не искусственное. А ошущенное. И только в этом смысле, если хотите, искусственное, — говорил он терпеливо, старательно подбирая слова. — Это было необходимо.

— Все-все из мельчайших логических элементов? Но ведь это требовало невероятных расходов...

— Расходы были значительные, безусловно, но все же нельзя сказать, чтобы невероятные. В конце концов, это основная наша продукция...

— Шустры?

— Да.

— А тучи? А зимой, когда вода замерзает? И можно ли вообще ошущить воду?

— Можно. Все можно, уверяю вас.

— И съестные продукты тоже? Этот кофе?..

— И да и нет. Быть может, я, не желая того, ввел вас в заблуждение относительно нашей технологии. Вы полагаете, что все состоит из *одних* шустров. Только из них. Но это не так. Они просто находятся повсюду, как, скажем, стальная арматура в железобетоне...

— Ах, вот оно что! Значит, скажем конкретно: в этом кофе? плавают в нем? Но я, когда пил, ничего не почувствовал...

Должно быть, на моем лице появилась гримаса отвращения, потому что люзанец сочувственно развел руками.

— В таком количестве кофе могло быть около миллиона шустров, но они меньше земных бактерий и даже вирусов — чтобы их нельзя было отфильтровать... Так же обстоит дело и с вашей одеждой, с кожей туфель, со всем.

— Значит, они непрерывно проникают в глубь организма? С какими последствиями? Неужели они у меня в крови — и в мозгу?

— Да что вы! — Он поднял руку, словно защищаясь. — Они выходят из организма, никак не изменяя его. Тело для них неприкосновенная территория, в соответствии с нашими основными законами. Существуют, правда, особые антибактериальные шустры, но их применяют только врачи в случае занесенной извне болезни, ведь в воздушном пространстве Люзании уже нет никаких болезнетворных микроорганизмов... Ну как, продолжим наши эксперименты?..

Он подошел к столу и выдвинул ящик. Там лежало несколько гвоздей — больших и поменьше, молоток и плоскогубцы.

— Не угодно ли вбить гвоздь в столешницу? — Он постучал пальцем по палисандровой крышке стола.

— Не хотелось бы портить мебель...

— Да что вы, это пустяк.

Я взял полукилограммовый молоток и несколько крупных гвоздей. Звякнул одним гвоздем о другой, а затем несколькими сильными ударами вбил четырехдюймовый гвоздь в дерево до половины. Политура брызнула в стороны блестящими щепочками. Я ударил по гвоздю сбоку — он зазвенел как камертон. Директор протянул мне плоскогубцы, и я с усилием, так как гвоздь сидел глубоко, вырвал его; он почти не погнулся.

— И что же, теперь я должен вбить его вам... в голову? — догадливо спросил я.

— Да, будьте любезны...

Чтобы мне было удобнее, он сел, слегка наклонившись, а я не спеша снял туфли, носки — мне не улыбалось еще раз очутиться на полу, — приставил гвоздь к его черепу и обозначил удар молотком, легонько, но так, что директор вздрогнул. Я застыл в нерешительности; он поспешил ободрить меня:

— Прошу вас, решительнее... смелее...

Тогда я трахнул молотком по шершавой шляпке, и гвоздь исчез. Просто исчез — лишь в ладони у меня осталась щепотка пепельной пыли.

Тахалат встал и выдвинул другой ящик. Там лежали иголки, булавки, бритвы. Он взял пригоршню этого добра, положил в рот и, медленно двигая челюстями, принялся жевать, пока не проглотил целиком. Прямо как фокусник.

— Хотите попробовать?.. — предложил он мне.

Что ж, я взял бритву, провел по ней кончиком пальца — острая! — и положил на язык, соблюдая надлежащую осторожность.

— Смелее, смелее...

На языке ощущался металлический привкус, и было трудно отделаться от мысли, что я сейчас страшно покалечусь; однако астронавтика порою требует жертв. Я надкусил бритву, и она рассыпалась прямо во рту в мелкий порошок.

— Не угодно ли гвоздь? или иголку? — потчевал он меня.

— Нет, благодарю вас... Пожалуй, хватит...

— В таком случае побеседуем...

— Как это делается? — спросил я, снова взяв свою чашку. Я заметил, что, хотя времени прошло много, кофе такой же горячий, как при первом глотке. — Это все из-за шустров? Но ведь шустры — всего лишь логические элементы... а это, — я указал на разбросанные по столу гвозди, — должно быть, настоящая сталь?..

— Да, одни лишь шустры ничего не сделали бы без нашей технологии твердых тел... Вам, несомненно, известно, как возникает телевизионное изображение?

— Разумеется. Его рисует на экране луч развертки, пучок сфокусированных электронов...

— Вот именно. Изображение возникает как впечатление глаза; на снимках с очень короткой выдержкой будут видны лишь отдельные положения светового пятна. Как раз этот принцип и положен в основу нашей технологии твердых тел; гвоздь или любой другой металлический объект существует лишь как известное число атомных облачков, которые двигаются внутри формы, задаваемой особой программой. Эти

атомы образуют что-то вроде микроскопических опилок и, мчась по своим траекториям с громадной скоростью, создают впечатление гвоздя. Или другого предмета из стали и вообще какого угодно металла. Впрочем, это не только впечатление, иллюзия, как изображение в телевизоре, — с таким гвоздем можно делать в точности то же, что и с обычным гвоздем, кованым или штампованным, понимаете?

— Это как же? — ошеломленно спросил я. — Значит, движущиеся опилки... атомы... А с какой скоростью они движутся?

— Смотря какой объект надо создать. Вот в этих гвоздях — что-то около 270 000 км/с. Они не могут двигаться медленнее: предмет казался бы слишком легким; а при больших скоростях релятивистские эффекты проявились бы в чрезмерном возрастании массы, и вам казалось бы, что гвоздь весит много больше, чем должен... Имитация естественного положения вещей должна быть безупречной! Эти атомные облачка мчатся точно по заданным орбитам — и тем самым «обрисовывают» форму нужного нам предмета, как — если воспользоваться примитивным сравнением — горящий кончик сигареты рисует круг в темноте...

— Но ведь это требует постоянного притока энергии!

— Разумеется! Энергию доставляет нуклонное поле, взаимодействующее с гравитационным. Его нельзя экранировать, как нельзя экранировать гравитацию. А если вы возьмете что-нибудь отсюда, — он описал рукой круг, — к себе на корабль, все это рассыплется в прах, как только корабль покинет наше стабилизирующее поле.

— Значит, все, что здесь есть, — и мебель, и ковер, и пальмы...

— Все.

— Стены тоже?

— В этом здании — да. Но есть еще сколько-то старых, нешоустренных строений...

— А в случае аварии энергоснабжения оно рассыплется?

— Видите ли, авария невозможна.

— Почему? Разладиться может все.

— Нет. Не все. Это не более чем предрассудок. Существуют силы абсолютно безотказные, если только вызвать их к жизни. Атомы не знают аварий, не так ли? Электрон никогда не упадет на ядро...

— Но атом в состоянии покоя не поглощает энергии.

— Да, поэтому здесь это устроено по-другому. Приток энергии необходим.

— Следовательно, может и прекратиться.

— Нет, потому что мы черпаем ее прямо из гравитационного поля нашей планетной системы. Вам понятно? Тем самым мы, конечно, притормаживаем движение планеты вокруг Солнца, но замедление, вызываемое такой эксплуатацией, — порядка всего лишь 0,2 секунды в столетие...

— Но все же какие-нибудь машины или агрегаты должны вырабатывать эту энергию, а значит, могут и отказать, — настаивал я.

Он покачал головой.

— Это не машины, — сказал он. — У них нет снашивающихся механических частей. Точно так же, как нет таких частей в атомах. Это результат интерференции особым образом наложенных друг на друга полей. Энергия в космосе есть повсюду, в неисчерпаемом количестве, нужно лишь знать, как до нее добраться...

— А ваше лицо — не обижайтесь, пожалуйста, — выглядит человеческим тоже благодаря этой технике?

— Что же тут обижаться? Да, вы угадали. Это просто проявление вежливости... Я рассказал вам, как мы изготавливаем металлические предметы. Все остальное делать проще... но это связано с устройством конкретных твердых тел. Боюсь, что рассмотрение других технологий завело бы нас слишком далеко — в область неведомой вам физики... Однако принцип всегда тот же самый. Любой материальный предмет — это рой атомов в пустоте. Атомов, включенных в структуру, соответствующую их состоянию. Мы дирижируем этими структурами, вот и все. Оркестр был готов с момента возникновения Вселенной и только ждал дирижеров...

— У вас, должно быть, чудовищных масштабов промышленность, — заметил я.

— Не таких уж чудовищных, как вы думаете. Она у нас автоматическая, самодостаточная и сама себя контролирует.

— Но в воде-то можно кого-нибудь утопить?.. — спросил я с надеждой в голосе.

— Нет. Хотите попробовать? В этом здании есть бассейн...

— Не стоит, пожалуй. Вы только скажите мне, как вода вас спасает? Выталкивает на поверхность?

— Нет, разлагается на водород и кислород, а этой смесью можно дышать...

— Разлагается — благодаря шустрам?

— Да, то есть шустры дают приказ молекулам, которые удерживаются силовыми полями.

— Вы, пожалуй, сочтете меня за дикаря, — сказал я, — но признаюсь: все, что вы говорите, кажется мне фантазией. Это просто невероятно!

— Словно я вам сказки рассказываю, правда? — улыбнулся люзанец. Он встал, подошел к стене, открыл сейф и достал оттуда обычный серый камешек. — Это *не* ошущено и не синтезировано, — сказал он с таинственным выражением лица. — Это настоящий, природный песчаник... И что же? Прошу вас задуматься: разве он устроен «просто»?

— Ну, из атомов, из соединений кремния...

— Легко сказать! Но вы же образованный человек, вы знаете, что это миллиарды и триллионы атомов; свою макроскопическую форму — именно эту — они сохраняют лишь благодаря неустанному вращению электронных оболочек, стабилизируемых барьерами ядерных потенциалов, и еще благодаря тому, что 8000 разновидностей виртуальных квазичастиц удерживают от распада псевдокристаллическую решетку с ее аномалиями, типичными для песчаника, и так далее. Если вы куда-нибудь зашвырнете этот камешек, то его атомы, его силовые поля, его электроны, находясь в постоянном движении, будут удерживать неизменную форму твердого минерала миллионы лет; и любой природный предмет есть результат бесчисленного множества подобных процес-

сов... А мы научились делать на свой манер нечто, не менее и не более, а только немного *иначе* сложное... Проведенная Природой граница между уничтожимыми и неуничтожимыми технологиями проходит чуть выше атомного уровня. Поэтому нужно было спуститься вниз — по шкале размеров — к частицам, из которых Природа строит атомы, и из этих субатомных элементов конструировать то, что требуется *нам*. Разумеется, все это лишь общие указания, а не технологический рецепт... Мы производим твердые тела с любыми нужными нам свойствами... а их судьбой заведуют шустры, которым мы перепоручили контроль.

— Значит, у вас действительно гвозди разумны? И камни, и вода, и песок, и воздух?

— Не то чтобы разумны... Разум предполагает универсальность и способность менять программу действий, а этого шустры не могут. Они скорее что-то вроде чрезвычайно обостренных недремлющих *инстинктов*, встроенных в окружающую среду. В обычной шустринной системе разума не больше, чем, скажем, в жвалах или ноге насекомого.

— Допустим, — сказал я, — но вернемся еще раз к этикосфере... ладно? Не знаю, как можно соткать ткань из ошустренных волокон, но предположим, что знаю. Что дальше? Можно сшить из этой ткани костюм: согласен. Но как получается, что в этом костюме невозможно дать ближнему по зубам?

Он приподнял брови:

— Вас это немного раздражает, не так ли? Обычное внутреннее сопротивление и даже шок, вполне понятный при столкновении с технологией другой стадии цивилизации. Нет, дело тут не в шустрах, содержащихся в ткани. Ведь ваша одежда поначалу не была ошустрена — шустры осели на ней потом, это требует известного времени, потому-то вас и сочли потенциальной добычей, заманчивой жертвой эти — наши так называемые экстремисты... Ведь они, ясное дело, нахватались кое-каких сведений о нашей цивилизации, хотя бы в школе. Любое живое существо как бы притягивает шустры. Шустры образуют вокруг него невидимое облачко. Оно

никак не влияет на обычную жизнедеятельность. Оно совершенно неощутимо. Облачко это *выучивает* типичные реакции данного лица; это нужно потому, что состояние готовности к агрессии у разных лиц проявляется неодинаково. Что уж и говорить о представителях другого разумного вида, такого, как человек! Наши шустры сначала не знали, что и как вам угрожает. Окажись на вашем месте обычный люзанец, его не удалось бы посадить на цепь, не захоти он того *сам*. Словом, этикосфера в каждом отдельном случае не обладает мгновенной и абсолютной эффективностью изначально, но становится таковой со временем. К тому же шустры по-разному специализированы — как... скажем, как вирусы, только это вирусы *добра*. Если бы вам дали какой-нибудь необычайно редкий яд, который ваши личные шустры не успели бы вовремя распознать, то первые симптомы отравления стали бы сигналами тревоги. По этому сигналу летучие группировки шустров соединяются в более крупные образования, причем со скоростью света — или распространения радиоволн, — и на выручку призываются шустры, способные действовать как противоядие. Они не обязательно проникают в вас материально. Они лишь дистанционно регулируют поведение других шустров вашего окружения, а те уже под эту диктовку могут, скажем, за несколько секунд разблокировать в клетках отравленные дыхательные ферменты. Вы ненадолго потеряете сознание и придете в чувство немного ослабленным. Вот и все. Как вы уже, верно, догадываетесь, мы не нуждаемся в *запаздывающей* медицине, все еще господствующей на Земле; наша медицина — *упреждающая*: любой организм находится под неустанной опекой...

— Шустры занимаются профилактикой?

— Разумеется.

— Значит, разбираются во всех областях медицины? Но ведь это предполагает высокую степень универсальности...

— Нет. Прошу меня извинить, но вы все еще мыслите категориями своего времени, своего уровня знаний, а это ничего не дает. Я спрашиваю — не для того чтобы обидеть вас, но чтобы лучше вам разъяснить: смог бы даже самый мудрый

землянин древности понять, как действует радио или шахматный компьютер? Ведь для этого нужно хоть что-нибудь знать об электричестве, электромагнитных колебаниях, их модулировании, энтропии, информации...

— И все же ни радио, ни компьютер не абсолютно надежны, — стоял я на своем. — Так что же вы сделали, что сравнялись с Господом Богом?..

Он усмехнулся:

— Господь Бог не сотворил мир из такого абсолютно надежного материала, как некогда представлялось. Материю можно уничтожить. Материя, если надавить на нее посильнее, оказывается небезотказной и может просто исчезнуть — скажем, в гравитационных объятиях коллапсирующей звезды, — и тогда от нее, над черной, бездонной ямой, ничего кроме тяготения не остается, верно? Там, в черных дырах, где материя испускает гравитационный дух, проходит граница ее надежности. И разумеется, граница надежности любых технологий. Но на каждый день наши атомы не хуже Господних. Мы подсмотрели Природу на нужном уровне ее устройства. Вот и все. Атом водорода не может испортиться так, чтобы он не способен был соединяться с атомами кислорода в  $H_2O$ . И точно так же не «портятся» шустры.

— Хорошо, — сказал я, чувствуя, что перехожу к отступлению, — но значит ли это, что моя одежда присматривает за мной? Или что рукава следят за своим хозяином?

— Знаете, — ответил Тахалат, — вы, сами того не ведая, повторяете доводы нашей оппозиции. Галстуки-соглядатаи, рубашки-осведомительницы, рукава-шпики. Боже ты мой, репрессивные кальсоны! Да ничего подобного, уверяю вас. Во влажной почве зерно прорастает. Что, оно следит за температурой? Недоверчиво взвешивает перспективы роста? Раздумывает о погоде, прежде чем примет важное решение прорасти? Шустры ведут себя точно так же. Законы Природы — это прежде всего запреты: *нельзя* получить энергию из ничего; *нельзя* превзойти скорость света и так далес. Мы вмонтировали в окружающую нас Природу еще один запрет — охраняющий жизнь. И ничего больше. Все остальное — параноидальный

бред, мания преследования, понятная постольку, поскольку в дошустринную эпоху усматривали разум во всем, что хоть в каком-нибудь отношении вело себя как разумное Существо. Отсюда же проистекало странное смешение понятий и страхи по поводу пракомпьютеров. Что они будто бы могут взбунтоваться, восстать против общества. Небылицы! Но здесь, — он обозначил круг, — нигде нет личного разума. Есть лишь ошустренные окна, мебель, перекрытия, портьеры, воздух — все это, разумеется, похитрее противопожарных датчиков, но точно так же предназначено для строго ограниченных целей.

— Но как же они отличают игру от настоящей схватки? Дружеское пожатие от удушающего? Хотя бы в спорте. Или спорт вам уже неизвестен?

— Да нет же, известен. Вы хотите знать, на чем основано умение шустров *распознавать*? Что ж, я отвечу. Такое умение действительно необходимо. Общество, завладевающее силами Природы, подвержено бурным потрясениям. Желанное благосостояние вызывает нежелательные последствия. Новые технологии открывают перед насильниками новые возможности и перспективы. Начинает казаться, что чем больше власть над Природой, тем больше деморализация общества. И это правда — до определенной границы. Это вытекает из самой очередности открытий. Легче перенять от Природы ее разрушительную мощь, чем ее благожелательность, и как раз потенциал разрушения становится желанной целью. Такова новая историческая опасность. Мало того: логические последствия технологий подрывают их основание; вам это известно на примере агонии природной среды. Затем — но это вам еще не известно — появляется *экорак*. Что-то наподобие вырождения больших автоматизированных и компьютеризированных систем. Новая, захватывающая цель — все большая степень овладения миром — словно бы подвергается дьявольской подмене. Старые источники благ пересыхают быстрее, чем открываются новые, и дальнейший прогресс зависает над пропастью. Порядок, достигаемый благодаря технологии, порождает больше хаоса, чем в состоянии переварить! Чтобы

преодолеть все эти преграды (источник которых — в ненадежности техники и человеческой природе, которая тоже небезотказна, поскольку сформировалась в других условиях, в другом мире), следует взобраться на новый, более высокий уровень техноэволюции, похитить у Природы сокровище, завладеть которым труднее всего, — скрытое в субатомных явлениях. У нас этому служит синтез новых твердых тел и новые методы контроля над ними, то есть шустры. Таковы два столпа нашей цивилизации. Их симбиоз мы называем этикосферой. Лавинообразное приращение знаний грозит превратить науку в *крошево* бесчисленных специальностей, и тогда согласно известному афоризму эксперт будет знать все ни о чем! Этого нельзя допустить. Спасительным поворотом становится создание глобальной системы знаний, доступных без всяких ограничений, — но уже не живым существам. Ни одно из них не справится с этой громадой. Любая из отдельно взятых пылинок, какими являются шустры, ничуть не универсальна, зато универсальны все они, вместе взятые. И этой их универсальностью может при необходимости воспользоваться каждый, как я пробовал показать вам на примере редкостного случая отравления. Прошу заметить, что невидимое облачко шустров, которые вас опекают, само умеет не слишком много — и в то же время все, на что способна вся наша этикосфера, раз оно может за какие-то секунды добраться до любой информации, содержащейся в глобальной системе. Это могущество можно призвать на помощь в любую минуту, как джинна из сказки. Но такое позволено только шустрам! Никто не может сделать этого сам, непосредственно, а значит, использовать невидимого колосса этикосферы *против* кого бы то ни было...

— И нельзя обмануть шустры? — спросил я. — Так уж совсем? Что-то не верится...

Он засмеялся, но как-то невесело.

— Вы же на себе убедились. Вашим похитителям это удалось — отчасти и ненадолго — лишь потому, что вы еще были незнакомым этикосфере существом.

— Но ведь каталог всех мыслимых обоснований преступлений бесконечен... Зло можно причинять не прямо, а тысячью обходных способов...

— Безусловно. Но я же не говорю, что Люзания — воплощенный рай...

Я вдруг посмотрел на него, увлеченный новой идеей:

— Пожалуй, я знаю, как перехитрить шустры...

— Нельзя ли узнать как?

— Мои похитители именно это и пытались сделать. Теперь я понял! Они пробовали изменить квалификацию своего поступка...

Он взглянул на меня с тревожным любопытством:

— Что вы имеете в виду?

— Теперь я думаю, что они пытались превратить экзекуцию в жертвоприношение... Как бы освятить ее. Чтобы убийство стало чем-то возвышенным и благородным. Как оказание помощи. Как спасение. Меня должны были принести в жертву чему-то более ценному, чем жизнь.

— Чему же? — спросил он с нескрываемой иронией.

— Вот это как раз и осталось довольно темным. Они казались уверенными в себе, пока не принимались за дело... Как будто они все вместе брали разбег, пытаясь перепрыгнуть через барьер, — и не могли...

— Потому, что их вера — ненастоящая! — перебил он меня. — Они хотели уверовать в свою миссию, но не смогли. Нельзя уверовать только потому, что этого *хочешь!*

— Однако другим может повезти больше, — буркнул я. — Не мясникам, разумеется. Но могут быть люди, действительно убежденные, что, совершая убийство, они совершают добро. Как в средневековье, когда сжигали тело, чтобы спасти душу. Словом, обман уже не будет обманом, если вера окажется искренней...

— Средневековье нельзя возродить одним лишь желанием, хотя бы и самым страстным, — возразил Тахалат. — Скажу вам больше: неистовость подобных усилий раскрывает их подоплеку — святости в ней нет ни крупинки! Мнимым

ритуалом жертвоприношения легче обмануть людей, чем шустры...

— Это как раз то, что и не снилось нашим мудрецам, — заметил я. — Логическая пыльца, отличающая веру от неверия. Но как?

— Это лишь кажется непостижимой загадкой. Шустры вовсе не оценивают искренность веры. Они просто реагируют на симптомы агрессии и бездействуют, если их нет. Не всякая вера исключает агрессивность. Что может быть агрессивнее фанатизма? Так что он не усыпит их бдительность. Агрессию исключает стремление к добру, но оно, в свою очередь, исключает убийство. Конечно, не всегда было так, но в прошлое вернуться нельзя.

— Я бы не поручился! — возразил я. — Особенно когда уже известна нужная формула: запечатленные в структуре материи заповеди теряют силу, если убийца верит в благость своего поступка. К тому же вера и неверие — это не взаимоисключающие логические категории. Можно верить отчасти, временами, сильнее, слабее... и где-нибудь на этом пути в конце концов перепрыгнуть через шустринный барьер...

Люзанец мрачно посмотрел на меня:

— Действительно, такой порог есть. Не буду обманывать. Только он выше, чем вы полагаете. Гораздо выше. Поэтому штурмуют его напрасно...

Догадываясь, что я утомился — беседа продолжалась почти три часа, — директор уже не настаивал на посещении лабораторий. Обратного меня провожал его молчаливый ассистент. Когда мы парили над городом, мое внимание привлекло большое пятно зелени, окаймленное шлемами сверкающих башен; узнав, что это городской парк, я попросил завезти меня туда.

Какое-то время я бродил по аллеям, едва замечая их — из головы у меня не выходил разговор с Тахалатом, — и наконец уселся на лавку; чуть подальше в песочнице играли дети. Лавка была не совсем обычная, с выемками для ног, которые энциане, садясь, подбирают под себя. Но дети издали выглядели совсем как наши, у них даже были ведерки, чтобы де-

лать куличи из песка. Куличи лепила только одна маленькая, лет трех, девчушка, сидя на корточках отдельно от всех. Остальные играли иначе. Они швырялись горстями песка, стараясь попасть в глаза друг другу, и заливались смехом, когда песок, отраженный невидимым дуновением, обсыпал бросившего.

Из-за живой изгороди вышел малыш — не старше, чем остальные, — и что-то стал говорить. Его не слушали, тогда он принялся передразнивать играющих, все грубее и грубее, пока не вывел их из себя. Они бросились на нахала, но, хотя и были выше и шли втроем на одного, он вовсе не испугался, и неудивительно: нападавшие ничего не могли ему сделать. Не знаю, что парировало их удары, но этот мальчишка, меньше всех ростом, спокойно стоял посреди напирających на него, рассерженных уже не на шутку детей; в конце концов все вместе они опрокинули его и принялись по нему прыгать. Но мальчуган, казалось, стал скользким, как лед; напрасно пытались они держаться друг за друга, чтобы не упасть, или прыгать с разбега. Ребячий гомон умолк; дети молча начали раздеваться, чтобы разделаться с обидчиком голышом. Двое держали его, а третий, связав из шнурка петлю, набросил ее на шею жертве и затянул. Я непроизвольно рванулся с места, но не успел встать, как шнурок лопнул. Тогда эти мальцы пришли в настоящее бешенство. Началась такая кутерьма, что в песочнице взметнулось облако пыли. Из него поминутно кто-то показывался, чтобы поднять валяющиеся возле песочницы лопатку или грабельки, и с занесенной рукой бросался на недостижимого врага. Ярость детей превращалась в отчаяние. Один за другим, отбрасывая в сторону свои игрушечные инструменты, они выбрались из песочницы и уселись на газоне поодаль друг от друга, опустив головы. Малыш встал, он бросал в них песком, подходил ближе, смеялся над ними — наконец один из них расплакался, порвал на себе костюмчик и убежал. Несостоявшаяся жертва потопала в другую сторону. Остальные долго собирали свои вещи, потом присели на корточки в песочнице и что-то там рисовали. Наконец и они

ушли. Я встал и через голову девчушки, которая по-прежнему невозмутимо опрокидывала свои куличи, глянул на оставленный детьми рисунок: неуклюжий контур фигуры, рассеченный вдоль и поперек глубокими ударами лопатки.

## Экток

Путь к величайшим открытиям лежит через абсурд. Как известно, единственный способ не стариться — это умереть; таким выводом и заканчиваются обычно поиски вечной молодости. Для энциан этот конец стал началом бессмертия. Вчера я видел философа, который не состарится никогда, потому что он уже триста лет — труп. И не только видел, но и беседовал с ним больше часу. С ним самим, не с его машинной копией или еще каким-нибудь двойником. Это был Аникс, который триста шестьдесят лет назад получил от последнего из Ксиксаров титул Коронного Мудреца, а значит, помнит еще времена империи. На Дихтонии я услышал когда-то доказательство недостижимости вечной жизни без огромных машин-опекунш и видел эти машины, громоздкую аппаратуру, в утробе которой обессмерчиваемый влачит существование настоящего паралитика. Дихтонец Бердергар доказал, что именно столько оборудования необходимо, чтобы вводить обратно в организм информацию, теряемую по мере старения. Энциане оказались изобретательнее дихтонцев. Они не опровергли доказательств Бердергара, да это и невозможно. Они поступили иначе: выполнили обходный маневр и достигли бессмертия через смерть.

Я должен объяснить это подробнее. Задание кажется абсурдным: того, кто хочет существовать вечно, надо убить. Все дело в том, *как* совершается это убийство. В организм вводятся шустры, запрограммированные так, что они проникают во все ткани, сопутствуя молекулярным процессам жизни. Эти шустры построены из субатомных частиц, то есть они мельче мельчайших вирусов. Их нельзя наблюдать даже при

самом сильном увеличении. Постепенно они «прилипают» к клеточным ядрам и заполняют их. Они так малы, что организм их не замечает и не включает свою систему защиты. На начальной стадии эктофикации эти шустры еще не работают, а лишь обучаются своей будущей работе, как бы считывая все информационные явления, из которых состоит жизнь. Они не наносят вреда тканям, оставаясь их пассивными теньями, — словно зритель, который самовольно вышел на сцену и копирует все движения пантомимы. По видимости в организме ничего не меняется, пока насытившиеся информацией шустры не начинают брать на себя функции живых частиц протоплазмы. Нужную для этого энергию они черпают из ядерных реакций, называемых тихими. Тем не менее реакции эти понемногу убивают организм.

Эктофицируемый этого не ощущает. Он двигается, мыслит и действует, как и раньше, он может есть и пить, но через какое-то время, измеряемое годами, уже не испытывает потребности в пище. Его тело мало-помалу умирает; осевшие в нем триллионы шустров организовались в невидимый субатомный скелет, которому обмен живой материи ни к чему. Это как раз и есть экток, то есть труп, разлагающийся совершенно незаметно, шаг за шагом. Его прежняя плоть постепенно исчезает вместе с отходами организма, но он об этом не знает, потому что, уйдя из жизни, он существует по-прежнему. Как если бы старую паровую машину Уатта приводил в действие электромоторчик, укрытый в вале маховика, так что кривошипам и поршнями движет уже не пар, а электрическая энергия. Такая машина будет всего лишь действующим макетом — и точно то же можно сказать о теле эктока. Энцианский термин мы переводим на древнегреческий: «эк-тос» значит «внешний», ведь бессмертие здесь приходит извне. Специалисты называют подмененное тело псевдоморфозой: мертвые логические системы, шустры, вытесняют живую протоплазму. Организм, набитый внутри, как чучело, сохраняет свой облик, форму и функции, но только — вот уж поистине жестокая ирония! — эрзац-материал долговечнее и эффективнее натурального. Какое-то время обе системы —

органическая и шустринная — действуют параллельно, но мертвая постепенно уничтожает живую, и главной проблемой экотехники была успешная синхронизация ползучей смерти и такой же ползучей псевдоморфизации. Это, и только это, казалось поначалу неосуществимым. За успех пришлось платить гекатомбами лабораторных животных. Когда обмен веществ начинает рваться, как истлевшее полотно, все функции живой материи уже успел перенять ошустренный носитель, и тело с теплящимися в нем остатками жизни — теперь не более чем пустая скорлупа, почти совершенно полая куколка, бутафория, за которой беззвучно пульсирует энергетический скелет шустров.

Эктофицируемый не может помолодеть: ведь шустры получают от тела лишь ту информацию, которая была в нем в момент их вторжения. Приходится вести псевдожизнь в возрасте, в котором было ошустрено тело. Поэтому самые лучшие результаты дает эктофикация в молодости. Через сто лет после ее начала человек биологически мертв. В его организме нет уже ни следа мышц или нервов. Остались их безупречные заменители, а сами они подверглись полной псевдоморфизации — подмене шустрами, став питательным субстратом бессмертия. Так что надо и впрямь умереть, чтобы его обрести. Лет через двести слегка меняется внешний облик, но, как утверждают, заметить это способен только специалист. Теперь уже ничего не осталось от автономии жизненных процессов. Все органы тела действуют как паровая машина, незаметно приводимая в движение электричеством, то есть подмененная. Глаза могут временно помутнеть: здесь псевдоморфозная синхронизация иногда дает сбой, но и они вскоре обретают твердую прозрачность стекла. Кожа понемногу темнеет, так как шустры в процессе ядерных превращений выделяют ионы тяжелых металлов. Этот металлический отлив появляется лет через триста. Считается, что никаких других побочных эффектов нет на протяжении по меньшей мере пяти тысяч лет. Кровь по-прежнему течет в венах, но это всего лишь бесполезная красная жидкость, которая не несет в себе кислорода, — что-то вроде привычной декорации. Если

бы сердце остановилось (хотя остановиться оно не может, как и подменная паровая машина), экток все равно продолжал бы мыслить и двигаться, ведь сердце у него бутафорское. Оно, однако, должно работать и дальше: ощущение глухой тишины и пустоты в груди могло бы вызвать тревогу. Итак, все признаки жизни сохраняются полностью — кроме нее самой. Биологически это труп, который как раз поэтому не боится ни пустоты, ни болезнетворных бактерий, ни смертельного холода. Шустры в процессе ядерных превращений выделяют тепло, дозируемое так, чтобы температура тела эктока не отличалась от температуры живого тела. Но видимость сохраняется лишь постольку, поскольку это необходимо для нормального самочувствия. Внутренность эктофицированного черепа холодная, так как ошустренный мозг лучше работает при низких температурах.

Когда началась массовая эктофикация, исследователи констатировали ее исключительную физиологическую надежность и одновременно — опасные психические последствия в виде всевозможных неврозов и даже безумия, потому что нельзя заставить обесмерченных забыть о цене, которую им пришлось заплатить. Экток не способен размножаться. Кто знает, может, и этого удалось бы достигнуть, но к чему искать технические решения, если мертвые все равно плодили бы мертвых. Экток ничем или почти ничем не отличается от живого, но *знает*, что он неживой. Он дышит, но легкие его раздуваются как бесполезные мехи. Сон ему тоже не нужен. Он мыслит быстрее и лучше тех, у кого теплый, снабжаемый кровью мозг. В духовном смысле он остается тем же существом, что и прежде: структуры мозга, образующие личность, не только не изменились, но даже упрочились. Не живя, он не может ни состариться, ни умереть. Он не болеет и не испытывает боли. Нельзя назвать его андроидом или роботом, ведь он до последней косточки, до последней клетки такой же, что и до эктофикации. То, что он *не* такой же, можно обнаружить лишь при помощи биопсии и электронного микроскопа, в котором видна тончайшая атомная структура его организма. Речь, следовательно, идет о фальсифика-

те, который во многом превосходит оригинал, ибо надежнее и долговечнее его. Таким был на заре шустринной эпохи ее великий триумф. Десятки тысяч жаждали этого бессмертия — но оказалось, что оно им не по плечу. Как заметил Ирркс, один из создателей эктотехники, надо было, как видно, родиться мертвым, чтобы «выстоять» в шкуре эктока. (Хотя эктологи полагали — как оказалось, опрометчиво, — что психологические трудности эктофикации сглаживаются благодаря тому, что эктофицируемый умирает не в один какой-то момент, но долгие годы, постепенно, незаметно ни для себя самого, ни для окружающих.) То был конец энцианских мечтаний о бессмертии. Никакая другая техника, объяснили мне, не может сравниться с эктотехникой — ни одна не дает столь очевидной и безусловной гарантии вечного существования. Тот, кого воскресили из праха, будет уже другим существом, быть может, похожим на умершего словно две капли воды, но все же кем-то другим — как близнец. Ибо на стыке смерти и воскрешения возникают экзистенциальные парадоксы, которые нельзя преодолеть, то есть решить: КТО, собственно, открывает глаза в качестве воскрешенного — ТОТ же самый или только ТАКОЙ же самый человек. Напротив, эктотехника, будучи кунктаторским методом, обеспечивает непрерывность существования очевидным образом. То, что никто не в силах вынести последствий столь замечательного достижения, дело совсем другое — и техническое совершенство помочь тут не в силах.

«Отторжение бессмертия» протекает по-разному, но основные симптомы схожи: отвращение к собственному телу, зияющая духовная пустота, страх и отчаяние, перерастающие в манию самоубийства. Следует добавить еще, что общество не облегчало жизнь эктофицируемым, проявляя в отношениях с ними особого рода презрение, смешанное с завистью. О том, почему один только Аникс, бывший императорский философ, не отказался от такого существования, я услышал множество противоречащих друг другу версий. Он сам будто бы однажды назвал себя вечным свидетелем преходящего мира, но это, похоже, лишь одна из полулегендарных исто-

рий, связанных с его именем. Научные занятия он оставил более ста лет назад. И никого не принимает; ни одного из его учеников уже нет в живых. Говорят, надо самому стать эктоком, чтобы почувствовать вкус и бремя такого существования. Люзанские историки всеми силами стараются обойти эктотехническую стадию своей цивилизации. Кажется, это для них эпизод столь же тягостный и замалчиваемый по тем же соображениям, что и гибель Кливии. Как если бы и здесь, и там случилось нечто, во всех отношениях постыдное, чего нельзя уже ни исправить, ни вычеркнуть из памяти.

Аникс живет в небольшом одноэтажном загородном доме с садом, заросшим бурьяном и полевыми цветами. Он сам пожелал встречи со мною, и это было, как меня уверяли, редким отличием. В молодые годы, то есть еще в эпоху империи, он опубликовал главный свой труд, возникший под влиянием Учения о Трех Мирах, этого фундамента энцианской мысли. В его трактовке Учение подверглось редукции. Аникс пришел к выводу, что возможны лишь два рода миров. Мир либо лоялен к своим обитателям, либо нелоялен. Лояльный мир — это мир, в котором нет непостижимых свойств и недоступных мест. Это мир без неразрешимых загадок и вечных тайн, мир, абсолютно прозрачный для познающего разума. А нелояльный мир познать до конца нельзя. Он непостижим и неисчерпаем. Именно таков наш мир. Аникс сравнил его в своем главном труде с колодезем, размеры которого ограничены и конечны, но из которого воду можно черпать без конца. Вселенная как раз такова: конечна и неисчерпаема. Через двести лет, уже будучи эктоком, он ввел в свое учение небольшую на первый взгляд поправку. Он сохранил прежнюю классификацию миров, однако признал, что лишь мир, который он раньше называл нелояльным, можно счесть благожелательным. Лишь такой мир бросает вечный вызов разуму, а разум больше ценит путь, чем конец пути, познание — больше, чем окончательную формулу, и окончательная победа для него означала бы окончательное поражение. Что делал бы разум, познавший «все»? Поэтому Аникс и поменял знаки

лояльности и нелояльности в своей типологии миров. Вот что мне было известно, когда я переступил порог его дома.

Кикерикс, мой провожатый, в дом не вошел. Возможно, Аникс хотел встречи с глазу на глаз, не знаю. Я об этом не спрашивал. Он сидел на деревянной веранде, в лучах солнца, необычайно яркого для северных районов Люзании, и смотрел, как я иду к нему между высокими рядами кустарника, покрытого пухом уже отцветающих цветов. Он сидел за низким деревянным столом, на этом странном для моих глаз стуле, устроенном так, чтобы можно было подогнуть под себя ноги по-энциански, и был похож скорее на громадную головастую жабу, чем на лысую птицу. Его лицо, твердое, выпуклое, огромное, с широко расставленными глазами и ноздрями, было цвета красного дерева с матово-синим отливом. Под белой накидкой или, пожалуй, монашеской рясой угадывался мощный скелет; свои большие темные руки он положил на стол и смотрел на меня неподвижно, не мигая глазами, желтыми, как у злого кота. Увидев его, я сразу поверил, что ему почти четыреста лет. Хотя я не заметил у него ни единой морщины, а голос его звучал сильно, было в нем что-то ужающе старое. Не усталость, а скорее терпение — терпение не человека, а камня. Или, может быть, безразличие. Словно он все уже видел и ничто не могло ни удивить его, ни заинтересовать.

— Здравствуй, пришелец с Земли, — сказал он, когда я ступил на скрипучие деревянные ступеньки веранды. — Я слышал о ней давно. Садись. У меня есть табурет для людей...

И в самом деле, табурет, на который он мне показал, был земного образца. Я сел, не зная, что говорить. Меня уверили, что он ушел из жизни, но, возможно, это всего лишь вопрос терминологии?

— Вы похожи на нас, — сказал он. — Вы идете тем же путем, что и мы, и, должно быть, придете туда же.

Он смотрел в сад. Солнце светило ему прямо в большие желтые зрачки, но, казалось, не слепило его. Сквозь беловатый пух на голове просвечивала смуглая до синевы кожа.

— Сначала я отвечу на вопрос, который ты хочешь задать мне. Почему никто не решается на эктофикацию? Вот ответ. Потому, что смертным бессмертие ни к чему. Очищенное от всяких опасностей существование теряет всякую ценность. Обычно это зовется смертной скукой. На этот раз здравый смысл попал в самую точку.

— А ты? — спросил я тихо.

— Я не скучаю, — ответил он, по-прежнему глядя в сад мимо моего лица. — О чем ты еще хочешь меня спросить?

— О Черной Кливии. Ты должен ее помнить.

— Помню.

— Чем был Ка-Ундрий?

Он повернул ко мне свою большую голову на сторбленных плечах.

— Значит, и ты доискиваешься в нем тайны? Должен тебя разочаровать. На любой обитаемой планете возникает множество культур, и побеждает та, что первой овладеет материальной мощью и универсальной идеей. Одной лишь мощи или одной лишь идеи недостаточно. Они должны явиться вместе, как два обличья одного и того же. В этом отношении Земля не отличается от Энции. Победившая идея своим успехом обязана не военным завоеваниям, а благам, которые она сулит. Но даже исполненные посулы разочаровывают, ведь история не может остановиться ни в золотом веке, ни в черном, а восторжествовавшая идея, устремленная в этот мир или в мир иной, не туда ведет, куда указывает. По видимости курдландская и люзанская идеологии абсолютно противоположны, но их суть одинакова. Речь идет о том, чтобы наслаждаться благами некоего общественного строя без сопутствующих ему бед. И здесь, и там свободу стремятся примирить с несвободой не путем внутренней работы духа, но при помощи внешней силы. При таком взгляде на вещи ты увидишь, что между нами и ними нет существенной разницы. Политоход — это решение дилеммы, отличное от шустросферы по методу, но не по цели. Наши тюрьмы комфортнее курдландских и не так заметны, и все же мы такие же узники, как и они. И здесь, и там ограничения навязаны извне. Такой под-

ход ко всем явлениям бытия свойствен нам с древнейших времен. Я называю его эктотропическим. Вы на Земле зовете его инструментальным. С точки зрения предшествующих поколений каждая следующая стадия цивилизации — либо кошмар, либо, для оптимистов, рай. А увиденная со стороны, например, твоими глазами на Энци, она кажется просто безумием, на удивление ожесточенным в своем стремлении осуществиться до конца. Верно?

Он выдержал паузу, но я молчал, и он заговорил снова:

— Отдельные стадии технологии — как плавающие льдины, а общество планеты продвигается вперед, перескакивая с одной из них на другую. Насколько велик будет разрыв между соседними льдинами, а значит, удастся ли следующий прыжок или он закончится в полынье, зависит от космической лотереи — той, что лепит планеты. Катастрофа всегда присутствует в сфере возможного. Но если судьба позволяет нам перескакивать все дальше и дальше, со льдины на льдину, это не значит, будто в конце концов мы выйдем на твердую землю. Ты, возможно, не знаешь, что этикосфера была для нас скорее соломинкой, за которую хватается утопающий, чем миражом совершенства. Благоденствие оглушает, оно порождает насилие, вытекающее из отчаяния, — на смену убожеству нищеты приходит убожество разнузданности. У нас не было иного пути. Когда-нибудь и вы убедитесь в этом, если льдины у вас под ногами не разойдутся прежде времени. Разумеется, это не значит, что вы войдете в этикосферу; альтернативных эктотропических решений немало, но отличаются они друг от друга не больше, чем люзанское от курдландского. Совершенно открытое общество в конце концов должно превратиться в бесформенное месиво; совершенно закрытое — тоже, и нет между ними положения устойчивого равновесия. Поэтому не приходится удивляться, что вечность мы тоже взяли штурмом извне. Ты спрашивал о Ка-Ундрии. Никто не знает, чем он был для кливийцев. Как жабры у рыбы нельзя объяснить вне воды, так и понятие нельзя объяснить вне культуры, которая его породила. Полагаю, что Ка-Унд-

рий был еще одним способом сочетания свободы с неволей. Не знаю точно каким, но не думаю, что детали решения имеют значение: абсолютно хороших решений нет. Кливийцы не так уж сильно отличались от остальных энциан. Если ты понял — или не понял, — спрашивай дальше.

— Как вы убили их? — спросил я. — Правда ли, что почти никто не знал о войне? Ваши источники говорят об этом по-разному...

— Наши источники лгут, — ответил великий старец. Он все еще неподвижно смотрел на сад, освещенный солнцем. — Но лгут не там, где ты видишь ложь. Историки все еще не могут решить, что это было — упреждающий или ответный удар. И каким он был нанесен оружием — биологическим или каким-то другим. Как будто это настолько уж важно. Важно то, что эктофикация возникла как средство уничтожения. Лишь потом у шустроников спала с глаз пелена, и они обнаружили, что умерщвление способно продлить жизнь. Вовсе не этого они хотели. Шустры первого поколения были орудием эктоцида.

— Значит, шустры возникли как оружие?

— Да. Они убивали постепенно, незаметно и необратимо. Однажды начавшийся процесс эктофикации нельзя ни обратить вспять, ни прервать. Шустры, рассеянные над Кливией, убили ее за каких-нибудь несколько лет.

— А ледник? Правда ли, что...

— Оледенение Севера наступило позже. Я не вникал в подробности военной истории и не знаю, как дошло до оледенения всего континента. Но не думаю, что по чистой случайности. Если хочешь узнать больше, отправляйся к кающимся. Знаешь, кто они?

— Да. Орден, предающийся воспоминаниям о судьбе Кливии.

— Не совсем так. Все это сложнее. Но ты иди к ним. Это не такой уж плохой совет, хотя узнаешь ты не то, что хочешь узнать.

— Ты думаешь, мне удастся?

— Полагаю, никто тебе в этом не мешает. Во всяком случае, попробовать можно. Больше ты ни о чем не хочешь спросить?

— Скажи, почему ты пожелал встречи со мной, если сам ни о чем не спрашиваешь?

— Я хотел увидеть человека, — сказал Аникс.

## Учение о Трех Мирах

Личность старого мудреца произвела на меня большее впечатление, чем его слова. Аникс воплощал в себе то, что Шекспиру лишь мнилось: он был жив и мертв одновременно. Он не был суррогатом умершего, имитацией, но реальным продолжением существа, жившего триста лет назад. Однако я не мог поверить в то, что он говорил о фиаско эктотехники. Я был уверен, что множество людей решилось бы на подобное превращение, чтобы достичь бессмертия, — отчего же здесь должно быть по-другому? Я промолчал о своих сомнениях, охваченный внезапным предчувствием, что не старик-философ ответит на мой вопрос, а облако шустров, принявших его облик. Правда, я убеждал себя, что думаю как дикарь, отыскивающий в радиоприемнике говорящих гномов, но непреоборимая сила замкнула мои уста. В самом ли деле постепенность автоморфозы обеспечивает непрерывное существование личности? Как убедиться в этом? Решение этого вопроса показалось мне делом более важным, чем экспедиция к кающимся, и я отложил ее.

Между тем меня пригласили на встречу со студентами и преподавателями Института Шустретики. Зал был набит до отказа, но обрушившиеся на меня вопросы свидетельствовали о полном невежестве по части земных дел. Какой-то белоперый студент в очках втянул меня в дискуссию об ангелах. Зная их по картинкам, он утверждал, что на таких крыльях летать нельзя. Вдобавок только оперенный хвост обеспечивает устойчивость — или оперенные стабилизаторы у шико-

лоток. Я ответил, что это духовные существа, объекты веры, а не аэродинамических исследований. Это его не убедило. Видимо, люди втайне обожествляют пернатых, в противном случае крылья ангелов были бы не оперенными, а, допустим, перепончатыми. Он хотел, чтобы я ясно определил наше отношение к перьям. Крылья — символические, объяснял я, и не означают птиц, и речь идет тут не о маховых перьях и не о пухе, но о небесах, куда верующий отправится после смерти. Последовали вопросы о поле и способе размножения ангелов. Я втолковывал им, что ангелы не могут иметь потомства, но, будучи не слишком силен в ангелологии, терял почву под ногами. Кто-то слышал об ангелах-хранителях и спрашивал, не есть ли это земной аналог этикосферы? В конце концов и эта тема была исчерпана, но не успел я передохнуть, как меня спросили о наших родительских играх. Я догадался, о чем идет речь: однажды я наблюдал на городском стадионе ежегодные брачные бега. Этот спорт заменяет люжанцам эротику. Молодежь обоего пола, празднично разодетая, выходит на беговую дорожку, а трибуны подстегивают бегунов и бегуний, бешено аплодируя каждому удачному акту оплодотворения. Итак, я объяснил им, что мы не размножаемся на бегу, поэтому размножение не может быть у нас спортом. Тогда чем же? Я начал что-то мямлить о любви. К сожалению, от любви я соскользнул к чувственной страсти, для них непостижимой, и попал под перекрестный огонь. Чувственная страсть? Что это такое? Да, да, мы знаем, у вас иное анатомическое строение, вы не бегаете, очень хорошо, вы делаете это иначе, чем мы, но к чему эти секреты, намеки, экивоки, обвинялки? Почему в вашей печати столько реклам с грудными железами? Это имеет что-то общее с политикой? С борьбой за власть? Нет? Тогда с чем же? Семейная жизнь? И что с того? Я потел, как мышь, они наседали все сильнее, непременно желая услышать, что зазорного мы видим в оплодотворении? Что же тут стыдного? Кто стыдится, самка или самец? И чего, собственно? Может, религия запрещает вам размножаться? Не запрещает? В зале, на беду, присутствовало несколько студентов с факультета сравнительной религиологии, и от них-

то мне досталось больше всего. Не успел я сказать, что религия ничего не имеет против детей, как один из этих умников напомнил об обетах целомудрия ради спасения души, откуда следует, что чем больше ты наплодил детей, тем дальше ты от спасения, согласно земной вере. Я упирался — ничего, мол, подобного. Он что-то скрывает! — кричали мне с разных сторон. Я горячо уверял, что нет. Аудитория бурлила, ей не терпелось узнать, откуда берется этот непонятный стыд, эти уединения, эта интимность — ведь у них нет ничего более публичного, чем оплодотворение, а я, оступев совершенно, не мог им ничего объяснить. Какая-то студентка спросила, откладываем ли мы яйца, но другие, более сведущие, подняли ее на смех. Люди произошли от четвероруких древесных волосятиков из класса млекопитающих, и они живородящие. Млекопитающие? Ну да. Мать кормит ребенка грудью. Грудью? Молоком из груди, мясом груди кормит детенышей пеликан. Молоко произвело сенсацию. И творогом тоже? А как насчет масла? Я пугался в показаниях. Может, в конце концов я и сумел бы растолковать им двуединство эротики — духовной и чувственной одновременно, но барьер между той и другой, возвышающий первую в ущерб второй, был совершенно для них непонятен. Откуда такое деление? Совпадает ли оно со сферами добродетели и греха? Да? Нет? Какой-то молодой логик, жемчужно-серый, как горлица, стал доказывать, что люди не исповедуют по-настоящему собственную религию, иначе давно бы вымерли, не оставив потомства. Коллективное целибатическое самоубийство! Грешат, следовательно, существуют! *Pecco, ergo sum, et nihil obscoenum a me alienum puto\**. Они вбили себе в голову, что я знаю все, но выдавать это мне не позволено. С отчаяния я ухватился за сократический метод и спросил, что считается у них неприличным. Увы, оказалось, что ничего. Оскорбительное, уродливое, противное, мерзкое, отвратительное, жестокое, эти понятия им были известны, но понятие неприличного — нет.

---

\* грешу, следовательно, существую, и ничто непристойное мне не чуждо (*лат.*).

Неприлично есть грязными руками! Ковырять в носу на экзамене! Передразнивать и пересмеивать других! Они кричали наперебой, надеясь навести меня на правильный след. Ничего не вышло. Оглушенный их галдежом, шиканьем, топотом (дело уже пахло скандалом), я наконец признал себя побежденным.

После лекции был банкет. Я познакомился с молодым ученым, сидевшим слева от меня, — справа сидел ректор. Молодой энцианин заинтересовал меня больше. Он был доктором шустретики, с виду напоминал филина с хохолком, звали его Тюкстль. Интересовался он и людистикой, но было заметно, что земные проблемы знакомы ему лишь в теории. Он полагал, например, что мы отпугиваем врагов, вздымая волосы дыбом, как гиены. Я уверял его, что это вовсе не так, а он сослался на земные книги. И вот поди ж ты, объясни чужепланетному существу, что это не довод, ведь и ноги мы не берем в руки, хоть так и говорится. Услышав о моей встрече с Тахалатом, Тюкстль иронически улыбнулся. Официальная пропаганда, сказал он, ярмарочные трюки и фокусы, пускание шустров в глаза. Он согласился стать моим наставником и рассказал мне много нового об этикосфере.

Производством шустров занимаются шустресты. Во главе центральной диспетчерской стоит правящий дуумвират — Первый Ингибитор и Первый Гедоматик. Их задания уравновешивают друг друга: один заботится о профилактике зла, то есть об ограничении известных действий, другой — о бесперебойных поставках добра, а тем самым о максимуме свобод. Профессия Тюкстля, то есть шустретика, — это не обучение шустров началам этики, но искусство воплощения этики в физике. Уже ее отцы-основатели поняли, что это необходимо. Наиболее досадный изъян всех нравственных кодексов — несоизмеримость различных поступков; попробуй реши, что хуже: обокрасть сироту, не давать житья старцу или побить священника священной реликвией? Этикосфера не должна была брать на себя роль психолога-воспитателя, соглядатая и надзирателя, незримого арбитра или полицейского и уж тем болес — роль *стороны* в споре, с которой можно пре-

пираться об оценке поступков. Такая вездесущая и назойливая опека была бы непереносима. Злоемкость этикосферы проявляется поэтому как чисто физическая характеристика. В облагороженной среде обитания нельзя никого ни к чему принудить, так же, как нельзя принудить электроны перестать кружить вокруг атомных ядер. В ней все живое неуничтожимо, как неуничтожимы материя и энергия. Законы физики — прежде всего *запреты*, другими словами, они обозначают невозможность чего-то; и совершить преступление в этикосфере нельзя точно так же, как в естественной среде нельзя построить перпетуум-мобиле. Вот почему все решения, которые должны принимать шустры, следует перенести из дремучих дебрей психологии на твердую почву точных наук. Этим-то и занимается шустретика.

Тюкстль показал мне, как это делается. Одна из заповедей этикосферы гласит: «Никто не может быть лишен свободы». Действует она как закон физики. В этом легко убедиться, попытавшись заковать кого-нибудь в кандалы, или набросить ему на шею петлю, или, допустим, цементировать ноги жертвы в ведро и бросить ведро в колодезь. Оковы и путы распадутся мгновенно, цемент рассыплется в прах, но жертва непременно должна предпринять усилия, чтобы освободиться. Иначе разваливалась бы даже одежда, и никто не смог бы носить ни пояса, ни подтяжек. Если бы я рвался на цепи, то вернул бы себе свободу, но я — землянин — об этом не знал. На это и рассчитывали мои похитители, добавил со смехом Тюкстль. Шустры не вникают (да и не смогли бы вникнуть) в твое душевное состояние, а лишь устанавливают, не стеснена ли свобода твоих движений. Искусство шустретиков проявляется в переводе морального смысла любой ситуации на точный язык физики, чтобы получить оптимальное решение без вмешательства психологических оценок. Шустры вовсе не надзирают за тем, кто задумал убийство, и не обсуждают преступное посягательство, а лишь выявляют и нейтрализуют его. Программа состоит из «инженерных» заповедей, например: «Ничто не может упасть стремительно»; это значит, что метеорит не может упасть на город, что никто не может

погибнуть, выпав из окна, независимо от того, сам ли он выпрыгнул, или был выброшен, — хотя методы противодействия этому различны. Есть, например, ликвиды и поглоты — субатомные частицы, поглощающие энергию или высвобождающие ее по сигналу шустров. Триллион поглотов, рассеянных над одной квадратной милей, могут снизить температуру воздуха на 20° всего за минуту. (Уж не так ли, подумал я, Люзания превратила в ледник Черную Кливию?) Вот другая заповедь шустретики: «Если жертв избежать нельзя, их должно быть как можно меньше». Это принцип минимума зла. Если, скажем, ребенок, переходя через железнодорожные пути, застрянет ножкой между рельсами, а резкое торможение поезда поведет к катастрофе со множеством жертв, поезд переедет ребенка. Пример этот выдумал Тюкстль специально для меня: в Люзании нет железных дорог. Еще одна заповедь: «Никто не может заболеть». В Люзании уже двести лет нет медицины земного типа; медицинский надзор за всеми, с рождения до смерти, поручен шустрам, так что операции и всякие лечебные процедуры излишни. Невозможна, к примеру, закупорка вен или заворот кишок — любой недуг шустры ликвидируют в самом зародыше. То же самое относится к клеточным ошибкам и искривлениям, именуемым злокачественными новообразованиями. Вот где истоки революционной идеи — завоевать бессмертие путем эктофикации.

Ремонтно-спасательная служба, эта вечно активная часть шустросферы, не есть что-то вовсе невиданное и небывалое, подчеркивал Тюкстль, ведь нечто весьма похожее мы видим в любом живом организме. И в нем, пока он исправен, одни органы или ткани не могут вредить другим, не могут разрастаться за их счет, а все, что вторгается извне, будь то микробы или осколки снаряда, уничтожается, изолируется или удаляется из организма. Организм точно так же, как шустросфера, не вдается в какие-либо моральные рассуждения, чтобы установить, какова подоплека данного покушения на здоровье и жизнь, справедливо оно или несправедливо. Организм действует отнюдь не методами убеждения — скажем, когда отторгает пересаженные органы. Тело можно перехит-

речь и убить, ведь реагирует оно по шаблону, всегда одинаково; напротив, этикосфера постоянно совершенствуется благодаря шустретике. Это не значит, будто она совершенна или сможет когда-нибудь стать совершенной. В этом отношении Тюкстль оказался скептиком. Он дал мне почитать полувекковой давности памфлет против шустретиков. Автор памфлета, философ Ксаимарнокс, сам был шустретиком, пока не изменил радикально своим убеждениям. Он утверждал, что этикосфера противостоит вовсе не общественному злу, как обычно думают.

«Благоденствие, — писал Ксаимарнокс, — это не то, чем уже обладаешь, во всяком случае, не только это, но мираж, цель, отнесенная в будущее. Нищета ужасна и непереносима, но по крайней мере заставляет действовать, чтобы вырваться из нее. А благосостояние, легкое и доступное как воздух, хуже, потому что из него идти некуда, остается лишь его увеличивать, чтобы иметь не только все больше вещей и утех — сразу, немедленно, под рукой, — но и все больше новых, неиспробованных возможностей. Вам пришлось переделать мир, потому что вы не хотели или не могли взяться за переделку самих себя, — впрочем, это дает хотя и иные, но не менее фатальные результаты. Ничто так не губит человека в человеке, как благоденствие, полученное даром, — и без участия, без поддержки, без содействия других людей. Уже не нужно быть добрым к кому бы то ни было, не нужно оказывать услуги, помогать, быть добросердечным; смысла в этом не больше, чем в подаянии Крезу. Коль скоро каждый имеет больше, чем мог бы желать, что можно ему предложить? Чувства? В такой ситуации их может проявлять разве что аскет по отношению к другому аскету. Но аскетизм становится жестокой насмешкой над райской цивилизацией, с таким трудом созданной. Впрочем, эрозия дружелюбия, привязанности, уважения, любви совершается понемногу, не за одно и не за два поколения. Сперва появляются примитивные роботы-слуги, а механика лишь неуклюже передразнивает людей, программируя преданность и услужливость, но можно — и теперь даже нужно — совершенствовать эту имитацию даль-

ше; железные манекены отправляются в музеи техники, а на смену им приходит хотя и безличное, зато неэгоистическое, заботливое, нежное, прямо-таки любовное и беззаветное внимание всей среды обитания, готовой исполнить едва зародившиеся желания и капризы. Но если абсолютная власть развращает абсолютно, то столь совершенная доброжелательность обращает человека в совершенное ничто. А так как возврат ко временам всеобщей нехватки, нищеты и убожества для большинства людей невозможен — кому они должны предъявить счет за счастье, которым их придавило? Ну конечно, технологии, которая его производит! Кто-то должен быть виноват — Бог, мир, сосед, предки, чужаки, кто-то должен ответить за все. И что же? Приходится спасать от людей это их постылое счастье, а если они не могут его растоптать, то рассчитаться им больше не с кем, как с другими людьми. Поэтому спасать приходится всех ото всех — вот до чего вы дошли. Разве это не катастрофа — всеобщий рай, в котором каждый сидит со своим собственным пеклом внутри и не может дать остальным почувствовать его отвратительный вкус, хотя именно этого ему хотелось бы больше всего на свете? Вам нужны доказательства? Вот они. Хотя вы вовсе этого не хотели, хотя это было всего лишь побочным и даже нежелательным следствием создания поглощающей среды обитания — вы создали определители веры и неверия. Убеждений искренних и фальсифицированных. Правительство заявляет, что речь идет о распознании очень уж жалкой и подлой веры, сводящейся к одному-единственному догмату, к переименованию зла в добро, убийства — в священный долг. Дескать, для наших экстремистов это кредо — не цель (а вера должна быть целью), но средство обмануть этикосферу и получить возможность убивать. Поэтому шустретики изобретают новые программы, чтобы парировать этот ход, а критиков вроде меня считают своими противниками. Но я вовсе не противник. Я говорю лишь: скажите на милость, чего вы добьетесь, усовершенствовав этикосферу так, чтобы зло, которое еще просачивается через последнюю оставшуюся у людей шелку — религиозное чувство, — было законопачено

наглухо? Забетонируете в душе у каждого его внутренний ад? Неужто вам и впрямь не видна абсурдность такого «усовершенствования»? Знаю, вы хотели как лучше. Вы не хотели зла. Вы хотели, чтобы повсюду было добро, и только добро. Но результаты оказались недобрые. Теперь вы пытаетесь замаскировать зло, притаившееся в вашей облагораживающей деятельности. А значит, обманываете самих себя. Вы стремитесь к тому, чтобы никто уже не мог доказать ни вам, ни всем остальным, что ваше добро делает их несчастными и недобрыми. Верования рождаются из несчастий, неотделимых от существования. Из потребности в таком Отце, который никогда не состарится и не умрет, но навечно останется безотказным, любящим опекуном. Из убеждения, что, раз уж мир нас не любит, должен быть Кто-то, кто нас возлюбил. Вера возникает не из материальной нужды, но из надежды на то, что этот мир — все же не весь мир, что в нем или *над* ним существует *То* или *Тот*, к кому можно воззвать, кого можно будет увидеть лицом к лицу после смерти — если уж не при жизни. Словом, вера — это уловка отчаяния, то есть надежды, рожденной отчаянием, ибо в полном отчаянии и без крупицы надежды жить нельзя — жить если не ради себя, то хоть ради других. Вы лишили нас этой возможности. А ведь эта новая, нарождающаяся вера, та, что убийство обращает в добро, в величайшую заслугу, этот жалкий обрубок выродившейся веры — тоже плод отчаяния и рожденной им надежды на то, что так, как есть, быть не может. И наша, первичная, и эта, вторичная, вера имеют один духовный источник. Странность новой веры есть отражение странности порядка вещей, который вы сами же создали. Мои коллеги и приятели-шустрики об этом не думают, занятые техническими проблемами следующего этапа гедоматики и ингибиции: они не знают и не желают знать, что гедоматику они мало-помалу превратили в адоматику, в пытки из человеколюбия».

Специалисты этот памфлет игнорировали, зато он стал библией интеллектуалов — наконец-то их стенания и их претензии к этификации нашли достойное выражение. История учит, писали они, что нет такого добра, которое для кого-

нибудь не обернулось бы злом. Добро в небольших дозах бывает благом, но добро пожизненное и не подлежащее обжалованию — яд. Правильно говорил Ксаимарнокс: чем совершеннее опека шустров, тем больше отсюда несчастий. Правительство молчало, но и у него имелись свои приспешники; они объявили Ксаимарнокса нытиком и чудачком. Был даже пущен слухок, будто он получил награду от Председателя. Вскоре эта история канула в небытие. Пророчество старого шустретика не исполнилось, убийство как протест против принудительного добросердечия не стало исповеданием веры, если не считать горсточку экстремистов, и все же Ксаимарнокс вряд ли можно назвать лжепророком. Случилось нечто весьма странное — этикосфера возродила древнее Учение о Трех Мирах.

Как это произошло? Когда правительство вводило этификацию, Люзанию сотрясали кризисы. Благоденствие распалило общество, прирост населения распирает города, стирались границы между политикой и преступлением. Все это утихло под стеклянным колпаком этикосферы, однако через сорок лет дали о себе знать явления, прежде совершенно неизвестные — благоприятные, но и тревожные. Это были изменения к лучшему, которых никто не планировал и не предвидел. Демографический прирост снижался, перестали рождаться увечные и умственно недоразвитые дети, росла продолжительность жизни. Сторонники этификации объясняли это облагораживающим влиянием шустросферы. Переполох начался, лишь когда врачи заявили, что стариков теперь не преследуют обычные в их возрасте переломы костей, потому что в берцовые кости вырастают микроскопические металлические нити. Тут уже не удалось отделаться общими фразами о благотворности этикосферы; шустры явно занимались самоуправством. В исчезновении переломов не было ничего плохого — плохо было лишь то, что шустры занялись тем, чего им вовсе не поручали. Интеллектуалы, с которыми у любого правительства и под любой звездой сплошные заботы, опять принялись громогласно вопрошать, кто, собственно, кем владеет: люди шустрами или шустры людьми?

Неужели, спрашивали они с сарказмом, удалось создать рай лучше того, о котором мечтали?

Шустретики оставались непоколебимы, объясняя всем и каждому, что все идет как нельзя лучше. Этику нельзя прямо перелагать на язык физики. Сказав: «Не делай другому то, что тебе самому немило», можно ничего не добавлять: каждый интуитивно знает, что ему немило. Но, воплощая моральные заповеди в физику мира, подвергаемого генеральному ремонту, нельзя уже апеллировать к интуиции. Программы составляются для логических элементов, которые руководствуются ими, ничего в них не смысля. Шустретик работает не как моралист, но как математик, строящий дедуктивную систему. Такая система вытекает из исходных посылок, именуемых аксиомами. Из аксиом обычно следует больше, чем знал создатель системы. Геометрия дает определения точки, прямой и плоскости, а после оказывается, что вопреки здравому смыслу из этих определений вытекает и такая плоскость, которая имеет только одну сторону. Программисты перепоручили шустрям заботу о благе общества, а те заботятся больше, чем можно было ожидать. Что ж тут плохого? Да это же замечательно: им приказано было печься о нашем здоровье, вот они и пекутся. Хрупкость костей увеличивается постепенно, и нельзя угадать, когда случится перелом. Чтобы предотвратить то, что им было поручено предотвратить, шустры перешли к радикальному — упреждающему — лечению. Медицина никаких возражений против металлизации скелета не выдвигает, так стоит ли бить тревогу? Шустры и не думали нарушать главную заповедь — доброжелательности; стало быть, все в порядке.

Между тем и в погоде начало что-то меняться. Прекратились резкие перепады давления, циклоны огибали территорию Люзании, что бы это все значило? Грозовые фронты, окклюзии, атмосферное электричество — все это вызывает стрессы, так что и тут шустры проявили похвальную заботливость, регулируя климат. «Неужели, — спрашивали шустретики оппозиционеров, снова поднявших шум, — вы тоскуете по тайфунам и смерчам?» Теперь, однако, обозначился

раскол и среди специалистов. Одни продолжали уверять, что благие программы всегда будут держать в узде самодовольство шустров; другие заявляли, что зло уже свершилось, ибо тот, кто получает непрошенные дары, лишается собственной воли.

Вскоре оказалось, что правы были и те и другие. Начались удивительные события. Старики все чаще умирали не до конца. Так это называли. Они теряли силы, ложились на ложе смерти, слепли и глохли, утратив сознание. Приостановленная агония затягивалась на долгие месяцы. Близкие ожидали последнего вздоха, но смерть не приходила. Ко всеобщему ужасу, застывшее тело начинало вдруг шевелиться, руки и ноги хаотично дергались, а потом снова наступала непонятная летаргия. И даже если сердце переставало биться, это не было признаком смерти; во всяком случае, мнимый труп не трогало разложение. Тюкстль сказал, что люзанцы не сами изобрели эктотехнику, а узнали о ней от шустров. Немыслящие, но эффективные, они работали так, как им было приказано. Им надлежало поддерживать жизнь, и они поддерживали ее вопреки умиранию. Организм становился полем невидимой битвы за спасение едва теплящейся жизни. Мозг умирал окончательно, этого они не могли предотвратить и потому спасали что еще можно было.

Когда об этом стало известно, страсти разгорелись нешуточные. Специалисты пришли в восторг и тотчас взялись за дальнейшее усовершенствование шустров, увлеченные перспективой бессмертия за порогом смерти. Глухие к любым протестам, к голосам возмущения и тревоги, они экспериментировали на животных. Оппозиция кричала, что нельзя представить себе более глумливого осуществления мечты о вечной жизни, чем такой дар, подброшенный втихомолку, внедренный в людские тела украдкой, по-воровски. Быть по чужой воле приговоренным к бессмертию — разве это не издевательство? А бурный энтузиазм шустрошников свидетельствует лишь об их профессиональном безумии.

Излагая события трехсотлетней давности, Тюкстль не скрывал их чудовищности. Последствия спешки, с которой

шустретики перешли от эктофикации животных к эктофикации энциан, были ужасны. Они-то думали, что стоит на улицах появиться первым бессмертным прохожим, как общество отвернется от критиков-оппозиционеров. Между тем не прошло и года, а первых кандидатов на вечную жизнь уже пришлось упрятать в особые убежища. Одни постепенно застывали и теряли сознание, и это было не самое страшное: многие просто обезумели. По-обезьяньи карабкались на деревья и стены, кидались на своих близких, выбрасывались из окон, впрочем, без всякого для себя вреда, ведь шустросфера пеклась о них. Насколько я понял, отсюда-то и пошли слухи о «захребетниках», «впьянстве» и «лоянизации», отразившиеся в кривом зеркале донесений нашего министерства. Это было тем страшнее, что в этифицированной среде никого нельзя сдерживать силой. Даже лошадиные дозы успокоительных средств не помогали, ведь врачи имели дело не с безумствующими стариками, а с целой армией шустров, которые не позволяли усмирять объекты своей обессмерчивающей деятельности. Трагедия, заметил Тюкстль, должна выглядеть достойно, между тем благие старания о вечной жизни привели к тому, что улицы и дома стали ареной драк полоумных стариков и старух с перепуганными прохожими и домоладцами. Вместо того чтобы привлечь общество на сторону этификации, шустретики бесповоротно опорочили ее, и, когда дело прояснилось, никто и слышать не хотел о бессмертии. У животных, на которых проводились эксперименты, мозги не в пример проще, поэтому им ничего не делалось. Позднейшие успехи не помогли шустроицам. Кто теперь может знать, писали диссиденты, кончится ли на этом наше принудительное осчастливливание? Кто поручится, что шустры не проникают с благословления властей в могилы, чтобы порадовать нас знакомыми скелетами, которые жизнерадостным маршем возвращаются с кладбищ? На свет уже не появляются увечные дети, и это вроде бы неплохо, — но откуда нам знать, какие еще дети перестали рождаться? Если шустры предотвращают появление на свет увечных, значит, они занимаются селекцией оплодотворений, но кто поручит-

ся, что они не губят в зародыше других детей — скажем, тех, что могли бы стать помехой этикосфере? Если бы шустры были стороной в споре, если бы можно было с ними договариваться, допросить их, выбить у них из головы это чудовищное человеколюбие, если бы они могли указать направление своей деятельности и ее основания, это еще куда ни шло, но ведь это химера! В желании подискутировать с этикосферой не больше смысла, чем в желании выведать у атмосферных течений завтрашнюю погоду. Над нами властвует бездушная активность, привитая окружающему нас материальному миру, и никто не докажет, что этот новый мир будет благодетелен к нам — что его заботливые объятия через пять или сто лет не станут смертельными...

Слушая это, я не мог не думать об Аниксе. Он решил на эктофикацию в окружении людей, дышавших ненавистью к ученым, шустротехникам и, вероятно, философам вроде него, — потому что отчаявшаяся, зовущая к мести толпа не разбирает, кто виноват. Если бы не этикосфера, не избежать бы насилий и самосуда; между тем шустретики видели в оскорблениях, которыми их осыпают, и в отвращении, которое они вызывают, доказательства своей правоты: будь этикосфера порабощением разума, говорили они, она бы не допустила всеобщего возмущения. Разумеется, никто не желал их слушать. Эктоки оказались в положении прокаженных, причем, что бы с ними ни делали, обществу это не нравилось. Пошли слухи, будто их втайне умерщвляют какими-то стальными прессами или молотами, и даже не совсем беспочвенные: некоторые и вправду требовали, чтобы их родственники-эктоки были избавлены от бессмертия, хотя бы путем убийства, если иначе нельзя.

Удачные попытки эктофикации, предпринятые в следующее десятилетие, хранились в величайшей тайне, и все же их не удалось засекретить, а общество охватила болезненная подозрительность; теперь уже не тупость, но ум считался свидетельством трупного происхождения. Эктокам пришлось изменять внешность и имена, бросать семьи, и они нигде не могли поселиться надолго: одно лишь соседство эктока при-

водило в бешенство окружающих. Эктоки стали скитальцами и часто обращались к косметологам и врачам, чтобы казаться постарше. Видя, в какой тупик зашло дело — обвинение в бессмертии стало уже оскорблением, и заподозренному угрожал всеобщий бойкот, — власти пошли на попятную. Чтобы доказать оппозиции (и самим себе), что этикосфера не вышла из-под контроля, они приостановили внедрение эктотехники. Отныне вечная жизнь могла быть уделом только особо заслуженных деятелей. Это было неплохо придумано: эктофикация, которую общество считало позором, возводилась в ранг привилегии. Маневр удался и успокоил умы. Однако отношение люзанцев к этикосфере заметным образом изменилось. Свидетельство тому — обиходные выражения, зафиксированные в материалах нашего МИДа. Общество относится к своему усовершенствованному миру как к антагонисту, наделенному личностными чертами, и тут ничего не поделаешь. Под влиянием подсознательных страхов коллективная фантазия обращается к мифическим представлениям и олицетворяет в конкретном образе то, что по природе своей безлично и бестелесно. Но помимо этих наивных представлений существует действительность, не менее таинственная, чем былой, естественный мир, который хотели преобразить в блаженную Аркадию. Не менее таинственная, потому что можно считать ее благожелательной, безразличной или неблагоприятной — если глядеть на бытие глазами философов древности. Отброшенное бессмертие — еще не доказательство того, что можно навечно довериться шустросфере. Слишком доброжелательный опекун однажды был остановлен, но что с того? В любую минуту можно ожидать новых «Покушений Добра», как выражаются некоторые. Классический вопрос «*Quis custodiet ipsos custodes?*» не снят. Взять хотя бы сферу повседневного существования: каждый делает, что хочет, — но как узнать, сам ли он того хотел или укрытые в нем рои шустров? Пока не покончено с этим сомнением, будут существовать и распутья Трех Миров, и нельзя верить судьбу общества чьей-то опеке навечно. По своему назначению этикосфера, конечно, *добра*, однако не *слишком*

ли она бывает добра? Это как раз неизвестно — с тех пор как она призывно улыбнулась энцианам трупной улыбкой бессмертия.

Как я слышал от Тьюкстля, исследовательские группы разрабатывают новые системы контроля, независимые от этикосферы. Он сам участвовал в проектировании «информатического зеркала»; зависнув над шустросферой, оно позволило бы измерить степень ее вмешательства и тем самым установить, где кончается личная свобода и начинается тайное порабощение. Информатики доказали, однако, что новый уровень контроля не стал бы последним: просто над шустринным контролем появится контролер рангом выше. Пришлось бы контролировать и его... Короче, соорудить бесконечную пирамиду контроля. Я спросил Тьюкстля: не кажутся ли ему эти опасения преувеличенными? В конце концов под облагораживающим давлением им столько столетий живет лучше — или хотя бы не хуже, чем в прежние времена, преступные и кровавые; разве не заслуживает такое положение вещей хотя бы некоторого доверия? Но ведь не в том дело, ответил он, что мы считаем его плохим; дело в том, что мы не знаем, останется ли оно под нашим контролем! Мы еще примирились бы с таким двоевластием, будь мы уверены, что в основном — допустим, на две трети — контроль в наших руках, а остальное — в ведении наших шустринных уполномоченных... Но мы знать не знаем, какова их настоящая роль в принятии решений, определяющих нашу судьбу. Возможно, каждое космическое общество строит свою этикосферу, и каждое развивается тысячу лет, а потом — в результате самоусложнения или других, неизвестных нам причин — вырождается, но не сразу, а постепенно, до тех пор, пока этикосфера не обратится в этикорак... Мы идем в будущее, еще *более* неизвестное, чем естественное, и именно это нас беспокоит, а не тягостность облагораживающих запретов... Учти, мой земной друг, что этификацию нельзя отвергнуть частично, точно так же, как индустриализацию! Как твоё человечество зачахло бы без промышленности, так и мы оказались бы беспомощны, разбив поглощающий стеклян-

ный колпак, и страх *ожидания* катастрофы обернулся бы немедленной катастрофой...

Слушая его, я начинал понимать их тоску по курдландскому опрошению — теперь она казалась мне вовсе не такой глупой. Вдобавок, хотя вообще-то я сплю как сурок (это, впрочем, профессиональный навык астронавта), теперь я просыпался несколько раз за ночь, не то чтобы измученный кошмарами, но крайне удивленный содержанием снов: такие мне прежде не снились. Мне снилось, будто я тесто, которое месят и разделявают на столешнице огромные руки то на клецки, то на пончики, и просыпался я, бросаемый в кипяток. Способна ли моя голова выдумать такое, размышлял я, или это врезали в меня миллионы шустров, хозяйничающих в моем мозгу? Я переворачивался на другой бок, поминутно вздыхая при мысли о той минуте, когда наконец взойду на борт корабля, и даже швейцарская тюрьма начинала казаться мне тихой пристанью.

### Per viscera ad astra\*

Памятливый Тюкстль предложил мне в начале лета отправиться вдвоем в Телтлинеу на поиски монастыря монахов-искупленцев.

Я перечитываю эту фразу с неудовольствием. Счастлив хронист, для которого читатель — свой человек, понимающий его с полуслова. Он скажет «лето», и тот уже видит пшеничное поле под облачно-голубым небом, слышит жарко гудящие пасеки; он скажет «монастырь», и возникает образ могучего здания, старых стен, слышен скрип открывающихся ворот, а я, какое слово ни напишу, тотчас ввожу читателя в заблуждение. Чего доброго, кто-нибудь решит, будто у люзанцев одна этикосфера на уме и они судачат о ней с утра до ночи или, гоняясь друг за дружкой, как страусы, без перерыва занимаются оплодотворением на стадионах. Но это осо-

---

\* Через утробу — к звездам (*лат.*).

бенно интересовало только меня, чужака, не оставляя места на описание других, не менее важных вещей. Что ж, придется навешивать множество объяснений на эту простую фразу, которая должна стать началом конца.

Тюкстль назывался уже Тётёлтек, когда поехал со мной в Телтлинеу (люзанские имена меняются в зависимости от занятий их обладателя). Телтлинеу, как видно из самого названия, в котором отсутствуют звуки «р» и «кс», это «дикосвятая пустынь духовных проб и ошибок государственных служащих». С виду она похожа на заповедник: наполовину высохшие болота, тундра и сухостой; это часть ничейной земли, опоясывающей полукружьем Люзанию вдоль границы с Курдландией как санитарный кордон, поскольку концентрация шустров не может скачком упасть до нуля. Дикость означает неослушенность, а святость — возможность наткнуться на монахов; «монастырь» — это только так говорится, а существует он лишь в виде устава, потому что искипленцы — кочующий орден и каждый день перебираются на новое место. Теперь о «пробах и ошибках». Двести лет назад оппозиция заставила правительство принять закон, согласно которому каждый чиновник раз в год обязан отправиться в Телтлинеу и странствовать там определенное количество дней, соответствующее его служебному рангу. Старший референт, например, должен паломничать две недели, потому что его ранг — четырнадцатый. Тюкстль, претендующий на должность советника по науке в МИДе, уже разделался со своим пилигримством (именно так он и выразился) — зимой, чтобы избежать комаров, слетающихся с курдландских болот в основной, летний сезон паломничества; тогда он носил имя Тюкстюлликс, что примерно можно перевести как «Тюкстль вне добра у своего зла»: мол, в неослушенной глуши, избавляясь от этических уздечек, каждый обнаруживает свою худшую сторону. Выявление таких изъянов особенно важно у государственных служащих, ведь шустрам не позволено вмешиваться в их работу, и злобредный чиновник может донекать граждан по-всякому. Правда, никто еще не слышал о чиновнике, которому паломничество стоило бы

должности, хотя по возвращении каждый должен сдать в аф-фектологическую инспекцию свою ксандию. Ксандия напо-минает четки, а носят ее на голом теле, чтобы она фиксирова-ла малейшие колебания эмоций. Обычным туристам погра-ничники вешают на шею ксиндры или хроны — для защиты от встреченного на пути пилигрима, если бы тот вдруг «обна-ружил свое зло». Не позволено разбирать ни ксандию, ни хрон; знать, как они действуют, тоже нельзя. Эти устройства сами следят за соблюдением запрета, и избавиться от них не-возможно. По наущению Тюкстля я забросил свой хрон в ку-сты, и он тут же погнался за мной, тихо позвякивая бусинка-ми. Собственно, я выразился не вполне точно, когда говорил о ксиндрах. Хрон до употребления — это индр; настроенный на конкретное лицо, он получает приставку по его имени, а так как Тихий по-люзански — Кс, то лишь свой аппарат я могу назвать ксиндром; в переводе на люзанский это значит примерно «тихостремительный спасатель».

Нелишним, однако, будет добавить, что паломничество чиновников, а также ксандии и ксиндры — по сути, просто формальность. Вскоре я убедился в этом. Мы ехали на везде-лазе с прицепом, нагруженным запасами и снаряжением, че-рез мертвый лес. Он вырос по берегам рек, стекавших неког-да с ледников; теперь, когда рек нет, лес высыхает и гибнет. В полдень Тюкстль, время от времени посматривавший на шустромер, заявил, что мы уже в «дикой глуши». Мы не ста-ли разбивать лагерь, а просто уселись на мху, и Тюкстль от-крыл банку консервированного бррбиция: мне хотелось по-пробовать национальную похлебку члаков. Она довольно гу-стая, по вкусу напоминает солянку, которая уже начинает портиться. Тут над деревьями показался энцианин, чуть ли не шести метров ростом; но так он выглядел лишь издали, потому что шел на ходулях или, скорее, на ходунах (можно еще сказать «высокоходы», а впрочем, кому как угодно; меня упрекают в выдумывании несуществующих слов, словно я со-чиняю их для удовольствия, а не по необходимости). Чужак съехал на землю, сдвинув ходули как телескопические антен-ны, и спросил, можно ли посидеть с нами. Он представился

Куакуаксом (а может, Квакваксом), но я буду называть его референтом. Он служил в жилотделе небольшого пограничного округа, а теперь паломничал. Мы приняли его в свою компанию. Правда, испытанию положено подвергаться в одиночку, однако за этим никто не следит, а когда я спросил референта, не опасается ли он ксандии, тот ответил, что никто в нее и не заглядывает.

В рюкзаке у нашего нового товарища был ундорт — походный материализатор вещей. «Ундорт» означает «что-то из ничего». Им пользуются только в неослушанной глуши. Из всего, что попадает под руку, хотя бы из мусора, он с ходу изготавливает нужную вещь. Этот аппарат особенно пригодился нам в брюхе курдюка, но не буду опережать событий. Референт выколдовал из сухих веточек и листьев круглую коробочку с циферблатом наподобие компаса — живомер, который показал что-то около двух пилигримов на квадратную милю и (как сочли мы с Тюкстлем) терпимое пока что количество комаров. С репеллентом можно было покамест не торопиться. Я поинтересовался, к чему эти паломничества, если инспекция даже не проверяет ксандий; мои спутники в один голос расхохотались, а Тюкстль ответил, что прогуляться по свежему воздуху приятнее, чем просиживать стулья в конторе. Так мы сидели и беседовали, потому что спешить было некуда — живомер не показывал и следа искупленцев. Тюкстль, который заметно оживился, когда шустромер упал до нуля, рассказывал мне о предубеждениях, связанных с этикосферой. Люзанцы живут в ней уже четыре столетия, и даже самые древние старики не помнят, как было раньше. С ранних лет всем и каждому втолковывают, что этикосфера — не личность, с которой можно общаться; но все это что об стенку горох. Спиритические сеансы собирают целые толпы и вызывают фурор даже в научной среде. Это не то чтобы мошенничество, ведь умудренная среда обитания выполняет любые желания, лишь бы они никому не вредили; поэтому она и вправду способна вычаровывать призраки, если кто-нибудь уж очень этого хочет. Правда, сеансеры сами себя обманывают, принимая выполнение подсознательных заказов

за сверхъестественные явления. В последние годы появились новые верования. Возникла секта, контактирующая с душами умерших эктоков, которых власти будто бы втайне уничтожили, заматаывая следы своей эктофикационной осечки. Сектанты публикуют протоколы таких бесед, полные заклинаний об освобождении от мертвой жизни и, разумеется, проклятий по адресу властей. Трудно сказать, сколько во всем этом правды, то есть обманывает ли шустрросфера сектантов, исполняя их *nihi*ло их сокровенные желания, или же в ней и в самом деле пребывают какие-то остатки духовной жизни экс-бессмертных.

Это, по мнению некоторых экспертов, не исключено: шустрросфера запоминает все свои действия, а каждый экток, уже потому, что подвергается эктофикации, до самого конца остается ее частью. Положение, как видим, в высшей степени странное, коль скоро нельзя отличить существование загробных видений и неприкаянных душ от несуществования, — хотя даже здесь мнения специалистов расходятся. Совершенная имитация реальности, заметил Тюкстль, не отличается от самой реальности, и притом в любой области. Я спросил, неужели никто ни разу не потребовал полной ликвидации этикосферы, навсегда или хотя бы на время? Такое случалось, ответили мне; предлагались и проекты не столь радикальные.

Солнце спускалось, и зажужжали комары; мы сели в свой лазик и отправились на поиски более уютного места для ночлега. Мы продирались через сухостой, посадив референта-паломника на заднее сиденье, откуда он подавал реплики, а когда на ухабах референт падал на нас сзади, мой хрон или хрон Тюкстля, висевший у него на шее, издавал короткое предостерегающее шипение.

Лазик раскачивало, как лодку на волнах, а Тюкстль продолжал разъяснять, в чем заключается тонкое различие между вызыванием и изготовлением духов. Если духов умерших вызывает тот, кто в них верит, шустрросфера сочтет его веру заказом и выполнит этот заказ. Но если он в духов не верит, то утвердится в своей неверии, ведь шустры, разумеется, обнаружат его скептицизм. Тем не менее нельзя считать шустр-

росферу *Кем-то* — она действует как автомат, доставляющий по первому требованию любую книгу, хотя и неспособный ее понять. Скажи я к примеру: «Хочу увидеть призрак моего дедушки» — шустросфера выполнит требование, если что-нибудь знает об этом дедушке. Но если бы я обратился к ней прямо, желая, допустим, узнать ее намерения или мысли, она не отзовется, ибо не является *Кем-то*, кто может говорить от себя или о себе. Предлагалось, правда, персонализировать шустросферу, но эксперты доказали, что вреда от этого было бы больше, чем пользы. Нельзя коротко и ясно объяснить, почему это так, — тут мы встречаемся с трудноразрешимыми парадоксами и логическими противоречиями. Среда обитания должна исполнять индивидуальные требования, пока они совместимы с благом других лиц. Не будучи личностью, она глуха к любым желаниям, выходящим за эти границы. Иначе мы могли бы пядь за пядью приобретать власть над судьбами ближних. Любопытно, однако, что шустросфера, не будучи личностью, способна изготавливать личностные объекты, хотя бы в виде фантомов и духов. Послушание шустров кончается там, где начинаются грозные парадоксы, которые землянину не могут быть известны даже по названию. Впрочем, объяснил Тюкстль, у них никогда не было недостатка в проектах реформ. Метким ударом он прихлопнул комара у себя на лбу и продолжил:

— Одним из первых был изократический план — равновесия добра и зла. Предложили его ученики Ксаимарнокса. Согласно принципу «око за око» среда обитания должна отплачивать каждому его же монетой. Полюбишь ближнего — и шустры тебя приласкают. Ударишь — сам получай по зубам. Все в точности симметрично, уравновешенно и пропорционально. В соответствии с этой симметрией ты мог бы даже убить, но лишь раз, потому что сам на месте бы умер. Нетрудно понять, что это был прямой путь к эскалации зла. Обычно мы не лезем из кожи, стараясь творить добро, ведь принуждение противно природе добра, но делать что-то назло другим люди готовы без удержу. В результате хитроумные мерзавцы заставили бы этикосферу бороться против себя самой:

сначала ей пришлось бы снабдить их панцирем или чем-нибудь в этом роде, а после сокрушать его, чтобы покарать убийцу. Впрочем, расправа на месте — никудышная справедливость, особенно в случае убийства в аффекте. Шустросфера, выполняющая палаческие функции, не очень-то привлекательна...

— А помните, — вмешался из-за наших спин референт, — проект трех братьев теологов? Дескать, надо идти до конца? Это, скажу я вам, впечатляющий был замысел...

— Богосфера? — отозвался Тюкстль. — Верно, была такая идея, синтеологическая: бросить в Космос, для его усмирения, синтетическое Всемогущество... Да, конечно, сотворенный Бог, Синтеос, зародившийся на одной планете, чтобы через мириады лет распространиться на весь Универсум... Но как подумаешь, что под гнетом тотальной заботы замерла бы природная эволюция, хищники вымерли бы с голоду, а затем и их жертвы, расплодившиеся до убийственной тесноты... Нет, это было не слишком продуманно.

Разговор оборвался. Сквозь заросли я увидел темную фигуру, согнувшуюся под тяжелой ношей. Наш лазик остановился, а встречный — худой старик в сермяге — сбросил с плеч здоровенный камень и, заслонив глаза от солнца, не мигая смотрел на нас.

— Искупленец... — понизив голос, сказал референт. — Можно спросить у него про дорогу к монастырю, но ответит ли он?.. Они принимают обет молчания...

Тюкстль учтиво поздоровался с монахом, но тот долго не отвечал. Должно быть, раздумывал, можно ли ему отозваться — устав ордена разрешает это лишь в исключительных случаях. Видимо, решив, что тут именно такой случай, он назвал себя. Это был монах-привратник: утром он проспал уход монастыря, а теперь искал своих, в качестве епитимьи взвалив на себя камень. Тюкстль предложил подвезти его, но он лишь поклонился нам, взгромоздил булыжник на плечи и скрылся в гуще мертвых кустов.

Уже заходило красное солнце — к ветру и комарам, как утверждали мои товарищи, — когда мы наконец нашли в су-

хостое прогалину, пригодную для костра. Референт расположился на мху, поколдовал с ундортом, и перед нами, словно фарфоровый пузырь, в мгновение ока вырос белый домик. Минуту спустя из его пузатых стен проклюнулись длинные защитные шипы — и получился настоящий фарфоровый еж с полукруглым входом. Втаскивая внутрь надувной матрац, я порвал его, задев за один из этих шипов, и чертыхнулся. Но беда оказалась невелика: референт тут же изготовил из кучи хвороста другой матрац, к тому же помеченный моими инициалами, а чтобы оказать мне еще большую любезность, сделал так, что домик втянул в себя все шипы. Слегка закусив, мы болтали, сидя у входа, в сгущающейся темноте. На костре, который мы разожгли ради вящей экзотики, варился суп. Я узнал, что референт вообще-то поэт, а служит лишь ради престижа, ведь никаких стихов, даже самых великолепных, никто не читает. Впрочем, и прозу тоже. В Союз писателей он не входил, потому что там сплошная грызня, особенно по случаю похорон. Одни считают, что над каждым покойником речь должен говорить сам председатель, другие — что оратор, равный по рангу умершему, то есть: член товарищеского суда — о члене товарищеского суда, зампредседателя — о зампредседателя и так далее. Только про то и толкуют, бедолаги, равнодушным, грустным голосом говорил поэт, всматриваясь в пламя костра. Ничего другого им не осталось: Союз достиг всего, чего требовал целых семьсот лет, материальных забот никаких, каждый сам себе определяет тираж, но что с того, раз уже и поэты поэтов не берут в руки.

Затем беседа спустилась на Землю. Я поразился тому, что Тюкстль, казалось бы, настолько изучивший наши обычаи, связывает подкрашивание губ с вампиризмом. Губы у женщин алого цвета, чтобы не видно было следов крови, высосанной при поцелуях, — обычная мимикрия вампиров. Мои протесты ничуть не сбили его с толку. Ах, женщины хотят нравиться? Кровавые губы красивы? А глаза, подведенные синькой, с зелеными веками — тоже? Ведь это цвета трупного разложения — я же не стану этого отрицать? Жуткая внешность к лицу упырю. Я твердил свое, поэт прислушивался, а

Тюкстль иронически усмеялся. Ну да, хотят быть красивыми... а старушки? Тоже ведь красятся! «Женщина всегда остается женщиной, — настаивал я. — Румяна скрывают старость...» Но Тюкстль не поддавался на мои доводы. На всех земных изображениях самки шерят зубы. Демонстрируют клыки. Конечно, эротика к этому тоже причастна, но это *ночная* эротика, а известно, что вампиры кровопийствуют ночью. Я ему свое, а он все подмигивал мне, что чертовски меня раздражало; наконец он пустил в ход неотразимый аргумент: если речь идет всего лишь о том, чтобы подчеркнуть красоту, почему мужчины не красятся? По правде сказать, я не знал и, кипя от злости, решил прекратить этот бесплодный спор. Вампиры так вампиры, черт с тобой, думал я, укладываясь ко сну в домике, темном, как могила.

Никто из нас не заметил курдля, которого занесло в эти места. Правда, я проснулся и услышал сопение и чавканье, но не сообразил, что это огромный язычище облизывает крышу. Убедившись, что попался сладкий кусок, эта тварь в один прием проглотила домик, вездлаз и прочее наше имущество, так что впоследствии, после довольно мягкого приземления, мы нашли в желудке даже хворост, приготовленный для утреннего костра, и котелок — только суп вылился.

Судя по размерам желудка, в котором можно было утонуть (нашего курдля мучила жажда), нам попался настоящий гигант, шатун-одиночка. Желудок я изучил весьма тщательно, вместе с окрестностями, так как мы провели там больше недели. Это было нечто вроде огромной, зловонной пещеры со складчатым сводом, придаточными полостями и следами эрозии эпителия. Пещеру заполняло невероятное количество полужидкого месива из веток кустарника, травы, каких-то обломков, жестянок и мусора. Наш курдль, как видно, был не слишком разборчив, жрал что попало. Надеюсь, что он сам извергнет нас из пасти, я уговаривал товарищей пощекотать его в нёбо, но те лишь пожимали плечами — да и как можно было вскарабкаться к пищеводу, который длинной воронкой чернел при свете фонариков где-то над нашими головами? Закусив нами, курдль начал икать. Это было сущее землетря-

сение. Наконец он нашел водопой и обрушил в темную пасть бурный поток. Лазик сразу пошел ко дну, но наш белый домик неустрашимо держался на поверхности, словно спасательная шлюпка. Тюкстль и поэт-референт призывали меня сохранять терпение, а я рвался действовать, не зная как. Икота прошла, мы выглянули в окошко, по чернеющей поверхности озера пробегала мелкая рябь; высунув голову наружу, я почувствовал ветер, но и это не удивило моих товарищей. «Просто отрыгивает, слышишь?» — сказал Тюкстль. Действительно, доносилось гудение испорченного воздуха.

Примерно через час озеро обмелело и превратилось в вязкую жижу. Едва мы ступили на дно, как встретили все того же монаха. Он был настолько неутомим в покаянии, что не расстался с камнем, хотя запросто мог утонуть. Ни его, ни моих спутников наше положение нисколько не тревожило. Поэт, который имел на своем счету что-то около семи проглатываний — ему случалось ходить и на сверхпрограммные экскурсии, а жил он у самой границы, — заявил, что до горла можно будет добраться не раньше, чем животное ляжет на отдых, но толку от этого мало, потому что пищевод очень тесен и никакая шекотка тут не поможет: у старых курдлей каменный сон. Я хотел расспросить монаха о Кливии, но Тюкстль отговорил меня: дескать, у простого привратника много не выведаешь. Главное — это терпение: курдль, наверное, двинется по следу монастыря, а так как монахам нельзя противиться насилию, вскоре наша компания пополнится еще не одним из них. Возможно, нам повезет, и проглоченный окажется библиотекарем. Не скажу, что он меня убедил. Я заподозрил, что наше теперешнее положение ему по вкусу. Он уже готовился к исследованию местности: попросил у поэта ундорт и из кормового месива изготовил шахтерский шлем с лампочкой, веревочную лесенку и непромокаемый комбинезон. Я упросил его смастерить такое же снаряжение и для меня.

Между тем из мрака, полного всякой мерзости и хлама, стали появляться жалкие, оборванные фигуры с какими-то ведрами в руках и метлами на плечах. Я вскоре заметил, что

приходят они после завтрака и обеда (не нашего, а курдля), чтобы немного прибрать желудочное пространство. То есть они были вроде как уборщики, однако я в жизни не видывал такой бестолковой и нерадивой работы. Они суетились без всякого соображения. Один из них, на редкость словоохотливый (остальные не отвечали на вопросы вообще), сказал мне, что метлы им, правда, положены по должности, но они ими не пользуются: во-первых, прутья сотрутся, а тогда прощай премия; во-вторых, это могло бы ЕМУ повредить. Больше всего меня удивлял их маразм. Они равнодушно брели мимо нас и наших машин, избегая лишь света прожекторов, рассеивающих темноту, — словно лунатики в трансе; но всякий раз, когда на обед у нас был бррбиций, не меньше пяти из них торчало под иллюминатором, жадно вдыхая запах хлеба. Однако они ни за что не желали войти в домик, и лишь тот, разговорчивый, признался, что им нельзя якшаться с чужаками, поэтому они делают вид, будто нас нет. Похоже, он сам испугался своей откровенности — с тех пор я его не видел. Привычки курдля были мне внове, но вскоре я понял, что утром и в полдень надо искать место повыше или прятаться в домике: хотя жрал он понемногу, зато пить начинал внезапно и с неслыханной жадностью, а потом низвергалась сушая Ниагара — оттуда, где обычно стоит солнце в зените. При этом он заглатывал воздух так, что желудок раздувался вдвое против обычного, а после протяжно отрыгивал — это было как завывание ветра в узком ущелье. Референт не ставил члаков ни во что, но Тюкстль однажды прижал двоих туземцев к желудочной стенке и не пускал, пока те не сказали ему, что они высокие рангом чиновники — один выдавал себя за мочевика, другой за печенегу. Тюкстль отпустил обоих, заявив, что они беззастенчиво врут, стараясь придать себе вес причастностью к жизненно важным органам. Сказать о ком-то: «Он из органов» — это в курdle кое-что значит. Впрочем, Тюкстль полагал, что наш курдль на последнем издыхании и тащится к кладбищу, чтобы сложить на нем одряхлевшие кости. Старая скотина, списанная с баланса, давно изъятая из обращения; однако, как это обычно бывает у члаков, в нем

все еще живут по причине жилищных трудностей; последними уходят из такого курдюля работники службы уборки градо-завра, а не убирают они просто потому, что им не хочется. Ведра и метлы носят, чтобы казалось, будто работают. Все они сплошь лодыри — по награде и труд.

В первый день я не обедал, хотя поэт-референт искушал меня перечнем блюд, которые мог приготовить ундорт; но при мысли о том, из чего он их приготовит, я терял аппетит. Мне не терпелось выйти на свежий воздух, и меня все больше удивляло, как это мои товарищи могут мириться со своей тюрмой, мало того, я начал подозревать, что они находят в этом какое-то удовольствие. Какое? Неужели они радовались (старательно это скрывая) тому, что тут нет ни одного шустрца? Они рассмеялись, когда я прямо спросил об этом, но в их смехе чувствовалось смущение.

На второй день после завтрака (я уже начал принимать пищу, что мне оставалось делать) Тюкстль включил проигрыватель, а я, не имея охоты слушать музыку и не желая сидеть сложа руки, сперва попробовал совершить восхождение по крутому склону под *cardia\**, но там было слишком скользко, а о том, чтобы вбивать крючья, не приходилось и мечтать, поэтому я в костюме водолаза направился дальше — к двенадцатиперстной кишке. Референт сопровождал меня до *pylori\*\** и показал, как нужно шекотать *sphincter pylori\*\*\**, чтобы тот разжался и пропустил меня, но сам дальше не пошел. Он захватил с собой толстую тетрадь и карандаш: возможно, его посетило вдохновение, и ему хотелось уединиться. За привратником было довольно просторно, я шел широким шагом и на распутье желчных путей увидел в стене пару ботинок. Я пробежал по ним невидящими глазами и пошел дальше, погруженный в раздумья. Почему это вдруг мои люзанцы, которые вроде бы презирали члаков, согласны сидеть вместе с ними в этих клоачных пещерах и отнюдь не спешат на волю?

---

\* область перехода пищевода в желудок (*лат.*).

\*\* область перехода желудка в кишечник (*лат.*).

\*\*\* кольцевидная мышца, замыкающая привратник (*лат.*).

Прелесть экзотики? Опрошение? Окажись здесь какой-нибудь фрейдист, он не задумываясь сказал бы, что для энциан сидеть в курdle — значит вернуться в материнское лоно, и вообще напустился бы на меня со своими фрейдистскими символами, а я бы его обругал, потому что у них никакого лона нет. Впрочем, стоило ли вдаваться в воображаемый спор с вымышленным фрейдистом? Что-то есть, однако, в этом загадочное, подумал я, и лишь тогда до моего сознания дошли увиденные по дороге ботинки в стене. Я осветил туда фонариком и заметил, что они шевелятся. Эту загадку я, во всяком случае, мог разгадать немедленно. Я видел только виброподшвы и стертые каблуки; потянул за один из них, потом за другой, и из стены задом, по-рачьи, вылез высокий худой энцианин, тоже в водолазном костюме. Нимало не удивленный моим присутствием, он представился. То был профессор Ксоудер Ксаатер, завкафедрой анатомии курдля в Иксибрикс, в настоящее время занятый полевыми исследованиями. Не спрашивая, с кем он имеет честь говорить, он объяснил мне топографию этого участка кишечника; особенно восхищало его *diverticulum duoden-jejuna-le Хаатер\**: да-да, это место носило его имя, ведь именно он доказал ошибочность утверждений школы Ксепса, будто бы это *diverticulum* никогда не было *veggucinosum\*\**. Профессор мозолил глаза этому курдлю уже несколько дней, но тупое животное ни за что не желало его глотать, хотя он, посоленный, совался к нему прямо в пасть. При этих словах во мне пробудились тягостные воспоминания о спутнике-лунапарке, который я принял за планету — и позволил одурочить себя мнимой охотой на курдля.

Расставшись — довольно неохотно — с желчевыми бородавками, профессор вместе со мной вернулся в желудок. Укравкой он поглядывал на мои ноги, но тут же отводил взгляд. Впоследствии выяснилось, что он принял меня за калеку от рождения, но из вежливости не показывал вида; будучи ана-

---

\* ответвление двенадцатиперстной кишки Ксаатера (лат.).

\*\* бородавчатый (лат.).

томом, он поставил мне диагноз *deformitatis congenitae articulacionum genu\** — случай довольно редкий и тяжелый, поскольку это необычайно осложняет жизнь, в особенности ходьбу, а нормально, то есть по-энциански, сесть такой инвалид вообще не способен; вот было смеху, когда он понял, что имеет дело с человеком, — я забыл ему об этом сказать, но он сам догадался, когда мы сняли кислородные маски. Это было уже за привратником, и сверху на нас полетели целые купы кустарника и груды земли. Наш дряхлый курдль был на редкость прожорлив; профессор советовал поторопиться; отовсюду струились потоки желудочного сока, и было ясно, что этим не кончится: такая пища вызывает изжогу, а значит, и жажду. Действительно, полило как из ведра, но мы успели добежать до спасительного убежища, и ни одна капля на нас не попала.

Мои товарищи учтиво приветствовали профессора и пригласили его на бррбиций, который уже варился в котелке. Интересно, что всем деликатесам, которые мог приготовить ундорт, они предпочитали эту гадость, наполняющую помещение запахом, который при всем желании приятным не назовешь. Мы сидели кружком и, прихлебывая суп из мисочек, оживленно болтали. Профессор рассказал забавную историю о том, как в прошлом году он открыл в болоте возле Кургана Председателя завязший в иле скелет огромного курдля с сорока скелетами члаков внутри. Благодаря этому он взял верх над археологами из школы другого анатома, доцента Ксипсиквакса (или что-то в этом роде), которые утверждали, что курдль не может жить под водой. Действительно, *naturaliter\*\** не может, но можно выдрессировать его в подводную лодку, а наш анатом доказал это, предъявив вещественное доказательство — перископ, обнаруженный вместе со скелетом. Доцент опоздал на два дня, и, когда он наконец прибыл на место с водолазным костюмом, скелет уже загорал на солнце под присмотром препараторов, а к перископу профессор при-

---

\* врожденный дефект коленного сочленения (*лат.*).

\*\* по природе (*лат.*).

крепил транспарант с ехидной надписью: СІТО  
VENIENTIBUS OSSA!\*

Ну и проблемы у этих ученых, подумал я, прихлебывая бррбиций так, как ребенком глотал рыбий жир, то есть за-  
тыкая дыхательное горло задней частью нёба; и все-таки пил,  
чтобы не выделяться. Монах сидел вместе с нами, но не на  
матраце, а на своем булыжнике — он наконец позволил себя  
уговорить и сбросил его с плеч. Зная, что я человек, он счел  
возможным нарушить обет; так начался разговор, в котором  
он проявил куда большую сообразительность, нежели пред-  
полагал в нем Тюкстль. Его имени я не смог бы произнести:  
оно было совершенно иное, чем у остальных люзанцев,  
хриплое, из одних глухих согласных. У всех монахов такие  
имена, потому что послушничество начинается с выбора  
кливийского имени — из сохранившихся хроник. С этой ми-  
нуты монах становится еще и этим кливийцем. При этом  
известии фантазия моя разыгралась. Я ждал невероятных  
откровений — например, что они верят в переселение душ  
и в то, что их устами вещают умершие кливийцы, или же,  
что во время своих мистерий они читают по уцелевшим до-  
кументам страшные заклинания Ка-Ундрия, и, хотя их вера  
тем самым подвергается нелегкому испытанию, именно в  
этом видят свою покаянную миссию; а если видения при-  
мут массовый характер, набожные монахи могут превратиться  
в организацию мстителей. Брат-привратник остудил мое  
разгоряченное воображение, заявив, что ничего не знает о  
кливийце, имя которого принял, да и об остальных кливий-  
цах тоже; знает только, что те не верили в Бога; поэтому они  
теперь верят *за них*.

— Как же так, — спросил я, жестоко обманутый в своих  
ожиданиях, — у вас есть кливийские хроники, и вы даже не  
пробуете изучать их?

Монах, должно быть, распарился от бррбиция; он сбросил с головы капюшон и, глядя на меня лучеобразно оперен-  
ными глазами, сказал:

---

\* Кто приходит рано — тому кости (лат.).

— Да нет, я их читал. Среди наших послушников нет недостатка в клириках, которые вступают в орден не покаяния ради и не из набожности, но надеясь отыскать у кливийцев застывшую эссенцию самого черного Зла. Такие вскоре уходят. Ты удивляешься, чужеземец? Мы читаем хроники, чтобы учиться кливийскому языку, а впрочем, там ничего нет...

— Как это нет? — медленно переспросил я. Я готов был заподозрить его в желании скрыть правду.

— Ничего, кроме фраз. Пропагандистский трезвон, и только. Пускание трюизмов в глаза. Удивляешься? А ты когда-нибудь слышал о власти, которая не рассыпает направо и налево обещания счастья, но возвещает отчаяние, скрежет зубовой, расписывает собственную мерзость и подлость? Никакая власть ничего подобного не обещала. Разве у вас иначе?

— Не будем об этом, — быстро ответил я. — Но их Ка-Ундрий? Что это было? Ты знаешь? Тебе позволено говорить?..

— Вечно одно и то же, — пожал он плечами. — Ка-Ундрий в точном переводе значит *благосфера*.

У меня перехватило дыхание.

— Не может быть! Значит... они хотели сделать то же, что и вы?

— Да.

— Тогда... как дошло до войны?

— Это была не война, а безлюдное столкновение двух идей.

— Аникс сказал мне, что шустры возникли как оружие...

— Возможно, ты неправильно его понял. Они возникли не как оружие. Но стали оружием, наткнувшись на то, что метило в них самих.

Я видел, что он с трудом подыскивает слова под неподвижным взглядом остальных, — и вдруг увидел эту сцену как бы со стороны. Человек, сидящий с неудобно подогнутыми ногами среди существ, широко рассеявшихся на своих огромных стопах, с торчащими назад коленями, как грузные головастые птицы.

— Столкнулись две версии Блага, — сказал наконец монах. — Они различались тем, что благородный Тюкстль назвал бы программой. Однако не слишком сильно. В сущности, схлестнулись они потому, что были двумя проектами совершенства. Если друг против друга станут две церкви единого Бога, если каждый стоит за Него, но требует для себя исключительности, не допускающей никаких уступок, дело может кончиться битвой, хотя бы никто ее и не хотел. Разве так не случалось в истории? А раз даже преданность Высшему Благу способна породить истребление, насколько вернее ведет к нему посюсторонняя вера, приверженцы которой создали полчища немыслящих исполнителей! Два проекта блаженного безбожья мчались навстречу друг другу и встретились не точно на полпути, потому что один из них был эффективнее и обладал большей силой поражения. А если бы повезло кливийцам, ты сидел бы не здесь, но среди темнолицых, на южной оконечности их плоскогорья, и слушал бы рассказ о гибели Северной Тарактиды, таинственного чудовища, погребенного под ледниками Люзании. Только там ты оказался бы среди неверующих. Ведь кливийцы, как я уже говорил, отвергли Бога, и у них тебе труднее было бы найти искупленцев...

— Значит, они действительно хотели добра?..

Я никак не мог освоиться с этой мыслью.

— Думаю, не меньше и не больше, чем отцы-основатели этикосферы. Но мне пора. Прощайте.

Монах встал, взвалил на себя камень и пошел, сгибаясь под тяжестью. Я тут же начал допытываться у Тюкстля, знал ли он то, что монах сказал о Кливии?

Он не стал отрицать, однако доказывал, что все было иначе: мол, кливийцы придерживались авторитарных идеалов и свою благосферу хотели создать не из шустров, а из молекулярных микроботов, называемых пигмами, — не только менее совершенных, но и более жестоких, чем шустры. Он засыпал меня специальными терминами, я видел, что он защищает свое дело вполне добросовестно, но больше не слушал его. Впрочем, время уже было позднее. Двое остальных вста-

ли, чтобы приготовить спальные места. Тюкстль умолк и тоже нехотя поднялся. Меня окружали неуклюжие фигуры, покрытые плотным бархатным пухом, с глазами, расставленными почти так же широко, как ноздри, в которых при дыхании дрожали маленькие перышки. Готовясь ко сну, я вынул из уха переводилку; понятные голоса превратились в быстрые пронзительные трели. Поэт приблизил ко мне совиные глаза и что-то сказал; я понял его, потому что он указывал на постель. Стемнело; все уже заснуло, судя по равномерному дыханию, но мне совсем не хотелось спать. Хорошо еще, никто не храпит, думал я, а то я не выношу храпа. Правда, я среди энциан, а они, должно быть, не храпят. Разве кто-нибудь слышал о храпящих воробьях или пингвинах? В голове у меня все смешалось. Чего ради я взвалил на себя тяготы звездного путешествия? Чтобы со стайкой экс-птиц очутиться в черной утробе полусдохшего курдюка? Кто? Я, дипломатический полукурьер, Ийон Тихий, экс-обезьяна. Лично я никогда не был обезьяной, но ведь никто из них тоже никогда не был птицей. Откуда же этот нездоровый интерес к зоологии в генеалогических разысканиях? Неужели, говорил я себе почти с отчаянием, только так, по-дурацки, я и могу думать о таких серьезных и важных предметах? Узнал ли я тайну Черной Кливии? Пожалуй; но оказалось, что тайны — мрачной и непостижимой для нас — вовсе и не было, а было нечто, слишком хорошо нам знакомое. Кто-то начал храпеть, а потом и хрипеть, я шикнул несколько раз давно испытанным способом, но без результата. Я приподнялся на локте, в страхе, что меня ждет бессонная ночь, и тут хрипение перешло в громopodobное бульканье. Оно доносилось отовсюду, словно при проливном дожде. Это не они, это всего лишь курдюк переваривает; в брюхе у него бурчит, успокоился я. Я все лежал и лежал, а сон не приходил. Как бусинки четок, перебирал я в памяти прежние путешествия. Сколько их у меня было! Впрочем, некоторые оказались сном. Я вспомнил свое пробуждение после конгресса футурологов и вдруг подумал, что, может быть, и теперь вижу сон. Нигде бессонница не мучит с

таким упорством, как во сне, ведь очень трудно заснуть, если уже спишь. Тут уж легче проснуться, это понятно всякому. Проснись я теперь, от скольких хлопот я избавился бы! Это был бы действительно приятный сюрприз. И я напрягся, силясь разорвать духовные путы, которыми сковывает нас сон, но, как ни старался я сбросить его с себя, словно темный кокон, ничего у меня не вышло. Я не проснулся. Другой яви не было.

КОНЕЦ

*Март 1981*

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Толковый земляно-землянский словарь люзанских и курдьяндских выражений, обиходных и синтуральных (см.: Синтура)

**Вступительные замечания.** Быстрое развитие энциологии вызвало потребность в отыскании слов, которые были бы достаточно лаконичным эквивалентом энцианских выражений, обозначающих неизвестные на Земле отвлеченные понятия, а также конкретные объекты.

В результате возник словарь *неологизмов*, с возможной точностью передающих смысл инопланетного выражения. Ниже приводится горсточка слов из этого словаря — тех, что могут облегчить чтение настоящей книги. Я включил также некоторые выражения, которые не встречаются в тексте, однако играют важную роль в духовной и материальной жизни Энци. Лицам, которые с большей или меньшей язвительностью упрекают меня в выдумывании новообразований, затрудняющих понимание моих воспоминаний и дневников, настоятельно рекомендую провести несложный эксперимент. Пусть такой критик попробует описать один день своей жизни в крупном земном городе, не выходя за пределы словарей, изданных до XVIII столетия. Тех, кому подобный опыт не по душе, я попросил бы не брать в руки моих сочинений.

**Автоклав** — одно из многих злобуловительных (гневопоглощающих) заведений в Люзании, называемых также буальнями.

**Агатоптирикс** — он же Мегаптирикс Сапиенс — крупный разумный нелет, предок энциан, соответствующий примерно нашему питекантропу.

**Благопровод** — подобно тому как водопровод на Земле доставляет воду, благопровод на Энциии доставляет (по заказу) блаженство (см. также: **Людовод**).

**БОБИК** — большая облава на индифферентных кандидатов в люзанские органы власти. Раньше: благодарный объект для измывательств и кровопусканий (также: кибрушка — для игр; робосед — замещает хозяина на заседаниях, сессиях и т.п.; см. также: **Манекенизация**, **Факсифамилия**).

**Богоид** — кибер-ангел, андроид-переводчик, используемый также для вентиляции и прочих услуг.

**Болепрофилактика** — предотвращение умышленных недобрых поступков посредством вшиваемых в нательное белье датчиков (дурные намерения вызывают острый приступ ишиаса). Эта технология имеет в Люзании лишь историческое значение.

**Бюропрат** — люзанский гражданин, укрывающийся от принудительного набора в правительство и прочие органы власти.

**Верхогляд** — искусственный спутник, стационарный или нестационарный, предназначенный для слежения с орбиты за определенным (запрограммированным) лицом.

**Вечный рыдалец** — нейропрепарат субъекта, приговоренного к высшей мере наказания — вечным мукам. Существование рыдалцев находится под вопросом.

**Выборокибер**, он же предлагатор — облегчает выбор утех, развлечений и т.д. Устройство, необходимое в условиях избыточного множества вариантов. Выборокибер, поврежденный, растоптанный или разбитый владельцем, немедленно самовосстанавливается. Избавиться от него нельзя; будучи выброшен, он следует за хозяином по пятам даже в том слу-

чае, если тот укрывается в бронированном каземате (проникающая туда за ним с помощью специальных бронедробилок).

**ВыДРА** — Вычислительно-Дискуссионный Разумный Автомат.

**Гениалич прогрессирующий** (*Genialysis Progressiva*) — удар от избытка мудрости у компьютеров, ведущий к замыканию входов на выходы; такие углубившиеся в себя компьютеры называют созерцаками.

**Гилоизм** — господствующая в Люзании религия. Я записал на карточке, откуда взялось это слово, но, к сожалению, нигде не смог ее отыскать.

**Деменция** — демелиорация почвы на Энци, один из типичных приемов деятельности антисинтуральной оппозиции с целью отупления разумных камней, песка, щебенки, сланцев, глины и т.д.

**Дефектив** — дефект этификации, следствие частичного паралича или расстройства этикосферы.

**Дракула** — рыба-пила на Энци.

**Дублизкий** — дублированный родственник, свойственник или друг, смягчающий печаль по умершим, или раздражение, вызываемое несходством характеров (см. также: **Манекенизация**, **Факсифамилия**, а впрочем, смотри куда хочешь).

**Живоглот** — лицо, проглоченное курдлем и извергнутое наружу живым (см. также: **Полиглот**).

**Заглубление науки** — если ученым известно, что интересующие их открытия уже сделаны, но неизвестно, где искать сведения о них, начинаются экспедиции в глубь науки, или инспекции. Руководят ими эксперты-интернисты, или инспекты. Эту деятельность называют также инспекционной, в отличие от прежней экспериментальной.

**Загробот** — робот, верящий в загробную жизнь.

**Зеленушки** — насекомые, выполняющие на Энци функции земных зеленых растений.

**Игнорантика** — научная дисциплина, изучающая развитие знаний о том, чего не знают на данный момент.

**Игнорантистика** — научная дисциплина, обратная по отношению к игнорантике (см.: **Игнорантика**). Занимается

проблемами игнорирования того, чего не знают на данный момент.

**Инсперт** — эксперт на стадии заглубления (самокопания) науки (см.: **Заглубление науки**).

**Кадавериа Рустикана** (*Cadaveria Rusticana*) — шкурбат на пастбище (см.: **Шкурбат**).

**Колонизадция** — ссылка в задние районы курдля.

**Кукарекушка** — персонаж энцианских сказок: гибрид петуха с кукушкой (благодаря генной инженерии). Петух отвечает на вопросы о том, насколько свежи кукушечьи яйца.

**Кукурдль** — курдль — сиамский близнец.

**Курдаш** — танец в животе курдля (не путать с танцем живота!).

**Курдинал** — верховный священник в курдляндской древности.

**Лживотные** — синтетические животные, продукт эмбрионального конструирования.

**Людовод** — благопровод, доставляющий дублизких (см.: **Дублизкий**) и прочих куклоидов и андроидов. Транспортировка совершается в порошковом состоянии; так называемая *Instant Person\** самособирается у заказчика после подключения источника питания.

**Манекенизация** — замена натуральных лиц суррогатными, которые заказываются, например, в факсифамильных мастерских.

**Мокрыныч** — подмоченный горыныч (см. также: **Сгорыныч**).

**Навредисты** — люзанская ухудшенческая секта (см. также: **Злолюбы**). Полагая причиной всеобщей угнетенности избыточное благоденствие, навредисты (известные также под именем вырвиглазов) пытаются помогать ближним посредством замучивания их насмерть.

**Нациомобиль** — населенный курдль (звероград). Он же: градозавр, градоход, топтуша, переходимец (не проходимец!).

---

\* Здесь: лицо мгновенного приготовления (*англ.*).

**Ненормалы** — секта, которая проповедует, что цивилизация — это извращение (перверсия), поэтому следует поощрять в ней перверсии (извращения), ибо извращение извращения выводит на прямую дорогу, то есть ведет к возвращению в норму.

**О-Ку-Ку** — Отец и куратор курдлей, также: **Курдлевóда**; высший чиновник курдландской администрации, заведующий топартаментом (см.: **Топартамент**).

**Охмуриды** — они же обманки — микроиллюзии натуральных лиц, которым чудится, будто они искусственные, и наоборот.

**Полиглот** — лицо, многократно проглоченное курдлем.

**Полимиксия** — неудачное определение способа оплодотворения у энциан. Правильный термин: *полисемия*. Женская половая клетка не может быть оплодотворена одним мужским сперматозоидом; для инсеминации необходимы по меньшей мере два сперматозоида от двух генетически нетождественных самцов (то есть они не могут быть однойцевыми близнецами). В настоящее время существует 47 теорий, объясняющих, почему на Энциии возник именно этот способ размножения, но по недостатку места я их опускаю.

**Полипон** — политический полигон, нечто вроде тренажера для государственных мужей; нередко заминирован.

**Постымент** (Постыдный Монумент) — памятник бесславия, воздвигаемый в честь величайших национальных антигероев из специального материала, способного деформироваться под ударами, а затем восстанавливать прежнюю форму. С плевательницами вместо вечного огня.

**Похищалки** — детская игра в похищение (также: **Уводилки**).

**Путеец** — ученый, занимающийся измерением длины пути, который должны пройти поисковые импульсы, чтобы добраться до содержащихся в планетной памяти искомым данным.

**Разъявливание** — техника дослащивания жизни; позволяет пережить то, чего вообще-то одновременно пережить нельзя. Независимые потоки сознания подключаются к обо-

им полушариям мозга, изолированным друг от друга при помощи разъявителя.

**Робошлепы** — они же заваливающие роботы — роботы с высоко расположенным центром тяжести; часто теряют равновесие и шлепаются оземь.

**Сальто Рационале** (Salto Rationale), также: Правило Инверсии Практикуемых Смыслов (ПИПС). Согласно этому правилу, если при внедрении некоей Идеи в жизнь преодолеть порог Титиксака, Идея начинает действовать наоборот. Выше порога Т. прогрессивные идеи становятся регрессивными, идеи, сулящие благосостояние, доводят до нищеты, радующие — угнетают и т.д. Порог Т. определяется отношением диаметра черепа к произведению средней арифметической всеобщего разочарования жизнью и постоянной НН (Неизбежных Недоразумений).

**Самогроб** — мыслянт (разновидность робота), кончающий самоубийством по выполнении задания. Также: разовик, демонт (поскольку сам себя демонтирует). Не путать с разбираком (разбирак — это просто разборный рак).

**Сбитень** — робот, сбитый с толку вследствие телесного повреждения.

**Сгорыныч** — выгоревший горыныч (см. также: **Мокрыныч**).

**Сексолицы** (Sexofaciales) — зоологическое название высших энцианских животных (ввиду лицевой локализации внешних органов размножения).

**Синтура** — синтетическая культура, созданная в Люзании.

**Синтюряга** — синтуральная тюрьма (условная). Дело в том, что в синтуре любые узы ограничивают свободу лишь до тех пор, пока узник этого хочет; если же он пожелает освободиться, шустры вызывают распад (диссипацию) материала, из которого состоят оковы, кандалы и т.д.

**Синьеризм** — синтетическое препарирование карьер по индивидуальной мерке, в соответствии с темпераментом.

**Скварка порог** — порог умудрения среды обитания, по преодолении которого она становится умнее обитающих в ней разумных существ.

**Социомат** — автомат для игры (азартной) в государство.

**Старнак** — старший над курдлем, староста, начальник градохода.

**Топартамент** — орган местной администрации в Курдландии.

**Уморы** — усилители морали, нравственные предохранители шустров 16-го и следующих поколений; предотвращают попытки мерзификации (кретинизации) шустров, предпринимаемые преступными и диссидентскими элементами.

**Факсифамилия** — замена родственников с нелегким характером куклоидами (см.: **Людовод** и **Манекенизация**).

**Цивитатор** — от латинского «civitas» (государство) — правящий компьютер (см. также: **Странодав**).

**Чага** — частная Галактика, архаическое понятие, возникшее в эпоху, когда люзанские граждане могли претендовать на приобретение в собственность эллиптических и спиральных туманностей. В настоящее время допускается только аренда на 10 000 лет.

**Шкур** — штрафной курдль, также: **Пузаст** (путешествующий застенок).

**Шкурбат** — батальон штрафных курдлей.

**Шустравка** — разумник рассеянный, луговая трава, случайно зараженная шустрами. Ругается, если на нее наступить.

## Содержание

I. В Швейцарии .....	5
II. Институт Исторических Машин .....	31
III. В пути .....	169
IV. Осмотр на месте .....	196
Приложение .....	310

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ  
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **буква**

**МОСКВА:**

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр.1, т. (495) 323-19-05
- м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-57-56
- м. «Алтуфьево», ТРЦ «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж, т. (495) 988-51-28
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, т. (499) 267-72-15
- м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 22, ТЦ «Александр», 0 этаж, т. (495) 406-92-65
- м. «ВДНХ», ТЦ «Золотой Вавилон - Ростокино», пр-т Мира, д. 211, т. (495) 665-13-64
- м. «ВДНХ», г. Мытиши, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «XL-2», 3 этаж, т. (495) 641-22-89
- м. «Домодедовская», Ореховый б-р, вл. 14, стр. 3, ТЦ «Домодедовский», 3 этаж, т. (495) 983-03-54
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (495) 616-20-48
- м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, к. 2, т. (495) 429-72-55
- м. «Крылатское», Рублевское ш., д. 62, ТРК «Евро Парк», 2 этаж, т. (495) 258-36-14
- м. «Марксистская/Таганская», Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2, т. (495) 911-21-07
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, к. 2, т. (495) 306-18-98
- м. «Петровско-Разумовская», ТРК «XL», Дмитровское ш., д. 89, 2 этаж, т. (495) 783-97-08
- м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 26, ТЦ «Пražский Пассаж», 2 этаж, т. (495) 721-82-34
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д.76, к.1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, вл.1, ТРЦ «Принц Плаза», 4 этаж, т. (495) 987-14-73
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., 15/1, т. (495) 977-74-44
- м. «Третьяковская», ул. Большая Ордынка, вл.23, пав. 17, т. (495) 959-40-00
- м. «Тульская», ул. Большая Тульская, д.13, ТЦ «Ереван Плаза», 3 этаж, т. (495) 542-55-38
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Шарицыно», ул. Луганская, д. 7, к.1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шелковская», ул. Уральская, д. 2а, стр. 1
- м. «Шукинская», ТЦ «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
- м. «Юго-Западная», Солнцевский пр-т, д. 21, ТЦ «Столица», 3 этаж, т. (495) 787-04-25
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д.5, к.1, т. (495) 423-27-00
- М.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, д.9, ТЦ «Эдельвейс», 1 этаж, т. (498) 664-46-35
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж, т. (499) 940-02-90
- М.О., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 4, ТЦ «Дарья», 2 этаж, т. (496) (24) 6-55-57
- М.О., г. Коломна, Советская пл., д. 3, ТД «Дом торговли», 1 этаж, т. (496) (61) 50-3-22
- М.О., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10
- М.О., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32а, ТРЦ «Счастливая семья», 2 этаж
- М.О., г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТРЦ «Поворот»

## Регионы:

- г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, т. (8182) 64-00-95
- г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 5а, т. (8512) 44-04-08
- г. Белгород, Народный б-р, д. 82, ТЦ «Пассаж», 1 этаж, т.(4722) 32-53-26
- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Волгоград, ул. Мира, д. 11, т. (8442) 33-13-19
- г. Воронеж, пр-т Революции, д. 58, ТЦ «Утюжок», т. (4732) 51-28-94
- г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32, ТРЦ «Серебряный город», 3 этаж, т. (4932) 93-11-11 доб. 20-03
- г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 3а, ТРЦ «Столица», 2 этаж, т. (3412) 90-38-31
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, ТРЦ «ГРИНВИЧ», 3 этаж
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д.18, т. (4012) 71-85-64
- г. Краснодар, ул. Головатого, д. 313, ТЦ «Галерея», 2 этаж, т. (861) 278-80-62
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, ТЦ «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
- г. Курск, ул. Ленина, д. 31, ТРЦ «Пушкинский», 4 этаж, т. (4712) 73-45-30
- г. Курск, ул. Ленина, д.11, т. (4712) 70-18-42
- г. Липецк, угол Коммунальная пл., д. 3 и ул. Первомайская, д. 57, т. (4742) 22-27-16
- г. Орел, ул. Ленина, д. 37, т. (4862) 76-47-20
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 31, т. (3532) 31-48-06
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ул. Революции, д. 13, 3 этаж, т. (342) 0238-69-72
- г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33, ТЦ «Мега», 1 этаж, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, ТЦ «Виктория Плаза», 4 этаж, т. (4912) 95-72-11
- г. С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, ТЦ «Измайловский», 1 этаж, т. (812) 325-09-30
- г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 98, т. (8652) 26-16-87
- г. Тверь, ул. Советская, д. 7, т. (4822) 34-37-48
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Тула, пр-т Ленина, д. 18, т. (4872) 36-29-22
- г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 44, ТРЦ «Гудвин», 2 этаж, т. (3452) 79-05-13
- г. Уфа, пр-т Октября, д. 34, ТРК «Семья», 2 этаж, т. (3472) 293-62-88
- г. Чебоксары, ул. Калинина, д.105а, ТЦ «Мега Молл», 0 этаж, т. (8352) 28-12-59
- г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88, т. (8202) 20-21-22
- г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18, т. (4852) 72-89-20
- г. Ярославль, ул. Свободы, д. 12, т. (4852) 72-86-61

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг  
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте [www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

Заказывайте книги почтой в любом уголке России  
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»  
или на сайте: [shop.avanta.ru](http://shop.avanta.ru)

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковию:  
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)

Издательская группа АСТ [www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж  
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, факс 615-51-10  
E-mail: [zakaz@ast.ru](mailto:zakaz@ast.ru)

**Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.**

Научно-популярное издание

**Лем Станислав**  
**Осмотр на месте**

Компьютерная верстка: Л.О. Огнева  
Технический редактор О.В. Панкрашина

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.09 г.

ООО «Издательство АСТ»  
141100, Россия, Московская обл., г. Шелково, ул. Заречная, д. 96  
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг  
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте [www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

ООО «Издательство «Астрель»  
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленных диапозитивов в ОАО «Издательско-  
полиграфическое предприятие «Правда Севера».  
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.  
Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 20-50-52  
[www.ippps.ru](http://www.ippps.ru), e-mail: [zakaz@ippps.ru](mailto:zakaz@ippps.ru)



# Станислав ЛЕМ

Философ, литературный критик и один из величайших фантастов XX века. Писатель яркого и многогранного таланта, которому были подвластны практически любые направления фантастики — от философской притчи до антиутопий.

«Осмотр на месте» — одно из самых блестящих и беспощадных произведений Лема, относящихся к циклу Ийона Тихого.

На сей раз, великий звездоплавец вынужден отправиться на планету Энцию, спутник которой он в своем четырнадцатом путешествии наивно посчитал независимой планетой, — а теперь это чревато галактическим скандалом.

Его ждет планета противостояния двух «великих цивилизаций» — патристичной Курдландии, где все население обитает внутри ЖИВЫХ курдлей, и высокотехнологичной Люзании, где гражданам прививают принципы порядочности и ненасилия при помощи искусственных «вирусов добра»...

[www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

ISBN 978-5-17-069298-9



9 785170 692989